

18.592к 7

И-22

ИВАНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ

4

ОГИЗ - ИВГИЗ - 1941

И-22	

Ивановский альманах

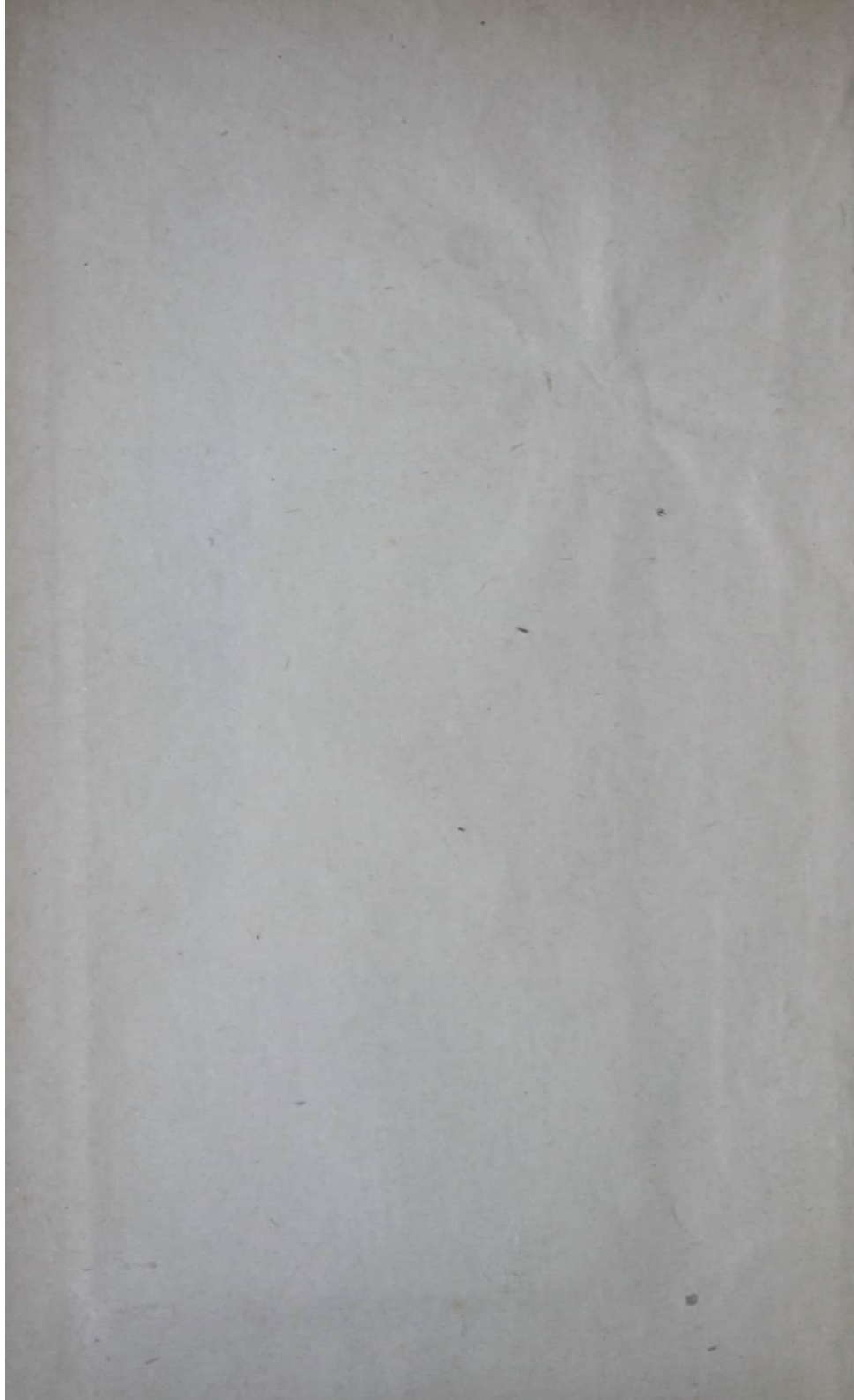
№ 4

6р50

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

3.04.89.4028
2504854028
27.6.93-10610

Колич. предыд. выдач _____



И-22

ИВАНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ



ОГИЗ
ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1941

Кр. 18 592

И - 22



94

--2010

ДМИТРИЙ ФУРМАНОВ

М. В. ФРУНЗЕ *

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Помню я — Иваново-Вознесенск, 1917 год, жуткий голод, неисходную безработицу, армию раздетых голодных ткачей. А наряду с тем — кипучая работа в фабзавкомах, закреп советской власти, строительство новой, красно-ткацкой Иваново-Вознесенской губернии: из кусочков Владимирской, Ярославской и Костромской надо было сшить свою, текстильную. Фрунзе в те дни работал председателем Шуйского совета. И его вызвали в Иваново — на это новое большое дело. В конце года были съезды, — на этих съездах и решали вопросы организации губернии, — в работах съездов первая роль принадлежала Михаилу Васильевичу Фрунзе.

Я первый раз увидел его на заседании и запечатлел в памяти своей добрые серые глаза, чистое бледное лицо, большие темнорусые волосы, откиннутые назад густой волнистой шевелюрой. Движения Фрунзе были удивительно легки, просты, естественны — у него и жестикация, и взгляд, и положение тела как-то органически соответствовали тому, что он говорил в эту минуту: говорит спокойно — и движения ровны, плавны, и взгляд покоен, все существо успокаивает слушателей; в раж войдет, разволнуется — и вспыхнут огнями серые глаза, выскочит по лбу поперечная строгая морщинка, сжимаются нервно тугие короткие пальцы, весь корпус быстро перематывается на стуле, голос напрягается в страстных высоких нотах, и видно, как держит себя Фрунзе на узде, как не дает сорваться норову, как обуздывает кипучий порыв. Прошли минуты, спало волнение — и вошли в берега передрожавшие страсти: снова кротки и ласковы серые глаза, снова ровны, покойны движения, только редко-редко вздрогнет в голосе струнка недавнего бурного прилива.

Я запечатлел образ Фрунзе с того памятного первого заседания в семнадцатом году, и сколько потом ни встречался с ним в работе,

* Из неопубликованных дневников.

на фронтах ли — я видел всегда его таким, как тогда, в первый раз: простым, органически цельным человеком.

От общения с ним, видимо, у каждого оставался аромат какой-то особой участливости, внимания к тебе, заботы о тебе — о небольших даже делах твоих, о повседневных нуждах.

Недаром и теперь, когда встал он на высочайшем посту народного комиссара, — и теперь ходили к нему на прием вовсе запросто и блузники-ткачи и крестьяне-лапотники, шли к своему старинному подпольному другу Мише, которого еще по давним-давчим дням знали и помнили как ласкового, доброго сероглазого юношу.

КАК СОБИРАЛСЯ ОТРЯД

Иваново-Вознесенск. Конец 1918 года. Заседает бюро губкома — обсуждают вопрос о необходимости создать спешно рабочий отряд, пустить его на колчаковский фронт. Говорит Фрунзе:

— Положение совершенно исключительное. Так трудно на фронте еще не было никогда. Надо в спешнейшем порядке сделать армии впрыскивание живой рабочей силы, надо поднять дух, укрепить ее рабочими отрядами, мобилизовать партийных ребят, — ЦК проводит партийную мобилизацию... А нам, иваново-вознесенцам, колчаковский фронт гажен вдвойне — там пробьем дорожку в Туркестан, к хлопку, пустим снова наши стынущие в безработице корпуса...

Я помню, — все мы, верно, до последнего человека, заявили о готовности своей идти на фронт. Но нельзя же отпустить целый губком, — стали делать отбор.

И какое было жадное соревнованье: вперебой каждый рвался, чтоб отпустили именно его, высказывал доводы, соображения... В личной беседе, еще раньше, Фрунзе говорил мне, что берет с собой; он уже назначался командовать IV армией. И каков же был удар, когда я узнал, что вместо меня едет Валерьян*. Я устроил сцену и Валерьяну и Фрунзе.

— Ну, как-нибудь там уладьте... может, и отпустят, — посоветовал Михаил Васильевич.

Переборол. Согласились. Уже много позже дали бумагу в том, что являюсь:

«...уполномоченным Иваново-Вознесенского губернского комитета Российской коммунистической партии по препровождению отряда особого назначения при IV армии в район действий этой армии».

На этом же заседании постановили и про отряд. У меня сохранился самый документ. Вот он:

«Выписка из журнала заседания бюро губернского Иваново-Вознесенского комитета Российской коммунистической партии от 26 декабря 1918 г.

1. Ввиду особой важности для нашего промышленного текстильного района скорейшего завоевания Оренбург-Ташкентского направления;

* Наумов.

2. Ввиду необходимости поднять настроение стоящих там красноармейских частей и

3. Принимая во внимание отъезд на этот участок фронта председателя губернского комитета партии товарища Фрунзе — постановляется:

Организовать отряд особого назначения из рабочих Иваново-Вознесенского текстильного района и отослать его в район действия IV армии».

Мы дружно взялись за отряд — рабочие шли охотно, в короткий срок набралось как надо. Приодели из последнего, добыли с трудом оружие — кажется, сносились с Москвой, свезли оттуда.

Натащили литературы; в гарелинских казармах, где стояла часть отряда, вечерами занимались культработой, готовились к фронтовой борьбе, — понимали, что придется действовать не только штыком, но и дельным, нужным словом. Особенно помнится мне в эти дни близкий друг Фрунзе — Павел Степанович Батурин. Он заведовал тогда губернским отделом народного хозяйства. Но при организации отряда все время возился с оружием, отовсюду собирал его, раздавал отряду.

Позже, в конце 1919 года, прислал его Фрунзе вместо меня, отозванного на другую работу, — комиссаром Чапаевской дивизии. Но недолго проработал он на этом посту — казачий налет изрубил штаб, изрубил политический отдел, погиб тогда в жестокой сече и славный комиссар Павел Батурин.

Мне помнится, он все рассказывал про Фрунзе, как тот сидел во владимирском центре, как ему Павел Степанович переправлял туда книги, рассказывал диковинные вещи про смертника Фрунзе: в заключении он не потерял бодрость настроения, много занимался собою, изучал что было можно, для товарищей являлся лучшим образцом, подбадривая их своим примером.

Отряд был готов. Погрузились. Проводили нас тысячные толпы рабочих, наказывали не посрамить красную губернию ткачей, клялись не забывать наших семей, помогать им в трудные дни.

Мы приехали в Самару, там ждал приказ Фрунзе — направляться немедленно в Уральск.

Так началась боевая история славного Иваново-Вознесенского полка — он бился с Колчаком, потом ходил на польский фронт — в рядах героической Чапаевской дивизии.

И в самые тяжкие минуты помнили бойцы своего командира Фрунзе, воодушевлялись одною мыслью, что он где-то здесь, около них, что он руководит борьбою...

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР

В конце восемнадцатого года, когда решен был вопрос об отправке на фронт из Иваново-Вознесенска рабочего отряда, мы, группа партийных тамошних работников, собрались на разлуку; многие из нас уезжали вместе с отрядом.

Собрались запросто посидеть, потолковать, обсудить обстановку, создавшуюся в губернии в связи с отъездом такой массы от-

ветственных партийцев, всего что-то человек двадцать — двадцать пять. Мы понимали, что собираемся, может быть, последний раз, что больше в таком составе не собраться уж никогда: открывалась перед нами новая полоса жизни. Вот мы рассыплемся по фронту, вот перекинемся на окраины, зацепимся на боевых, командных, на комиссарских постах, может быть, застрянем где и по гражданской работе в прифронтовой полосе.

Так думали, так оно и случилось; мы уже потом, через годы, совсем неожиданно сталкивались друг с дружкой где-нибудь на Урале, в Сибири, в Поволжье, даже в далекой окраине Туркестана, в Джетысуйской области. Иные уж и совсем не воротились назад: в первых же боях с уральскими казаками погиб старейший большевик Мякишев; потом зарубили казаки же под Лбищенском Павла Батурина, а где-то под Пугачевом, кружив и искрошив наш полк, озверевший враг надругался над трупом рассеченного в бою незабываемого бойца и комиссара Андреева.

Да, мы знали тогда, в этот прощальный вечер, что собираемся в последний раз. С нами был и Фрунзе — он вскоре принимал командование армией, уезжал в Самару. Сколько там выхлеснуто было пламенных речей, сколько было пролито дружеских настроений, сколько раскатилось гневных клятв, обещаний на новые встречи, какая цвела там крепкая, здоровенная уверенность в счастливом исходе боевой страды!

Помню, Фрунзе говорил все про свое, про заветное:

— Ну, что ж, тяжело, — может быть и тяжелее... Нам бы вот теперь эту пробку откупорить, что под Оренбургом, — там прямая дорога к туркестанскому хлопку...

Эх, хлопок, хлопок, как бы ты разом на ноги встряхнул наши притушенные корпуса!..

И когда мы потом очутились на фронте, казалось — самая острая мысль, самое светлое желание Фрунзе устремлены были именно к Туркестану.

Лишь только «откупорили оренбургскую пробку», Фрунзе сам помчал в Ташкент, и с какой он гордостью, с какой радостью сообщал тогда всем о первых хлопковых эшелонах, тронутых на север: видно, в этот момент осуществлялась лучшая желаннейшая его мечта...

Сидели и толковали мы тогда, в Иванове, про разное, говорили много и про город рабочего района.

— Будем оттуда помогать, — сказал уверенно Фрунзе. — Как только малейшая возможность — глядишь, десяток-другой вагонов хлеба можно и дослать!

И помню — уже с фронта сколько раз отсылал он голодным ткачам хлебные составы, сколько положил он тут забот, сколько выдержал осад из Наркомпрода, сколько крови попортил на спорах, на уговорах, на всей этой сложнейшей возне с заготовками и самостоятельной переправкой эшелонов к Иваново-Вознесенску: в те дни задача эта была исключительно трудна.

И вот о чем, о чем только ни говорили мы в тот памятный вечер — все зарубал Фрунзе в своей памяти, все осуществлял потом среди адской работы, несмотря ни на какую сложную обстановку.

Он свой северный край, Иваново-Вознесенский край, любил какой-то особенной, нежной любовью. Даже и теперь, в эти вот дни перед смертью, перед операцией, он наказывал кому-то из ближайших друзей:

— А помру — похоронить меня в Шуе... там — знаешь, что на Осиновой горке...

И все-все припомнилось мне теперь из того незабываемого прощального вечера.

Мы пели песни, запевали его любимую:

Уж ты сад, ты мой сад,
Сад зеленый мой....

Мы хором подхватывали, дружно вели мелодию прекрасной печальной песни. Пел и Фрунзе. Он положил голову на ладонь и подтягивал. Пел, а серые умные глаза были свежи и трезвы, видно было, что и за песней все работает-работает без перебоя его мысль, не оставляют его какие-то тревожные думы.

Уж давно и далеко вглубь ушел тот вечер, ему восемь диковинных и великих годов. Уж многих нет из тех, что пели тогда про зеленый сад, а теперь вот ушел и лучший, первый между нами, — нет любимого Михаила Васильевича, нет прекрасного и редкостного человека с мудрой головой и с нежным, с детским сердцем.

ВСТРЕЧА В УРАЛЬСКЕ

Иваново-Вознесенский рабочий отряд временно задержали в Самаре. Нас четверых Фрунзе спешно вызывал в Уральск. Стояла глухая зима 1919 года. Красная линия фронта была под самым Уральском, что-то верстах в двадцати-тридцати. Мы ехали степями, на перекладных и дивились на сытую жизнь степных богатых сел-деревень. После голодного Иваново-Вознесенска, где месяцами не давали хлеба ни единого фунта, где жили люди картофельной шелухой, а картошку ели врасос и на закуску, нам после этого сурового голода степная жизнь показалась сказочно-привольной, удивительной и не похожей ничуть-ничуть на ту жизнь, которую жили мы вот уже полтора голодных года.

Было здесь и другое, что отличало степную жизнь от нашей северной: близкое дыхание фронта. Степь была — как вооруженный лагерь: она полна была и людьми, и лошадьми, и скотом, и хлебом — мобилизована для фронта. Здесь и разговоры были особенные — все про полки, про казацьи сотни, про недавние бои, про смерть близких людей. Попадались то и дело раненые, приехавшие в семью на поправку. Мы остро чувствовали, что едем в новую жизнь.

Приехали в Уральск. Уральск — просторный степной город, в нем сгрудилось в те дни огромное количество войск: отсюда уходили полки на позицию, сюда приходили со смены, здесь отдыхали, чинились, подкреплялись и уходили снова. По городу грохотала непрерывная пальба, нето учебная, нето случайная — на удаль, как здесь в то время говорили: «огонь по богу!» Помнится, встретились с одним из ближайших помощников Фрунзе, с Новицким Федором Федоровичем, он с ужасом заявил:

— Чорт знает чего палят! И поверите ли, за сутки больше двух миллионов патронов ухлопают... Не взять еще сразу нам в руки — ну, да осмотримся, остепеним...

И в самом деле — остепенили: пальбу и весь этот вольный разгул утишили скоро, особенно же когда влились сюда иваново-вознесенские ткачи.

Мы, как только приехали в Уральск, заторопились увидеть Фрунзе, а он — на позиции. Мы его увидели только ввечеру. И, помним, рассказывал тот же Федор Федорович:

— Насилу его удержишь, Михаила Васильевича: все время выскакивает вперед... Мы уж спрятались за сарай, оттуда и наблюдали... а его все придерживали около себя... Да и бой-то вышел нам неудачный... чуть в кашу не попали...

Мы входили в комнату Фрунзе. Он сидел, склонившись над столом, на столе раскинута карта, на карте всевозможные флажки, бумажки, пометки... Кругом в почтительных позах старые полковники — военные специалисты — обсуждали обстоятельства минувшего неудачного боя, раскидывали мысли на завтрашний день.

Фрунзе принял нас радостно, приветливо, сжал руки, кивнул на диван, показал глазами, что надо обождать, когда окончится совещание. И потом, когда спецы ушли и мы остались одни, он подсел к нам на диван, обернулся из командующего — старым милым товарищем, каким знали, помнили его по Иваново-Вознесенску, завел совсем иные разговоры — про родной город, про наши фабрики, расспрашивал, как живут рабочие, как мы ехали с отрядом, узнавал, какое настроенье в степи, как мы сами тут устроились, в Уральске. Рассказывал про сегодняшний неудачный бой, про новую, замышляемую нами операцию, прикидывал, кого из нас куда послать... Мы просидели, проговорили до глубокой ночи. Шли к себе в номер, беседовали:

— А под глазами-то кружки... осунулся.

— Пожелтел...

Мы не видели его всего-навсего два месяца, а перемена была уж так заметна. Дорого доставалась ему боевая работа.

Скоро мы все разъехались к действующим частям, утеряли из виду Михаила Васильевича на долгие месяцы.

ДЕСЯТЬ МИНУТ

Иной летучий, крошечный фактик так врезается в память, что не забыть его во всю жизнь. Это значит, что фактик этот по существу своему был не мелочью, что действие его было глубокое, что смысл его был серьезен, и только внешняя форма — летучесть, краткость, внезапность — отпечатлели его как мелочь.

Как-то в 1919 году, в апреле — мае, полки 73 бригады раскололи колчаковскую часть. Уж не помню, насколько значительна и важна была эта победа, не помню, были ли какие трофеи, выигрывалось ли особо серьезное положение. Но после удручающих весенних неудач и этот выигранный бой был на виду. Штаб бригады стоял в какой-то татарской деревушке. Маленькая закуренная ком-

натка, телефоны, аппараты на столе, склоненные чирикающие телеграфисты. То и дело взвизгивает дверь в избу — командиры ли, вестовые входят, иной раз в латанной шапке, в ватном балахоне прорвется житель-татарин с жалобой за теленка, за утащенные неизвестно кем и когда лопату, бадью, оглоблю...

В штабе шум и гул, в штабе чирикающий непрерывный говор аппарата... И вдруг тихо:

— Фрунзе приехал...

— Как Фрунзе, где?

— Сюда не смог — машина стала в грязи... Подходит пешком. С ним какой-то усатый... Ну уж, конечно, усатый этот — верный его боевой соратник, Федор Федорович Новицкий.

И в штабе вмиг все подтянулось, встало и село на свои места — словно и комната стала просторней, и аппарат заработал отчетливей, и взгляды у всех посвежели, забодрились, засветились.

Короткой и крепкой походью, как всегда, чеканно отстукивая каблуками, Фрунзе вошел в штаб. Мы хотели было рассказать про удачу, а он уже все знал; ему хотели рассказать про общее положение, настроение татар-сельчан, про трудности с перевозкой артиллерии по этакой глинистой вязкой дороге, про медленный подвоз патронов, про нехватку, а он сам, прежде чем скажут, подсказывает то же самое: видно, сводки и отчеты не соскальзывали у него с памяти, а зацеплялись там какими-то крючочками и цепко держались до нужной минуты. Он пробыл недолго. Тут же, за этим штабным столом, наметал благодарственный приказ и передал его:

— Распространить... Прочесть... Молодцы, ребята!..

Он пробыл всего, может быть, десяток минут — заглянул только по пути, торопился в другое место.

И после этого короткого визита — отчего же стало всем так легко, словно набрали полной грудью свежего воздуха и дышат — не могут надышаться?

Простые нужные слова, этот освежающий, бодрящий приказ, эта весть по полкам, что Фрунзе тут, около и сказал спасибо ребятам за удачу — все это освежающей волной прокатилось по полкам, и полки помолодели, повеселели. Кажется, и крошечный фактик, а, видимо, важен, нужен был он в те дни и часы. Только весть о приезде и только дружеское слово любимого командира, — а сколько от этого жизни, сколько заново уверенности в себе, какой подъем!

ПРИМИРИТЕЛЬ

Близкие друзья когда поспорят, так крепко: наотмашь, с плеча, не жалея самого дорогого — свою дружбу.

Как-то, злые и нервные до предела, ехали мы в степи с Чапачевым. Он слово — я слово, он два — я четыре. Распалились до того, что похватались за наганы. Но вдруг поняли, что стреляться рано — одумались, смолкли. И ни слова не говорили весь путь — до штаба 73 бригады. Отношения переменялись как-то вдруг, и мы

ничего не могли поделать с собой. Экспансивный и решительный, мало думая над тем, что делает, Чапаев написал рапорт об отставке. Дал телеграмму Фрунзе, что выезжает к нему для доклада. А я знал, о чем будет этот доклад, — Чапаев вгорячах может наделать всяких бед. И я послал Фрунзе поперечную телеграмму: не разрешайте, мол, Чапаеву выезжать на доклад, скоро приедем вместе, тогда выясним дело.

Фрунзе Чапаеву воспретил приезд. Прошли дни горячих боев, — мы собрались, поехали в Самару.

Звоним из штаба на квартиру:

— Михаил Васильевич дома?

У телефона жена Фрунзе, Софья Алексеевна:

— Дома. Лежит больной, но вас примет. Только, пожалуйста, недолго, не утомляйте его...

Приехали. Входим. Михаил Васильевич, бледный, замученный, лежал в полумраке, улыбнулся нам приветно, усадил около, стал расспрашивать. Говорит о положении на фронте, о величайших задачах, которые поставлены нашим восточным армиям, справляется о наших силах, о возможностях, рассказывает про Москву, про голод северных районов, про необходимость удесятерить наш нажим, столкнуть Колчака от Волги. Говорит-говорит, а про наше дело, про ссору нашу ни слова — будто ее и не было вовсе. Мы оба пытаемся сами заговорить, наталкиваем его на мысль, но ничего не выходит — он то и дело уводит беседу к другим вопросам, переводит разговор на свой, какой-то особенный, нам мало понятный путь. И когда рассказал, что хотел, выговорился до дна, кинул нам, улыбаясь:

— А вы еще тут скандалить собрались? Да разве время, ну-ка, подумайте... Да вы же оба нужны на своих постах — ну, так ли?

И нам стало неловко за пустую ссору, которую в запальчивости подняли в такое горячее время. Когда прощались, мы чувствовали оба себя словно прибитые дети, а он еще шутил, напутствовал:

— Ладно, ладно... Сживетесь... вояки!

Мы с Чапаевым уходили опять друзьями: мудрая речь дорогого товарища утишила наш мятежный дух.

ФРУНЗЕ ПОД УФОЙ

В весенние месяцы девятнадцатого года черной тучей повис над Волгой Колчак. Мы сдали Уфу, Белебей, Бугуруслан, — в панике красные части россыпью катились на волжские берега. У Бузулука, под Самарой, у Кинеля взад и вперед метались эшелоны, мялись на месте разбитые, упавшие духом полки.

Казалось, ничто уж не может теперь вдунуть дух живой этим войскам, потерявшим веру в себя.

Передовые разъезды Колчака рыскали в сорока верстах от Бузулука, выщупывали Поволжье, шарили наши части. Близились дни драматической развязки.

Накругло сутки — в кабинете Фрунзе, в оперативном отделе, в штабе наших войск — кипела страстная работа. Быстро снимались красные полки туда, где теплилась чуточная надежда, вливали здоровые, свежие роты, ставили новых, крепких командиров из тыла в строй, отправляли отряды большевиков, целительным бальзамом оздоравливали недужный организм армии; с других участков, с других фронтов перекидывали испытанные части, в лоб Колчаку поставили стальную дивизию чапаевских полков. Гнали на фронт артиллерийские резервы, ящики патронов, винтовки, пулеметы, динамит, продовольствие хозяйственным частям: тыл в эти дни фронту служил, как никогда. «Все для фронта» — и железной рукой проводили в жизнь этот мужественный и страшный лозунг.

У Фрунзе в кабинете совещанья, Фрунзе в штабе диктует приказы, Фрунзе в бессонные ночи никнет над прямым проводом, Фрунзе тонкой палочкой водит по огромным полотнищам раскинутых карт, бродит в цветниках узорных флажков, остроглазых булавочек, плавает по тонким нитям рек, перекидывается по горному горшку, идет шоссейными дугами, тонкой палочкой скачет по селам-деревням, задержится на мгновение над черным пятном большого города — и снова стучит-стучит-стучит по широкому простору красочной, причудливой, многоцветной карты...

Около — Куйбышев чуть крепит бессонные темные глаза, встряхивает лохматую шевелюру; они советуются с Фрунзе на лету, они в минуты принимают исторические решения, гонят по фронту, по тылу, в Москву, гонят тучи запросов, приказов, советов... И вместе с ними — неразлучные, верные, лучшие, которых только выбрал и знал и любил Фрунзе. Они в те дни провели работу, которую еще не узнала и не оценила история: это они ночи насквозь корпели над мучительно-вздорными сводками фронта, вылавливали оттуда крупницы правды, отметали паническую или восторженную ложь, из этих крупниц составляли какую-то свою, особенную и мудрую правду, это они давали сырье Фрунзе, Куйбышеву, Баранову, чтоб из этого многоценного сырья крепкие головы отжимали самое нужное, из отжатого строили свои планы, из планов свивали грозную сеть, в которую должен был попасть Колчак. Кипел неутомной, пламенной работой штаб.

Все понимали — какой момент, какая ответственность; здесь не здоровье, не отдых, не жизнь человеческая были дороги, здесь ставилась на карту сама советская Россия. Бешеным потоком хлестала здесь через края творческая энергия этих удивительных людей; Фрунзе умел подбирать своих помощников. С Фрунзе не задремлешь — он разбередит твое нутро, мобилизует каждую крупинку твоей мысли, воли, энергии, вскиннет бодро на ноги, заставит сердце твое биться и мысль твою страдать так, как бьется сердце и мучается мысль у него самого. Кто с Фрунзе работал, тот помнит и знает, с какой мукой и с какой неистовой радостью он всего себя, целиком, до последнего отдавал — и мысль, и чувство, и энергию — в такие решающие дни.

Крепко сжат был для удара по Колчаку кулак Красной Армии. Фронт почувствовал дыханье свежей силы. Вздрогнул фронт

в надежде, в нежданной радости. Вдруг и неведомо как перестроились смятенные мысли — полки остановились, замерли в трепетном ожидании перемен.

И вот наступили последние дни: Фрунзе повел полки в наступление...

Как, неужели вперед? Неужели конец позорному бегству, неужто Красная Армия кинулась к новым победам?!

В необузданном восторге, круто обернувшись лицом к врагу, — вдохновенные, строгие, выросшие на целую голову и не узнавшие себя, — бурной лавиной тронули вперед наши войска...

Вот сошлись с передовыми отрядами врага — легко и уверенно сбросили их назад. Крепла вера в себя. Вот снова ударились с грудью грудь — и снова отшибли вспять. Выросла вера в огромную силу. Вот первые трофеи, первые партии пленных, вот вести, что к нам перешел неприятельский полк, что дрогнул враг по всему фронту...

Вот они, первые вестники побед. О, какой радостью прокатились по красным полкам эти громовые раскаты первых победных дней! Все настойчивей, стремительней мчит вперед неудержимая красная лава. Уже за нами Бугуруслан, за нами Белебей, Чишма, мы выходим на берег бурной Белой, перед нами высоко по горе раскинулась красавица Уфа. Вот он, ключ к сибирским просторам, вот он, город, который открывает широкую дорогу новым победам:

— Уфа должна быть во что бы то ни стало взята!

Колчак ушел за реку, он на нашем пути взорвал переправы, сжег запасы хлебов, фуража, изуродовал селенья — красные полки несли пепелищами, голой ровенью уфимских просторов. Враг ошестинился на высоком уфимском берегу жерлами английских батарей, офицерскими полками, стальной изгородью крепких надежных войск.

Фрунзе дал клятву взять Уфу, Колчак дал клятву въехать в Москву: две исторические клятвы скрестились на уфимской горе. Уфу стремительно надо вырвать из цепких лап врага. Но как перейти эту бурную Белую, когда нет ни баржей, ни плотов, ни пароходов? Что эти лодочки, что эти бревнышки, сташенные нами к берегам против уфимского моста! Нет, главным ударом надо бить не здесь.

Где-то у Красного Яра, верстах в двадцати повыше Уфы, наша кавалерия остановила в пути два пароходика, груженных офицерами: пароходы взяли, офицеров утопили в Белой. Эти пароходики и должны были сыграть невиданную роль. Живо построили плоты, стянули к Яру дивизии: первой пойдет Чапаевская, первым полком из Чапаевской пойдет на тот берег Иваново-Вознесенский.

Вечером в Красном Яру совещанье всех командиров-комиссаров из стянутых к берегу частей. На совещании Фрунзе. Он тщательно взвешивает каждую мелочь, высчитывает, сколько часов в короткой июньской ночи, когда упадет в вечернем сумраке и снова займется заря, сколько можно бойцов вбить битком на пароходы и

плоты, во сколько минут перебросят они на тот берег один, другой, третий полк... Взвешено все, узнана каждая мелочь — как на ладони весь план, как на ладони наши силы, наши возможности, выверены тонко и точно силы врага, предусмотрены жуткие случайности.

— Ну, ребята, разговорам конец, час пришел решительному делу!

И ночью, в напряженной сердитой тишине, когда белесым оловом отливали рокотные волны Белой, — погрузили первую роту иваново-вознесенских ткачей... По берегу в нервном молчании шныряли смутные тени бойцов, толпились черными массами у зыбких, скользких плотов, у вздыхающих мерно и задушенно парходов, таяли и пропадали и снова грудились к берегу и снова медленно, жутко исчезали во тьму...

Отошла полночь. Тихой походью, в легких шорохах шел рассвет. Полк уже был на том берегу.

Полк перебрался, неслышима врагом, — торопливо бойцы полегли цепями; с первой дрожью сизого, мутного рассвета они, неожиданные, грохнут на вражьи окопы.

Здесь, по берегу, всю команду вел Чапаев; командовать полками за рекой услад Чапаев комбрига Сизова. За ивановцами вслед должны были плыть пугачевцы, разинцы, Домашкинский полк...

Наши батареи, готовые в бой, стоят на берегу, — они по чапаевской команде ухнут враз, вышвырнут врага из окопов и нашим заречным цепям расчистят путь... Время сжало свой ход, каждый миг долог, как час. Расплетались последние кружева темных небес. Проступали спелые травы в изумрудной росе. По заре холодок. По заре тишина. Редеющий сумрак ночи ползет с реки.

И вдруг — команда! Охнули тяжело гигантские жерла, взвизгнула страшным визгом утренняя тишина: над рекой, и звеня, и свистя, и стоная, шарахались в бешеном лете смертоносные чудовища, рвалась в глубокой небесной тьме гневная шрапнель, сверканьем и огненным веером искр рассыпалась в жидкую тьму.

О—х... Ох... х... Ох... — били орудия.

У... у... з... и... — бешено рыдали снаряды.

В ужасе кинулся неприятель прочь из окопов.

Тогда поднялся Ивановский полк и ровным ходом заколыхал вперед. Артиллерия перенесла огонь — била дальнюю линию, куда отступали колчаковские войска. Потом смолкла, — орудия снимали к переправе, торопили на тот берег.

Переправляли Пугачевский полк, — он берегом шел по реке, огибал крутой дугой неприятельский фланг. Иваново-вознесенцы стремительно, без остановки гнали перед собою вражью цепь и ворвались с налету в побережный поселок Новые Турбаслы. И здесь встали, — зарываться вглубь было опасно. Чапаев быстро стягивал полки на том берегу. Уж переправили и четыре громады броневика — запыхтели тяжело, зарычали, грузно поползли они вверх — гигантские стальные черепахи. Но в зыбких колеях, в рычлом песке побережья сразу три кувырнулись — лежали бессильные, вздернув вверх чугунные лапы. Отброшенный вверх неприятель

пришел в себя, осмотрелся зорко, оправился, повернул к реке сомкнутые батальоны и, сверкая штыками, дрожа пулеметами, пошел в наступление. Было семь утра.

В четырехчасовом бою иваново-вознесенцы расстреляли запас патронов, новых не было, с берега свозили туго: пароходики грузили туши броневиков, артиллерию, перекидывали другие полки.

Сизов отдал приказ:

— Ни шагу назад. Помнить бойцам: надеяться не на что — сзади река, в резерве только...штык!

И когда неприятель упорно повел полки вперед, когда зарыдали Турбаслы от пулеметной дробы, — не выдержали цепи, сдали, попятились назад. Скачут с фланга на фланг на взмыленных конях командиры, комиссар, гневно и хрипло мечут команду:

— Ни шагу... Ни шагу назад! Принять атаку в штыки! Нет переправ через реку! Ложись до команды! Жди патронов!

Видит враг растерянность в наших рядах, — вот он мчится, близкий и страшный, цепями к цепям... Вот нахлынет, затопит в огне, сгубит в штыковой расправе...

В этот миг подскакали всадники, спрыгнули с коней, вбежали в цепь...

— Товарищи! Везут патроны... Вперед, товарищи, вперед! Ур-ра!!

И близкие узнали и кликнули дальним:

— Фрунзе в цепи! Фрунзе в цепи!

Словно током вдруг передернуло цепь. Сжаты до хруста в костях винтовки, вспыхнули восторгом бойцы, рванулись слепо вперед, опрокинули, перевернули, погнали недоуменные, перепуганные колонны. Рядом с Фрунзе в атаке Тронин, начальник Поарма. И первая пуля сразу пробилась смелому воину грудь: теперь в том месте, где черная ранка, — золотой звездой горит на груди у него орден Красного знамени.

Сизов вслед Фрунзе послал гонцов, наказал под дулом нагана:

— Следить все время. Быть около. Живого или мертвого, но вынести из боя, к переправе, на пароход!

Берегом уже гнали повозки патронов, — их, ползком волоча в траве, разносили к цепям, как только полегли они за Турбаслами. И когда осмелели, окрепли наши роты, — скакал обратно к пароходу Фрунзе. Вдруг грохнуло над головой, и он вместе с конем ударился оземь: коня — наповал, Фрунзе сотрясся в контузии. Живо ему на смену другого коня, с трудом посадили, долго не могли сговорить-совладать, чтоб справиться к пароходу, — он, полубеспамятный, уверял, что надо остаться в строю...

Чапаев командовал на берегу: всю тонкую, сложную связь событий держал в руках. Скоро и он выбыл из строя, — пуля пробилась голову. Взял командование Сизов. Жарок шел до вечера бой. Ночью искрошили офицерские батальоны и лучший у врага Каппелевский полк. Утром грозно вступали в Уфу.

Из двух клятв, что скрестились на уфимских холмах, — сбылась одна: ворота к Сибири были распахнуты настезь.

СМЕРТЬ

В начале этого года* погиб драматической смертью старый большевик, иваново-вознесенский ткач Семен Балашов, «Странник», как звали его в подпольи. И мы тогда, иваново-вознесенцы, живущие в Москве, собирались, обсуждали, как отозваться на эту смерть, как хоронить.

Прошло почти полгода, — и снова собираемся за тем же столом, те же, что тогда, но обсуждаем иной вопрос: как отозваться на смерть дорогого земляка — Михаила Васильевича Фрунзе. Тот раз и сам Фрунзе ходил к балашовскому гробу, теперь надо его хоронить.

У каждого так много-много есть что вспомнить и что сказать, но больше молчим, не вяжутся речи, обрывками слов толкуем про делегацию из Иваново-Вознесенска в пятьсот человек, про комиссию по увековечению памяти, про сборник, что-то еще...

Вот сидит — поникшая, печальная — старая когорта подпольщиков. Они помнят мальчика Мишу, совсем безусого юнца, когда держал он пламенные речи на людных рабочих митингах, знают его по каторжным централам, где юный большевик «Арсений» воодушевлял, заражал товарищей своей бодростью, свежестью, непоборимой верой в победу, — победу великого дела борьбы.

Они его помнят по тюрьмам, по ссылке, знают, как он спокойно, мужественно ожидал виселицу... Летучие мысли, памятки, воспоминанья...

Потом пошли в Колонный зал.

Там траурной сетью обвиты стены, там в тысячах огней горит зал, но невесело его сиянье, тускл этот похоронный свет пустых огромных комнат.

Склонились знамена, в черных лентах замер портрет красного полководца. Тихи разговоры, задушены горечью, болью стиснуты речи, — так тихо бывает только в комнате трудно-больного, когда близка смерть.

Уж полночь, — скоро из больницы привезут гроб. Мы выстроились в ряды, ждем. И вот — заплакал оркестр похоронным маршем, вздрогнули ряды, головы обернулись туда, где колыхалась красная гробница. Внесли, поставили, первый караул встал на посту — члены Политбюро ЦК. За ними новый караул и новый и новый — бесменные караулы у гроба полководца...

Вот Надежда Константиновна, — скоро два года, как первый раз стояла она здесь у изголовья другого гроба. Как сложны должны быть чувства, как мучительно должно быть теперь ее состояние, — не прочтешь ничего в глубоких морщинах лица: так оно много вобрало в себя страданья, что застыло в сосредоточенном, недвижимом выраженьи, — лучатся только горем выцветшие очи верного друга великого человека.

* Т. е. 1935 г.



Мы дежури́м в третьем часу.

Стою, смотрю в это мертвое лицо, на черную ленту волос, на просек ресниц, на глаза, закрытые смертью навек, на сомкнутые крепко губы — и вспоминаю всю свою жизнь, встречи с этим бесконечно дорогим человеком, сыгравшим в жизни моей большую роль. Но об этом не теперь, будет время — вспомним.

Проходят вереницы в почетные караулы, — до утра не редет толпа. А с утра приливают новые волны, отряд за отрядом, — идет Москва к праху война.

Н. ВИГИЛЯНСКИЙ

НАЧАЛО ЖИЗНИ*

1

Я позвонил. За дверью раздались быстрые, бегущие шаги. Девочка в спортивных шароварах открыла мне дверь.

— Папа, к тебе! — крикнула она.

В глубине квартиры хлопали двери. Звучало радио.

Жуков вышел в пижаме, со шнурочными застёжками, в туфлях, опущенных мехом. Оживленный, потирая руки, он помог мне пристроить пальто среди множества одежд на вешалке. Иней на воротнике пальто не таял и не стыхивался, это были целые наледы, их трудно было оторвать от меха.

— Холодно, а? Сразу нас нашли? Чаю хотите? Где мы будем разговаривать? — спрашивал Жуков. — В столовой у нас сегодня прохладно...

— Папа, идите ко мне... — сказала девушка, видимо, старшая сестра той девочки, которая открыла мне дверь. — Я отправляюсь на каток.

Видно было, что все ей доставляет удовольствие: и то, что на улице очень холодно, и то, что она может устроить нас в своей комнате, и слово «отправляюсь»...

Едва мы расположились в маленькой комнатке с аквариумом, с географическим атласом на столе, с ковриком над постелью, как в стену постучали.

— Одну минутку, — извинился Жуков, оставляя меня.

Я услышал разговор вполголоса за дверями, вопросы, спор, в котором повышались голоса, громкую фразу:

— Но я тоже хочу послушать! Мне интересно...

— Нельзя быть такой упрямой!.. Это очень серьезная беседа. Ты можешь помешать товарищу. Он тебя совершенно не знает...

— Но я ничем не буду вам мешать...

Распахнув дверь, девочка сказала мне:

* Го воспоминаниям старых большевиков и рабочих Иванова и Шуи.

— Я вам не буду мешать... Не обращайтесь на меня внимания... Я буду сидеть тихо... Представьте себе, что меня нет...

Сняв туфли, она забралась с ногами на кровать. Ее лицо говорило:

— Ни за что не уйду! Можете меня гнать, но я не уйду...

Жуков вошел вслед за ней и положил передо мной коробку папирос. Сам он курил свертыш через мундштук. Он, видимо, сердился и на дочь и на себя, что не сумел настоять и позволил ей поступить по-своему. Он не смотрел на нее, и она отвернулась в сторону. Но мне показалось, что он отчасти доволен этим происшествием.

— Я кое-что подготовил, посмотрел свои старые тетради, — сказал он. — Хотелось бы только, чтобы вы точнее определили, что вас интересует? Что вам осталось непонятным на вечере воспоминаний?

— Мне неясно о Фрунзе, — ответил я. — Каким образом никому неизвестный приезжий студент, работая в подполье, в условиях строгой конспирации, стал всенародным героем? Каким образом Иваново-Вознесенск, заштатный город Владимирской губернии, стал центром исторических событий? Хотелось бы больше узнать о вашем прошлом. Вы говорили на вечере воспоминаний, что ни один человек не оставил в вашей личной судьбе такого глубокого следа, как Фрунзе. Как это вышло и почему?

— Я могу вам рассказать о жизни рабочих того времени, о стачке, о том, что вас интересует в моем прошлом, но Фрунзе — это слишком большая тема. И у нас, в Иванове, есть люди, гораздо ближе, чем я, знавшие Михаила Васильевича, прошедшие с ним ссылку и гражданскую войну. И в годы тысяча девятьсот пятом, тысяча девятьсот шестом, в начале тысяча девятьсот седьмого Михаил Васильевич работал главным образом в Шуе, а я там редко бывал.

— Я несколько раз пробовал оформить свои воспоминания, — продолжал Жуков. — Писал, однажды, месяц в доме отдыха, заполнил несколько тетрадей, а как дошел до Фрунзе, подумал — нет, не то — бросил и не показывал никому...

— Она вот часто заставляет меня рассказывать о Михаиле Васильевиче, — улыбнулся он дочери, — но ее интересует и серьезное и пустяки. Она еще не родилась, когда у нас, в последний раз, был Фрунзе, приехав с фронта. Сын Юрий уже ходил. Михаил Васильевич увидел его, сказал:

— Ух, какой бутуз! — и подбросил Юрку к потолку. Сам Юрий этого совершенно не помнит. Но когда я или жена вспоминаем об этом, Тамара завидует:

— Какой Юрка счастливый...

... Когда Жуков улыбался, становились резче морщины около его губ. Волосы с легкой проседью, подвижное лицо, на котором оставили свои следы окраина, фабрика, подполье, тюрьма, фронт, промышленная академия, привычка управлять людьми. Проницательные глаза, заставляющие собеседника внутренне подтягиваться; глаза, в которых, если позволить себе неискренность, тотчас же отразится — «Это ты, брат, рисуешься!.. А это ты, голубчик,

врешь!..» Но глядя в лицо Жукова, смягченное улыбкой, легко было представить, каким был этот человек в девятнадцать, даже в семь лет.

— ... Вы не бывали до революции в Иваново-Вознесенске? — спросил он. — Может быть вам приходилось бывать на Выксе, в Кулебаках, на Уральских заводах, в Донбассе? Там тоже рабочие поселки лепятся около завода или шахты; завод — это весь смысл их существования. И вот представьте себе разросшийся рабочий поселок, который теснится не вокруг одного завода, а вокруг двадцати семи фабрик. Как на колокольню в старой Москве, — у нас всюду, куда ни пойдешь, наткнешься на фабричную трубу. Еще издали подъезжаешь или подходишь к Иванову и видишь дым. И вокруг Иванова — в Кохме, в Тейкове, в Шуе, в Середи — чуть не с позапрошлого столетия существовали десятки прядильных, ткацких, ситценабивных фабрик. Иваново-Вознесенск называли «Русским Манчестером». Когда у нас возникла большевистская газета, мы назвали ее «Рабочий край», и так она называется до сих пор.

Всюду по городу разносился сладковатый запах красилен. В незапамятные времена в речке Уводи передохла рыба, «через химию», как говорили старики. Большие нефтяные пятна плыли по Уводи.

Одноэтажные, некрашенные срубы с деревянными крышами, обросшими зеленым мхом. Там и здесь можно было видеть земляные крыши, на них весной вырастала трава и паслись козы.

У нас в доме дети спали на полу. Если бы поставить кровати, негде было бы ходить. Третью часть дома занимала русская печка, и на нее пускали квартиранта. Ложишься спать, — и те, что возвращаются из вечерней смены, переступают через тебя и ходят мимо твоего лица.

И все-таки места в городе рабочим нехватало. Многие жили в окрестных деревнях и каждый день верст за шесть, за восемь ходили на работу. Позже появились казармы, где спали на нарах вповалку, в два этажа, и тогда возникло выражение:

— Куда идешь?

— На спальню...

Не было ни фонарей, ни мостовых, ни водопровода. Грязь на улицах не просыхала. Моя мать всю жизнь проходила в сапогах; как сейчас вижу ее в подоткнутой, сборчатой юбке, с коромыслом через плечо; идет, скользит, ведра качаются, расплескивают воду; сапоги замазаны выше щиколотки. Среди улиц стояли колодцы со скрипучим деревянным валом, вертишь этот вал за железную ручку, наматываешь на него веревку и вытягиваешь ведро с водой.

Были случаи, когда ночью, не найдя обхода или мостков, люди по колена вваливались в лужи. Помню, сам я в центре города, еще засветло, попал так, что оставил обе галоши, потом завязил сапог, он снялся у меня с ноги, и, держа его в руках, прыгая на одной ноге, я выбрался на сухое место. Можно себе представить, что творилось на окраинах в темные, осенние вечера, когда хочешь не хочешь — надо было выходить в ночную смену!

В праздничные дни взрослые рабочие пьянствовали, играли в

косточки и в орлянку, устраивали кулачные бои. А какие удовольствия были у молодежи? Ни театров, ни кино, ни радио, ни библиотек, ни катков, ни стадионов... Летом в домах старались не зажигать огня — сэкономили керосин. Услышишь балалайку и бежишь к ней.

Или узнаешь, что где-нибудь, квартала за четыре, справляют свадьбу, и подолгу торчишь под чужими окнами, смотришь, как пьют и едят, слушаешь, как поют под гармошку. Не только мы, дети, но и взрослые сбегались поглядеть на свадьбу. Облепят все окна, а мы пролезаем у взрослых под ногами, взбираемся на завалинки, чтобы тоже прильнуть к окну и хоть одним глазом посмотреть.

Или слышишь: бьют в церковные колокола, сначала в самые маленькие и тонкие, потом все ниже, басовитей, как будто сходят эти звуки вниз, шаг за шагом, со ступеньки на ступеньку. Гнусавое пенье приближается по улице. Выбегаешь за калитку и смотришь: люди с непокрытыми головами несут на полотенцах гроб, а впереди идет поп в золоченой ризе и кадит. Вечером дразнишь сестру: «Верка, а ты все проспала, не видела, как хоронили!». И сестре обидно, что она проспала и не видела, как хоронили.

Лет четырнадцати я прочитал книжку стихов Лермонтова, без начала, без конца, и не поверил, что эту книгу написал обыкновенный человек, который жил, как все — пил и ел. Стихотворение:

Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит..

— было любимой песней отца. Я слышал ее с колыбели, но думал, что она существует от века, сама по себе, как дар речи, или огонь. Разве может быть, — думал я, — такой человек, чтобы он от себя сочинил слова — «звезда с звездой говорит»?..

Мать, видя, как я зачитываюсь, советовала мне остерегаться книг.

— Иной начитается библии и сходит с ума, — предупреждала она.

Я верил ей, что от книги можно сойти с ума. Но я верил, что есть и такие книги: прочтешь их и приобретешь силу, — скажешь: «Солнце, остановись!» — и оно остановится.

Подростком я мечтал уехать на Волгу, поступить кочегаром на пароход. Хотелось вырваться из Иваново-Вознесенска. У нас говорили:

— Хуже этого города на свете нет. И назвали его в честь Иванушки-дурачка...

В самом деле, как относились тогда к своему городу, — судите по названиям окраин: Рылиха, Ямы, Голодаиха, Завертяиха, Фряньково, Продирки.

Но что-то и в те годы привязывало нас к Иваново-Вознесенску. Однажды родители отправили меня на лето в деревню. Мы росли бледными, младшая моя сестренка до трех лет не умела ходить. Мы питались, как все, — щи из темнозеленой капусты, ее зовут у нас в Иванове — «щаница». Пол-ложки льняного масла на чугунах щей. У нас были болезни, о каких и не слышат теперешние дети, — цыпки, чесотка. Цыпки — это трещины на руках и на ногах.

Руки и ноги обветривали — мы бегали до глубокой осени босиком и без варежек, таскали матерям корзины белья на прорубь. Цыпки долго не заживали и кровоточили, кожа шелушилась. Но больше всего меня одолевали чирьи, иные в очень неудобных местах: вскочит на шее и ходишь скособоченный.

Сестра моей матери жила на хуторе под Кохмой. Детей у нее не было. Когда она приезжала на базар, она дарила матери четверть молока, десяток яиц и упрекала:

— Что это, Клавдя, дети у тебя совсем запаршивели!..

На лето тетка взяла меня на хутор. Я не думал, что мы дома недоедаем, считалось, что мы живем лучше многих других. Но у тетки я так и набросился на свежие огурцы, на молоко, на пышки из теста, сдобренного простоквашей. Я ел раз шесть в день, и от еды меня бросало в жар. Часто днем я засыпал, где придется: под деревом, в огороде. Я все отчетливее слышал пение птиц, воздух казался острее, когда я его вдыхал, трава более яркой. Быспавшись, я чувствовал себя силачом, бегал вприпрыжку, кричал в лесу, просто так, без всякой причины. Тетка, довольная, говорила:

— Вот и глаза у тебя стали масляные, как у кота...

Мне нравилось, как жили дядя с теткой. Шума и ругани, таких, как в нашем доме, я не слышал. Весь день они были так заняты, что, встречаясь на дворе, не глядели друг на друга. И никуда не спешили. Если дядя не уезжал в поле, то что-нибудь мастерил в доме, чистил хлев, смазывал телегу. Или привозил сено, и вдвоем с теткой они перебрасывали его вилами на сеновал. Тетка доила коров, собирала яйца и ругала кур, что они несутся, где попало. И все в доме, все вокруг дома. Знаешь, что никто не придет, не приедет, ничего ниоткуда не ждешь. Наступает ночь, запирают сени и ворота, и все черно кругом, все как будто вымерло. Только собака лает, бегая на цепи. И очень много звезд.

И вот я начал скучать по городу. Хотелось не только скорее увидеть мать, отца, сестер, — хотелось скорее увидеть Иваново-Вознесенск, услышать гудки паровозов ночью и посмотреть, как возвращаются домой деповские, в брезентовых плащах и в тулупах, светя себе под ноги фонарями. Или утром выскочить за ворота. По всей улице хлопают калитки, первая смена выходит на «заработку», идет, сливаясь в денту, занимая улицу во всю ее ширину. А вечером поезд с шумом пронесится мимо Талки по насыпи, светят газовые рожки во всех окнах двухэтажных и трехэтажных фабричных корпусов, кирпичные стены трясутся от гула изнутри, и огни фабрик отражаются в Уводи.

Ложась спать, мать говорит квартиранту:

— Федор, а Федор, тебе сегодня не в ночную?..

Она говорит это громко, не боясь разбудить семью, все привыкли к голосам и движению по ночам. И, засыпая, не чувствуешь себя заброшенным. Где-то люди ходят сейчас, смотрят во все глаза, разговаривают при полном освещении. Всюду в городе люди, не одни, так другие; жизнь идет там, не останавливаясь ни на минуту.

Мне было одиннадцать лет, когда отец устроил меня на Бакулинскую фабрику.

Мой дед был ткачом и отца сделал ткачом. Самоучкой отец научился читать и, двадцать лет проработав на фабрике, выбился в подмастера.

В те времена отец считался передовым человеком. Он не «опивал» ткачих, не брал с них взяток водкой, не приставал к ним в темных углах фабрики, и работницы его уважали, называли «справедливым подмастером». Он много читал — религиозные книги, романы Загоскина и Лажечникова, журналы — «Нива» и «Родина». Отец учил меня: — Самое главное в жизни — стать самостоятельным. Каждый человек своему счастью кузнец... — Но ему и в голову не приходило отдавать меня в школу.

У него были большие знакомства на фабрике, и он пристроил меня в ремонтный цех. Несколько месяцев все поджидал случая, чтобы «поставить» меня на хорошее место, и истратил на взятки ведра два водки. А когда меня приняли на хорошее место, опять надо было «выставлять» вино мастеру и конторским — это называлось «обмыть» новичка.

День, когда меня приняли на фабрику, стал праздником для всего дома. Лица — радостнее, чем на пасху! Прибавился еще один кормилец в семье. Меня одели в специально сшитую для этого дня рубашку. Мать не знала, что и приготовить для меня, какой кусок выбрать, куда меня посадить. Отец налил два стаканчика водки и чокнулся со мной, как бы признавая меня взрослым и принимая в свою компанию. — Дорожи местом, с людьми будь обходительным, не груби... — наставлял он меня. — Если сорвешься, нам больше деваться некуда.

Когда я пришел с первой получкой, отцу показалось мало. Я не мог объяснить, почему я получил столько, а не больше. — Ты ничего не утаил? — спросил отец, глядя мне в глаза. — А что тебе сказали в конторе? Ты не верь им, Саша, не доверяй ни в чем, тут ведь только и смотрят, как бы объегорить рабочего человека...

Мне казалось — у отца я найду защиту при любой неприятности на фабрике. Но в этом пришлось горько разочароваться. Однажды мастер пожаловался отцу, что я в рабочее время убегаю на Уводь. Я действительно уходил проверить, будет ли плавать лодка, сделанная из жести? Мне сказали в мастерской, что по морю плавают корабли из железа, и мне хотелось испытать — может ли это быть? Мастер пришел меня разыскивать на речку и начал ругать, а я ответил ему: — В цехе сейчас все равно нечего делать.

Едва я в этот день вошел в дом, как отец схватил со стола скалку и ударил меня. Я выбежал на улицу, и он бросился за мной вдогонку, а мать крикнула: — Ваня, убьешь!.. Я так бежал, что отец не смог меня догнать, бросил в меня скалку и закричал: — Лучше не приходи домой!..

Было очень обидно. Еще маленьким, я хвастался на улице, что отец у нас никогда не дерется, и мне не верили, а поверив, завидовали — так это было необычно в те времена.

Под утро я потихоньку вернулся домой. Мать не стала меня жалеть. Она сознавала: отец в этом отношении прав, тут спуска давать нельзя. И я видел, что отец прав. Он и через месяц не мог спокойно вспомнить об этом случае, менялся в лице, смотрел на меня чужими глазами и говорил: — Сама себя раба бьет, коль не чисто жнет!.. Не удержишься в мастерской — больше ждать нечего. Иди тогда, куда хочешь — сдыхай под забором! Ступай тогда на все четыре стороны, и я скажу: больше я тебе не отец!..

Бакулинская фабрика в те годы была передовым предприятием в Иваново-Вознесенске. Гречин, ее основатель, любил пустить пыль в глаза. Лошади из тройки, на которой он ездил, были на подбор — серыми в яблоках. Все фабриканты тогда чем-нибудь бахвалились. Маракушев, например, хвастал тем, что на его фабрике самая высокая в городе труба. И, чтобы пофорсить, Гречин первый завел у себя на фабрике форсунки и электрическое освещение вместо газовых рожков.

Наш ремонтно-механический цех помещался в кирпичном строении. С балок крыши падали лохмотья копоти. Окна не протирались. Стояли два горна с мехами, тут молотобойцы били, с оттяжкой, тут же гремел жестяник у своего длинного стола, с рельсой по краю. Его стальные ножницы стояли на полу, и мы спотыкались о них.

Хлопали неприкрытые ремни станков; рябило в глазах, когда смотришь на место шивки ремня, бегающее вверх и вниз. В холода, когда не работали горны, мы зажигали на железном листе костер и грелись около него.

В этом сарае мы и находились с шести часов утра до шести вечера, там же и ели, сидя на верстаках. Летом мыли руки в ручье на улице, вытирали их об одежду. Пальцы отпечатывались на хлебе, и он был с привкусом ржавчины и керосина.

Первые годы, приходя домой, я видел во сне, как зачищаю засеницы и делаю резьбу на болтах, видел длинное пламя паяльной лампы и слышал во сне стук молотков о железо. Меня учил Константин Иванович Стасов. Он на глаз определял, до шестнадцатой дюйма, размер гайки и заранее знал, какую взять ключом.

Вот вызывают меня, и я иду в полном своем вооружении, с набором ключей, в котельную, лезу в дыру, куда никто, кроме меня, не пролезет, выстукиваю трубы и слышу свист пара во флянцах. Командую: — Остановите пар! — захватываю цепным ключом и вращаю звено толстой трубы. А тут прибегают и спрашивают: Саша у вас? Саша, зайди потом в ткацкую... Меня искали и часто звали туда, где не могли справиться старые слесари.

Перемажешься, как чорт, тут ведь не разбираешь — ложишься куда попало и, вытирая пот, хватаешься руками за лицо. Покаставишь новую прокладку на флянцах, котел стоит, люди ходят без дела, и многое на фабрике стоит — все, что зависит от этого котла. Заведующий котельной, а иногда и сам Бакулин, не отходя,

маячат около меня. — Ну, как? — спрашивает Бакулин, ничего не понимая в моем деле, но волнуясь, что теряет рубли. Я успокаиваю его из-под котла: сейчас сделаю... — Зажигай котел! — командуя я, и Бакулин повторяет за мной: — Зажигай котел!.. — И вот двинулся пар, и не уходишь, пока не заработала вся система, хотя и уверен, что все будет в порядке. Загудели форсунки, видишь по манометру — пошел пар и слышишь — без свиста! Чувствуешь себя очень важным, чуть ли не главным лицом на фабрике

С гордостью, неизвестно за кого, наблюдаешь, как электрик, берясь за рукоятки рубильников, включает свет в целом корпусе, в соседних корпусах. Подолгу стоишь, бывало, в приготовительном отделе и смотришь, как течет вверх хлопок. И то, что его никто не подталкивает, а он идет и идет себе, не вниз, а вверх, казалось чудом. Ведь расчесанный хлопок — это легкий пух, от дыхания пушинка хлопка летит к потолку. Сядет эта пушинка на блузу, возьмешь ее, сомнешь пальцами и скатаешь в комок меньше булавочной головки. Где же эта пушинка берет силу, чтобы итти вверх по жолобу, подобно живому существу?

Мне объясняли: это рассчитано на силе сцепления частиц. Каждая ворсинка в отдельности очень слаба, но зацепляется за другую, за третью, за четвертую, за пятую, ее тянут за собой передние, находящиеся более высоко, а самые верхние, в соседнем помещении, движет машина. Так, держась друг за друга, частицы хлопка идут вверх.

Подолгу я смотрел, как, сотрясая полы, работают ткацкие станки. Бьют погонялки, и челнок летает быстрее молнии — его не схватишь глазом. А все-таки батан поспекает прижимать за ним каждую нитку. Была лишь основа натянута, и вот — получается ткань! И не на одном станке! Их так много, что они режут водопадом. Кричишь что-нибудь работнице, и она тебе кричит в ответ, широко раскрывая рот, но что она отвечает — трудно разобрать. И где-нибудь в дальнем конце коридора, за многими стенами и дверями слышишь гул, не только в воздухе и в стенах, слышишь гул ткацкой в своих пальцах.

Слышишь этот гул и думаешь: ведь тут за один день можно одеть целые губернии! Ломовики вывозили с фабрик сотни телег со штуками товара, и когда у ворот колесо попадало в рытвину, возчик отскакивал, чтобы его не убило нависшей кладью, и лошадь карабкалась всеми четырьмя копытами, выволакивая воз из ямы. Уже в те годы иваново-вознесенские ситцы шли по всей России, продавались в Персии.

Когда мы были маленькими и мать собиралась на работу, я начинал орать. Она успокаивала меня и обещала: — Погоди, сынок, скоро будет дачка, куплю баранок. — Она уходила, а я продолжал вопить и думал: куда она могла деваться и зачем ей уходить от нас? Мне казалось, она сидит где-нибудь за углом, только чтобы отвязаться от нас. Теперь я понимал, куда она исчезала на долгие часы и какие творила дела. Каждый день работы на фабрике давал мне новые наблюдения, вызывая во мне новые мысли.

Один из наших подносчиков основ ташил четырехпудовую ос-

нову на плече, на третий этаж, а ступеньки лестницы были узкие, на них не умещались подметки его сапог. Подносчик сорвался, основой перетянуло его, и он сломал себе ногу. Его надо бы в больницу, но его отнесли домой, нога неправильно срослась, и он остался хромым. Случай довольно обычный, люди говорили: — Надо бога благодарить, что еще ногу, а не голову!.. Через месяц калека пришел на фабрику с костылем и ему дали расчет. Он попросился сторожем, ему ответили: — Нет вакансий...

Было жалко смотреть, как здоровый, широкоплечий мужчина, всем телом опираясь на костыль, не привыкнув обращаться с ним, прыгал к воротам на одной ноге, то помогая себе другой ногой, то подволакивая ее. — Куда же он теперь пойдет? — подумал я.

У меня возникла идея нето подъемника, нето транспортера. Много лет спустя, на Социалистической улице, в новом здании почтамта, увидев ленту, переносящую телеграммы в верхние этажи, я вспомнил о первой фантазии своей юности. Я много думал над этим приспособлением и рассказал о нем Константину Ивановичу Стасову. Он заинтересовался:

— А как ты пропустишь таль до четвертого этажа?

Я ответил, не задумываясь:

— Прорубить полы...

И вдруг он нахмурился:

— А зачем это тебе нужно?

— Прорубить полы?..

— Нет, вообще...

— Чтобы облегчить труд, — ответил я.

— Ты балда! — рассердился Константин Иванович. — Ты думаешь, зачем он держит фабрику — чтобы облегчить тебе труд? Ты думаешь ему нужны люди, машины, ситец? Ему нужны деньги — вот и все. Если бы ему было выгоднее, он закрыл бы фабрику и варил бы из нас мыло. Зачем ему думать, волноваться, тратиться, — когда он наберет Ванек от ворот, и они ему перетаскают какие хочешь основы. И если бы поставили твой подъемник, — первые, кто тебе пробил бы за него голову, — это подносчики основ. Ты не дал бы им заработать...

...Вам, может быть, непонятно выражение «Ванек от ворот»? Дело в том, что к нам наезжали со всех концов России безземельные, безлошадные крестьяне. Некоторые фабриканты, Витовы например, которых народ за жадность и крохоборчество называл «кошатниками», — рассылали своих вербовщиков и вагонами ввозили деревенских из Вятской и Тамбовской губерний. Забитые, голодные крестьяне соглашались работать чуть ли не за одни харчи. Завидев фабриканта или только услышав слово «хозяин», они начинали моргать и покрываться потом и отвешивали поясные поклоны мастерам. Они сбивали заработную плату, сводили на нет все, чего нам удавалось добиться во время забастовок.

Их-то и называли у нас «сермягами» и «Ваньками». Часто можно было видеть, как большими группами, в лаптях и онучах, теснясь друг к другу, они дежурили около фабричных ворот и все,

скопом, бросались к воротам, едва покажется в проходной будке кто-нибудь из начальства.

Конечно, трудно представить человека, у которого не шевельнулось бы чувство сострадания при виде вшивых, обросших волосами, взрослых людей, присевших под окнами: — Тетенька, родная, Христа ради, дай кусочек хлебца... — Мать мрачнела, слыша под окнами эти голоса, и подавала, что попадетя под руку — яйцо на пасху, кусок пирога. Но, с другой стороны, подумаешь — вот человек работал на фабрике пятнадцать-двадцать лет, вся жизнь его здесь, целая семья держится на его одиннадцати рублях заработка, и вдруг является паренек с котомкой и, кланяясь фабриканту, чуть ли не ноги его целуя, просит:

— Возьми меня, буду работать не за одиннадцать, а за восемь, хоть за семь рублей в месяц...

И фабрикант выбрасывает на улицу старого рабочего. А ведь руками коренного иваново-вознесенца создано все благополучие фабрики. Как не посочувствуешь его обиде? Думаешь — все виноваты и все правы! — и не видишь выхода из этого положения.

С каждым годом в городе прибавлялось все больше и больше людей. Мать, качая головой, говорила:

— Народику-то, народику сколько развелось... Когда я девушкой была, за Куваевской фабрикой лес стоял, а теперь все позастроили...

В ее голосе слышался страх, как во время наводнения. В то время боялись не только начальства, не только чужеземцев, боялись друг друга, самих себя и своих детей.

Почти каждая женщина в те времена рожала восемь или десять ребятишек. Дети копошились под столами, подвертывались под ноги. Родители раздавали затрешины направо и налево, путали детей: когда озорничает Петька, кричали: — Дунька, чорт! — и били на всякий случай и Дуньку и Петьку.

Я видел много семейств, где матери орала на своих детей: «Да что вы сколько жрете? Хоть бы вы сдохли!...» В самом раннем детстве ребятишки начинали чувствовать себя виноватыми за то, что живут на свете.

Перед русско-японской войной начались заминки в торговых делах, закрыли прядильную, потом ткацкую, и нас из ремонтно-механического распустили по домам. Оставили несколько человек наиболее безобидных. Стасова выкинули в первую очередь, затем меня. Меня не раз замечали с книжками, оглядывались и не знали после, как обращаться ко мне — на «ты» или на «вы». Мастер называл меня — «Читатель»...

Всех выбросили без предупреждения, просто объявили: — Ты завтра не выходи. И ты... — Мы побежали к знакомому конторщику и спросили: — Когда можно рассчитывать на работу. — Он ответил: — Может быть, осенью, месяца через три-четыре. Может быть, раньше, а может быть, и к весне. Приходите, узнавайте...

Закрылась большая часть фабрик в городе и окрестностях. Люди разбрелись по деревням, к родным, на покос. Те, что не имели связи с деревней, пробовали копать колодцы, крыть крыши.

Мало было и таких работ. И вот — лучшие слесаря, ткачи и рак-листы города, неумытые, в разбитых сапогах, слонялись по улицам и ночью лазили по огородам воровать картошку.

Я находился в более счастливом положении, у меня была семья. Но и отца временно рассчитали, и шесть человек остались на заработке матери. Принесешь два ведра, ну, четыре ведра воды, и больше не находишь, чем в доме помочь. Было совестно объе-дать маленьких детей, не хотелось разговаривать за столом, и я старался поскорее уйти из дома.

Заходил на фабрику. Станки стояли, ремни покрылись гряз-ным пухом и пылью. Не работала электростанция, даже ножницы жестяника были завалены обрезками. Все оборудование в исправ-ности, а люди без дела, а город во мраке, и на штанах и на крышах всюду — заплатка на заплатке! Оставшиеся в мастерской жаловались: — Скучно, нечего делать... — Я заходил в ткацкую, там валялись на полу разобранные части станков. Бы-ло тихо, слышался разговор в другом конце цеха. Ремонтировщи-ки слонялись из конца в конец, лишь бы как-нибудь убить время.

На третий месяц безработицы я упрекнул отца: — Ты говорил: самое главное — сделаться самостоятельным. Ну вот, я теперь так же, как и ты, сделался самостоятельным, стал на ноги... Дальше что?.. — Отец не нашелся, что ответить.

К тому времени иные мои товарищи ослабели настолько, что им не хотелось ходить по улицам. Как-то собралось нас пять че-ловек, лежали в тени на кладбище и обсуждали — где бы чего поесть? И вот один говорит: — Пойдемте, я вас накормлю. — Мы поднялись и пошли за ним через весь город. У товарной станции он сказал: — Повремените... — И пошел к вокзалу. Долго его не было, и вот он приходит и приносит завернутые в мешок полка-равая хлеба и виток колбасы. Никто его ни о чем не спросил, мы стали есть хлеб и колбасу, ломая их руками, не доставая ножей.

Поели, пошли со станции и встретили фабриканта Гарелина. Один из наших выбежал на дорогу и раскинул ноги и руки. Кучер остановил лошадей. — В чем дело, Власов? — спросил Гарелин. Он узнал одного из своих лучших заварщиков. — Когда на работу? — спросил Власов. — Скоро... — ответил Гарелин, покосился на наши хмурые физиономии, достал серебряный рубль и подал его Власо-ву. И тот принял милостыню, как бы не помня себя и не разли-чая, что это такое.

Когда я вспоминаю те времена, и не жизнь впроголодь, и не грязь, и не теснота, и не двенадцатичасовой рабочий день, а вот это унижение трудящегося человека кажется мне самым тяжелым. Рабочий словно из милости держался на свете и чувствовал себя вещь в чужих руках. А ради чего жил тот же Гарелин? Перед германской войной он поместил в немецких банках восемнадцать миллионов рублей. Из-за войны деньги в Германии пропали, и Гарелин повесился — жизнь потеряла для него смысл.

Однажды за городом, у переезда через линию, мы встретили полицмейстера Кожеловского. Только что зашло солнце, место пу-стынное, и вот Кожеловский едет на дрожках, в мундире, застег-

нута до горла. Он один — с кучером; нас шесть человек. Мы остановились и близко посмотрели на него. Он глядел на нас в упор своими голыми, светлыми глазами. В них были и страх и ненависть. И я подумал: «Чем больше старайся в жизни, тем с большей ненавистью он будет смотреть на тебя! Уже тем самым ты мешаешь ему, что живешь и мыслишь!..»

...Когда мы вернулись на работу, Константин Иванович Стасов вовлек меня в партию. Размеров всей организации я тогда не знал. Встречались по-двое, по-трое во дворе, во время обеденного перерыва, в фабричной уборной. По праздникам уходили в лес или на речку с удочками, словно для рыбной ловли. Там, где-нибудь на лужайке, открывалось собрание.

Весеннюю стачку 1905 года многие предлагали приурочить к Первому Мая. Мы на фабрике возражали против этого. Только что прошла пасха, рабочие истратились. Если бастовать серьезно, нужно выждать дачки. Забастовку назначили на двенадцатое мая. Бакулинцы должны были вывести свою фабрику первыми, и мы вышли первыми.

3

С Фрунзе я встретился в первые дни забастовки. В его внешности не было ничего такого, что бросалось бы в глаза.

Среднего роста, в простой тужурке, в смазных сапогах, прическа бобриком. В нем чувствовалось что-то южное, но в движениях не было той торопливости, какую часто можно наблюдать у южан. Может быть только в глазах — повернет глаза и как будто весь за ними повернется. Когда он выступал, он не размахивал руками: засовывал большие пальцы под ремень, закладывал обе руки за спину, или держал правую руку около груди и пальцами отсчитывал такт речи.

Негромкий голос. Короткие руки, округлые движения. Всегда в чистой рубашке, очень аккуратный. Его квартирная хозяйка однажды увидела, что он вдевает нитку в иглолку.

— Чего это ты взялся? Давай зашью. — Он не стал с ней спорить и отдал рубашку. А когда ей, впоследствии, пришлось эту рубашку стирать, она заметила — он распорол ее шов и зашил по-своему, мелкими стежками, чтобы не так выделялся рубец и не морщило матерью.

Он курил, но в комнатах старался не дымить и умел подолгу обходиться без табаку. Иной раз забудешь кисет или выкуришь, раздашь весь табак, к ночи и просишь у того, у другого — завернуть, докурить. Иной раз так приспичит, что впору собирать на полу окурки. А Фрунзе останется без табаку и ни у кого не попросит. Разве кто догадается его угостить, но это бывало далеко не всегда. Цвет лица у него, что ли, был хорош, только люди, которых он не раз угощал табаком, вновь и вновь удивлялись, видя, как он свертывает папиросу: — Трифоньч, ты разве куришь?..

Первое время он показался мне застенчивым. Стоит на массовке в лесу где-нибудь сзади всех или сидит на сходке в уголке.

Вы, может быть, представляете себе сходки по образцу теперешних собраний? Но у нас еще не было привычки к общественной жизни. Выступая, — отвлекались; начинает человек об одном, смотришь — заехал куда-нибудь в сторону, и вот возникает спор из-за пустяков, не относящихся к делу. С места подают длинные реплики и уже совсем забыли, зачем собрались. Кончил говорить один и сел, начал другой, но тут первый вспоминал — не досказал всего, вскакивал с места и, перебивая следующего оратора, договаривал свое. Все выступают по нескольку раз, а Фрунзе — Трифонич, как его тогда называли, — ни слова.

В его внешности не было ничего примечательного, кроме взгляда. Взгляд мягкий, как у женщины или ребенка. Глаза серые, но кажутся темными. Взглянет на тебя и всего охватывает глазами.

Жуков поднялся со стула, приоткрыл дверь: — Аля! — Слышалось движение за стеной, там ходили. — Аля, ты можешь зайти к нам на минутку?..

Полная, голубоглазая, круглолицая, еще не старая женщина вошла в комнату. Мы поздоровались. — Аля, — сказал Жуков, — вот Расскажи, какое первое впечатление производил Михаил Васильевич?

Она улыбулась и словоохотливо начала: — Я ведь очень мало видела его — всего один раз. Слышала: Фрунзе, Фрунзе, а не имела никакого представления, что за Фрунзе? В пятом году я была ребенком, в семнадцатом году, до замужества, учительствовала в Серее. И вот — в двадцать первом году Александр Иванович говорит: «Сегодня у нас будет Фрунзе». Мы жили окнами на улицу во втором этаже, и вот оба стоим у окна — нам уже сообщили, что он едет, — стоим у окна и волнуемся. Выезжают из-за угла сани — на облучке сидит за кучера Артемий Петрович — старый подпольщик, хороший приятель мужа. А в санях низко, ровень с сугробами — там наверх и скамейки не было — одно сено подложено, сидит человек в бекеше, в серой папахе и улыбается. Простое, круглое красноармейское лицо и улыбается во всю ширь... Муж говорит: — Это Фрунзе! Но я уж сама догадалась и подумала: — Так вот он какой — Фрунзе!.. — Он был очень простой..

Я ждал, что она еще что-нибудь добавит, но она кончила свой рассказ и сидела, сама приготовившись слушать, сложив руки на груди.

— ..Когда Трифонич приехал к нам, — продолжал Жуков, — многие встретили его настороженно. Мы все знали друг друга с детства, а его никто не знал. И он был еще слишком молод. И потом... хотя, нет! — у нас не было настроений против интеллигентов. Наоборот — мы радовались, видя их в рабочем движении. Помню, руководитель нашей партийной группы, старый ткач — Афанасьев, по кличке «Отец», говорил: — Значит мы — рабочие — крупная сила, если образованные люди идут с нами! — Любой студент первого курса был для нас тогда больше, чем теперь академик. Ведь даже среди членов партии, среди руководителей забастовки были совсем безграмотные или почти безграмотные.

люди. Тогда, сплошь и рядом, случалось так: висит прокламация или объявление на стене, около объявления — солидный литейщик или подмастер, при жилетке, при цепочке, ждет, чтобы кто-нибудь подошел и прочитал ему, — сам он не умеет. Или на сходке подходит к тебе человек степенный, может быть, дедушка уже, подходит с газетой и просит, как слепой: «Будь другом, прочитай»... Понятно, как дорожили мы всяким развитым человеком.

Но не все студенты были одинаковы. У нас в организации работал в те годы студент — по кличке Никодим. В то время он держался очень революционно. Человек больших способностей — он хорошо знал Маркса. Я чувствовал себя в его присутствии глупым и думал: нам до него расти, расти, да так и не дорасти!

Он бывал у нас в доме, и мы все — и я, и отец, и мать, и сестры — радовались: к нам заходит запросто такой умный человек!.. И он не гордился у нас, шутил с моими сестрами. Но сблизиться с ним до конца не удавалось.

Помню, стал он рассказывать, как ходил в Кохму, провел собрание и в тот же день вернулся пешком, отмахал четырнадцать верст! Он подчеркивал — это ему ничто, никак на нем не отразилось! — Я от этого только здороваю! — сказал он, смеясь. Мускулы на ногах крепнут!..

Моя мать, почти всегда беременная, делала каждый день не меньше двадцати верст — на базар, на фабрику, дома около печки. Никодим, рассказывая, смотрел на мать, — и я подумал: неужели это он мать хочет удивить и разжалобить своим путешествием в Кохму.

Другой раз он должен был придти к обеду, и я с утра предупредил мать. Она отправилась на базар и купила мяса. Приходит Никодим, стали угощать его обедом. Сели за стол. Родители довольны — встречаем гостя прилично.

Подали мясо, открыли горшок, сразу запахло мясом по всему дому. У нас была собака, — и она бежит к столу, вертит хвостом, не знает от радости, на какую лапу встать.

— Какая славная собачонка... — говорит Никодим. — Как ее зовут? — Мы отвечаем: — Шарик... — Шарик, служи!.. — Берет со своей тарелки половину мяса и бросает собаке. Меня передернуло, отец потемнел, мать смотрит в окошко, дети притихли. И собака напугалась — убежала с мясом. Только Никодим ничего не замечает и зовет: — Шарик, Шарик!..

— Папа! — сказала Тамара: — Вам было жалко собаке кусочка мяса?..

Жуков посмотрел на дочь исподлобья.

— Нет, мои родители не были скаредами и не держали голодом животных. И если бы наша мать, приходя из магазинов, вынимала из сумки кило котлетного фарша, полсотни мандаринов и двадцать французских булок, — мы бы не заметили этого кусочка, брошенного собаке. Но мы видели булки через стекло, на главной улице, а мандаринов никогда не видали, даже на картинках. Нам не было жалко кусочка мяса, только мы не пробовали его неделю

три перед этим... Но я все отвлекаюсь и отвлекаюсь... — сказал Жуков с досадой.

Фрунзе понимал, чем дышит рабочий человек. Мы замечали — он жил впроголодь. Он получал жалование из партии — пятнадцать рублей в месяц, — не больше, чем ткачиха на фабрике, а в первое время, кажется, ничего не получал.

Помню, давая Трифону из партийных средств деньги на поездку в Шую, Афанасьев, выполнявший у нас должность казначея, потребовал три копейки сдачи. Фрунзе порылся в карманах и ничего не нашел. У Афанасьева своих денег тоже не оказалось. Старик не поленился сбегать в соседнюю мелочную лавочку, разменял там пятиалтынный и выдал Фрунзе сорок две копейки, ровно столько, сколько стоил билет до Шуи.

Приобрести что-нибудь для себя Трифону было не на что и некогда было заходить в определенное место на обед. Он жил неделю на одной квартире, три дня на другой, чтобы не навести на след полицию. Часто по дороге на массовку он вынимал из кармана кусок хлеба и на ходу ел.

Помню, пробыли мы на массовке в лесу до вечера, сильно проголодались, стали собирать грибы, разложили костер. Сбегали в соседнюю деревню, купили хлеба, попросили горсть соли, заняли ведро, чтобы сварить грибы на костре. Когда сварили — хватились: нет ложек. Фрунзе предложил смастерить ложки из березовой коры. Так и сделали. Трифон ест грибы и хвалит: — Очень вкусно! — А чего там вкусно: ни масла, ни луку — одни почерневшие подосиновики со ржаным хлебом.

Как только он входил, мать начинала собирать на стол. Трифон отнекивался: — Я только что позавтракал. — Где это ты успел? — спрашивает мать. — Тут... у одного товарища... — Может быть, самовар поставлю? — говорит мать. — Нет, я и чаю напился. — Может быть капустки поешь? — Она знала — он любил квашеную капусту. — Спасибо... — отвечает Трифон. — Ты сначала поешь, а потом скажешь спасибо!..

Входим вместе с Фрунзе к нам в дом, я прохожу вперед, он задерживается у крыльца. Вижу, что он не идет за мной, возвращаюсь и смотрю, как он оскребает сапоги о железную скобу, снимает щепкой грязь с подошв и каблуков и вытирает ноги о рогожу. Тут и мать выходит и говорит Трифону: — Да будет тебе, ведь не хоромы, все равно завтра пол станем мыть...

Вам приходилось, может быть, наблюдать, вот — входит в дом, где много народа, новый человек, и ничего он еще не сделал и всего два слова сказал, но вам уже легче дышать, и вы чувствуете симпатию и доверие к этому человеку. Доверие и к его улыбке, и к его вниманию, и к его нежеланию навязываться в мелочах. Таким был Трифон.

Однажды мы человек пять шли с массовки из леса. Хлынул дождь с грозой, и мы побежали, согнувшись, подняв борта тужурок. Видим — вдали под стогом лежит человек. — Наверное, пьяный... — решили мы и продолжали бежать. Фрунзе сказал: — Надо посмотреть, что с ним... — Да это пьяный! — настаивали товари-

щи. — Промочит его, он протрезвится и встанет... — Но Трифону свёрнул к стогу, и мы побежали за ним.

Мы приблизились к человеку, лежавшему на земле, и увидела, что глаза его закрыты, руки и ноги скрючены, как бы сведены судорогой. Он был теплым, но казался окоченевшим. — Я знаю его! — воскликнул один из наших. — Это Кузин, заварщик у Маракушева...

Расстегнув рубашку Кузина, приложив ухо к его груди, Фрунзе обрадовался. — Жив! — Он встал около него на колени, начал вытягивать ему руки и прижимать их к груди, вызывая искусственное дыхание. — Это не поможет... — сказал один из наших. — Его оглушило молнией. Надо завалить его землей. Руки и ноги завалить землей — и он отойдет... — Фрунзе посмотрел с сомнением, но мы подтвердили: — Это верно, так у нас делают всегда...

Мы оглядывались по сторонам — что предпринять? Под руками не только не было лопат, не было палок с собой.

— Давайте отнесем его к оврагу, — предложил Фрунзе. — Там глину можно нартыть руками...

Мы потащили Кузина к оврагу. Дождь хлестал не переставая. Вода просачивалась сквозь суконный картуз, заливала за шиворот, проникала под голенища сапог. В овраге мы разули Кузина, закатали ему рукава и стали быстро, чтобы и самим согреться, закладывать его мокрой глиной. Он очнулся.

Мы, молодежь, в те годы мало беседовали с родителями. Нам казалось — мы слишком далеко ушли от них вперед. Все разговоры с матерью были: — Да... — Нет!.. — Дай поесть... — Дай чистую рубаху... — Иногда, обращаясь к Трифону или Никодиму, мать начинала сокрушаться: — И зачем вы, такие молодые, образованные люди губите себя? Вам-то на что эти сходки, забастовки? Я, конфузясь за мать, резко обрывал ее: — Будет тебе, будет.

Однажды Фрунзе пришел к нам и не застал меня дома. Прихожу и вижу — сидит он и разговаривает с матерью. Она рассказывала, как выносила восемнадцать детей и как четырнадцать из них умерли маленькими. — Не приходится с ними заниматься... — жаловалась она. — Так и ходишь и работаешь до последней минуты. Случается, прямо в ткацкой и рожаешь, около станков. Принесут, подстелют рогожу. Отрожаешься, и на другой день опять на работу. Нажует хлеба, завернешь в марлю и оставишь ребенку вместо груди. Как же их тут сохранить?!

Она говорила по-старинному: вместо «до каких пор» — «докам». — Докам я буду с вами мучиться?! — кричала она на нас, когда мы были маленькими. Она не умела сказать — без четверти девять, — и когда ей говорили так, шла сама, смотрела на ходики и отмечала по-своему — девятого доходит пятнадцать минут. — Мне казалось, некоторые ее выражения непонятны Фрунзе.

— И все это давным-давно известно — как родятся и умирают дети... — с нетерпением думал я. Хотелось поскорее узнать — зачем он ко мне пришел. Но он слушал ее так, словно не ко мне, а к ней зашел по делу.

Случилось, он остался у нас ночевать, и они проговорили

с отцом до поздней ночи, пока не выгорела лампа. Отец все выкручивал и выкручивал фитиль, и Фрунзе, сохранивший больше спокойствия в споре, заметил: — Наверное там кончился керосин. — Стали ложиться спать, постелили Трифону на полу. И опять они с отцом, в темноте, вполголоса принялись спорить.

В 1905 году отец увлекся религиозными сектами, учением Льва Толстого. Он сочувствовал революционному движению, но без разбора, всем партиям сразу. Путаница в его взглядах казалась мне непроходимой. У нас в семье уже ничего не оставалось от старозаветной почтительности, когда родителям говорили — «Вы». Часто, послушав отца, я только махал рукой: — Чепуха! — Но во время его беседы с Фрунзе меня удивила сложность мыслей старика.

— Согласен, когда-нибудь кончится несправедливая власть! — рассуждал он. — Но как устранить зависть друг к другу, стремление отгородиться от людей? Вот я работаю сорок лет, стал подмастером, и люди тычут в меня пальцами — он подмастер. Иной раз думаешь — может быть я в самом деле хожу в чужой шкуре? Возьмите — у нас мастера никогда не поведут компанию с подмастером, ни за что не позовут его в гости. А рабочий — он смотрит на подмастера как на начальство! Возьмите наших фабрикантов — Гарелина, Бурылина, Маракужева, Никанора Дербенева. Откуда они? Ведь их деды землю ковыряли, сидели за ручным ткацким станком. И вот теперь им кланяются в пояс, а они проходят мимо и даже не смотрят на это...

Он говорил от всего сердца, но так сбивчиво, что я не мог представить, за что тут ухватиться, на что возражать? — Когда все будет общее — и фабрики, и банки, и железные дороги, и земля, — отвечал Трифону, — кто сможет дурно воспользоваться своим положением? Самые видные люди будут ответственны перед народом, как сейчас мастера, приказчики и бухгалтеры ответственны перед хозяином. Они будут выдвигаться не на собственности, не на богатстве, а на доверии народа. Пусть кто-нибудь загордится, перестанет заботиться об общем интересе и начнет думать лишь о себе, — его уберут, лишат доверия...

— ...Сейчас рабочий только по счастливому случаю может стать мастером. На одну черную невыгодную работу бросается по ста человек. Но если производить не для прибылей фабрикантов, а для себя, и для всех найти дело, и каждому человеку дать возможность занять любое место — не за четверть водки, не за низкий поклон, а по его действительным способностям, если сделать любое знание и положение доступным для всех, — из-за чего же людям останется завидовать друг другу?..

— Будет ли это когда-нибудь?.. — вздохнул отец, и меня рассердили сомнения старика. Но, сказать по правде, я сам ожидал такое будущее не раньше, чем через сто пятьдесят, двести лет борьбы, не рассчитывал увидеть его своими глазами.

Рассветало, а мы все не спали. Я босиком, в белье вышел в сад, чтобы напиться, открыл дверь во двор, смотрел, как блестят капли воды на траве, как всходит солнце и меняет освещение двора. Сту-

денное утро, но я так был разгорячен, что стоял босиком на крыльце и не чувствовал холода.

Мне казались неуместными, немножко даже смешными излияния родителей. Они жаловались и отдавали на суд свою жизнь, будто искали себе оправдания. — О чем и зачем говорить? — думал я. — Кому это интересно? Каждому человеку хватает своих собственных забот и неприятностей. — Но видя пристальное внимание Фрунзе, видя, какое облегчение испытывают старики, встретив, может быть, первый раз в жизни настоящего собеседника, я чувствовал как бы зависть к ним и все большую и большую потребность говорить о своем.

Мы познакомились короче, и я рассказал Трифону, как с одиннадцати лет пошел на работу, и о фабрике, и о безработице, и о своих первых разочарованиях. Казалось, его все интересовало, но сам он чрезвычайно мало рассказывал о себе. Того, что так обычно услышать от всякого человека: об интересных местах, где случалось побывать, о каком-нибудь страшном событии из прошлого, о боли в голове, о том, как сегодня спалось и не кусали ли клопы, — никогда ничего подобного я не слышал от Фрунзе. Лишь через тридцать три года после первого знакомства с ним я узнал из его биографии, что он собирал в детстве коллекции растений, получил в аттестате похвалу за способности к языкам и кончил гимназию с золотой медалью. Сам он об этом не упоминал ни словом, хотя не оставалось впечатления, что он умалчивает о чем-нибудь, не доверяется или скромничает и нарочно остается в тени. У него просто отсутствовала потребность вспоминать о том, что уже прошло. Весь он был в постоянном устремлении к тому, что будет дальше. Он был как натянутая струна. В обыкновенном разговоре с ним казалось невозможным допустить себя до болтовни и пустяков и, позевывая, молоть что-нибудь, лишь бы заполнить время. Едва встретишься с ним, — начинается беседа о самых основах жизни.

Но он был еще очень молод. Ему в ту пору едва исполнилось двадцать лет. Сама внимательность его, открытость и подвижность взгляда, его румяное и чистое лицо, с тонкой кожей, его острый интерес ко всем и ко всему, его вежливость и готовность радоваться и улыбаться — заставляли задумываться, как-то он привьется у нас?

Люди в те времена, наши ивановские, коренные люди, казались более угрюмыми и резкими, чем теперь. У нас были выдающиеся личности. Семен Балашов — человек сильной воли, никогда не терялся и не страшился крайних решений. Михаил Лакин — помнил наизусть десятки страниц из прочитанных им книг. Константин Иванович Стасов — знал фабричное оборудование лучше самих фабрикантов. Такие, как Лакин, Стасов, Балашов, командуют у нас теперь армиями, руководят предприятиями и кафедрами в институтах. А они, в те времена, значились в черных списках, ходили по чужой земле, мимо чужих заборов, квартальные надзиратели обращались к ним — «Ты!» и — «Эй, ты!» — и при любом недоразумении на фабрике их выбрасывали в первую очередь.

Чужие всему, они проходили мимо фабричных корпусов, где были вложены годы их трудов и сообразительности, и сторожа, с берданками на плечах, провожали их подозрительным взглядом. Вся жизнь их была откуплена за кусок хлеба и осталась за хозяйскими воротами. Что они могли дать своим детям? На что они могли рассчитывать в будущем для себя и для своих детей, если бы все так и оставалось неизменным? Чем развитее и энергичнее был человек, тем более суровый отпечаток оставляли на нем эти мысли.

4

Партия берегла Фрунзе, на открытых митингах он выступал редко. Но я замечал его то там, то здесь среди бастующих: он присматривался к людям, прислушивался к разговорам. Мне кажется — он сам многому учился в те дни, много получал для себя. Первое время его не слышно было даже на собраниях партийной группы. Трудно было предположить, что еще до конца мая он начнет играть решающую роль в движении.

Вы знаете из истории партии: мы остановили все предприятия города и многие фабрики в районе — бастовало семьдесят тысяч человек. Даже те рабочие, что жили по окрестным деревням, ежедневно приходили на Талку. На ее отлогих берегах собирались такие массы народа, каких никогда никто из нас не наблюдал. Что там ярмарка или крестный ход! Если глядеть на Талку издали — не верилось, что все это люди. Казалось — земля странно раскрашена на пространстве нескольких десятин. Подходишь ближе, и шум толпы кажется нечеловеческим, больше похоже на гул поезда или работающего цеха. Моя сестренка Тоня сказала, первый раз побывав на Талке: «Мама, я никогда не думала, что на свете есть столько людей!..»

Разбивались на группы, и в иных группах, в задних рядах, под ветром, еле слышно было оратора. Лишь редкие люди вначале решались выступать с речами; считалось, что для этого нужен особый талант, как для того, чтобы петь или играть на сцене. Круг в середине группы часто оставался без оратора. Передние переговаривались, не выходя из рядов, а задние слушали их, становясь на цыпочки.

Вдруг сотни и тысячи народа начинают тесниться, двигаться, бежать к возвышению. — там Михаил Лакин читает на память Некрасова: «...Выдь на Волгу, чей стон раздается над великою русской рекой?!» Кончил декламировать Лакин, и еще большая толпа грудится, стекается со всех сторон — Евлампий Дунаев влезает на бочку. Худое лицо, морщины, горящие глаза, линялая косоворотка, выцветший пиджак, картуз, настолько смятый, словно Дунаев носил его не на голове, а в кармане. И весь он — Дунаев, казалось, был изжеван жизнью. — Посмотрите, — говорил он, — вот бедная женщина жнет под солнцем, посадила ребенка на обочине дороги, а жена фабриканта едет мимо в коляске и улыбается...

А там — за скоплением народа вокруг Дунаева еще группа и е

центре ее — кучер Гарелина, в цилиндре, в жилетке с цепочкой и в тиковых кальсонах в красную полоску, кричит, размахивая руками: — Он вор! И я вор! И все воры!.. — Одни смеются, другие говорят: — Безобразие! Надо увести его, пусть проспится... — Еще группа людей, еще и еще, до самого взгорья и березовой рощи. Там семьи сидят и закусывают на примятой траве, там девушки поют хором: «Уж ты, зимушка, зима...» Торговцы подвозят в тележках четверти кваса, обмотанные ватным тряпьем, чтобы квас подольше оставался холодным. Продают семечки, леденцы, всюду в траве шелуха от семечек. Весь город в те дни был на Талке. На пустых улицах только какая-нибудь старуха порой пройдет с ведрами.

Бастовали все, бастовали дружно; штрейкбрехеры насчитывались редкими единицами. Помню, вышли мы, три человека, на рассвете в пикет и стали на перекрестке трех дорог, у Большой Дмитриевской мануфактуры. Теперь это фабрика имени Семена Балашова. Стоим, подрагивая спросонья; тихо, пусто, только сотни грачей начали кричать в рощице перед восходом солнца. Взошло солнце, осветило кирпичные стены, деревянные заборы, недымившие трубы. Осветились дороги, Уводь. Проехали подводы к Посаду, пошли-потянулись женщины с корзинами на рынок.

Но никто не шел на фабрики.

И вот видим — тащится старичок с клюкой, с чистым узелком к фабричным воротам, как будто несет гостинец или приготовился к похоронам. — Ты куда, дед? — Молчит. — Куда ты идешь? — На фабрику... — Чего тебе там делать? — Скучно без работы, не привык я... — Разве ты не знаешь, что все бастуют? — Как не знать... — Так что же ты? — Молчит.

— Хлеб у тебя, дедушка, есть? — Есть, — отвечает он и показывает узелок. Там лежит кусочек хлеба. — Зачем же ты идешь на фабрику, срываешь наше дело? Ведь это позор для рабочего — срывать стачку своих товарищей! — Да разве я против людей? — стал оправдываться старик. — Я во грех никого не хочу ввести. Я не почему-нибудь, просто я сирота, у меня никого нет. Скучно дома. Раз вы так говорите, я уйду, я не против людей... — Дай слово, что не пойдешь на фабрику, пока все не выйдут... — Старик перекрестился на солнце, и мы его отпустили. Простояли до полудня, никого больше не задержали и с хорошим настроением вернулись на Талку.

И вот снова приближается знакомый гул, рябит в глазах от красных рубах под жилетами, от ярких, сборчатых юбок и платков с цветами. Невозможно сосчитать людей, они двигаются, перемешиваются, роятся, переходят от группы к группе. Послушают одного оратора и идут дальше, боясь пропустить что-нибудь еще более интересное. Блестят глаза. Люди снимают картузы и потирают головы. Жарко. В тот год стояла необычно сухая, теплая весна, и старики говорили, полушутя, полусерьезно: «Сам бог за нас...».

Все дни с утра до вечера я проводил на Талке. Даже отца моего завертело в те дни. Он казался растерянным в толпе, точно попал в реку и река его понесла. Встречаешь его на Талке, и он, откинув голову, улыбается через круглые очки, как будто не сов-

сем тебя узнает, и кивает по сторонам — понимаешь, дескать, Сашка, что началось?! Поговоришь с ним, отойдешь и видишь — он тебя тут же начисто забыл.

На лужайке, на изгибе Талки, по утрам заседал совет рабочих депутатов. Заседали лёжа и сидя на траве. В совет обращались нуждающиеся за пособием. Одиночкам выдавали десять копеек, многосемейным — тридцать копеек в день. Чем дальше шла забастовка, тем многочисленнее становились просьбы о пособиях. Чаше всего пособия давали не деньгами, а ордерами на муку, крупу и сельди в лавку потребительского общества.

В совет приходили прачки, жаловались на тяжелый труд, дурное обращение хозяев, и совет давал им распоряжение — «Бастовать!». Владелец типографии являлся с просьбой — разрешить наборщикам и печатникам поработать еще два дня, чтобы закончить заказ на конторские книги. Он показывал книги всем членам совета и клялся: — Тут нет ничего, направленного против рабочих. — Совет выносил решение: — В просьбе владельца типографии отказать.

Отдельные хозяева подсылали в совет своих людей, соглашаясь удовлетворить требования бастующих на своей фабрике, лишь бы они немедленно встали на работу. В совете отвечали:

— Стачка будет длиться, пока все фабриканты, до последнего, не прекратят сопротивления. Лавочник из Хуторова приходил с жалобой — двое, назвавшись забастовщиками, забрали муки, пшена и ушли, не заплатив. В совете отвечали: — Это не забастовщики, а жулики... — и посылали на место уполномоченного для расследования.

К нам шли письма и денежные переводы со всех концов России. Нашу забастовку поддерживали, собирали деньги для нее и в Ярославле, и в Иркутске, и в Москве, и в Петербурге, и в Швейцарии, и в Америке. Однажды у нас в доме ночевал молодой товарищ из Германии. Он приехал приветствовать нас и привез нам денег. Вежливый, он все время улыбался и плохо говорил по-русски. Четко выговаривал только два слова «спасибо» и «здравствуйте». Ему все нравилось, он был в восторге и все хвалил, даже гречневые блины, которыми накормила его мать.

Полиция пока нас не трогала. Только изредка конные разъезды маячили вдалеке. Фабриканты один за другим бежали из города. Казалось, Иваново-Вознесенск остался в наших руках.

Но политический уровень рабочих в начале забастовки был очень невысок. Ведь даже в Петербурге, за пять месяцев до нашей стачки, тысячные толпы, с иконами, ходили к царю. Когда у нас в первые дни забастовки Никодим закончил свою речь призывом: — Долой самодержавие! — рабочие шарахнулись от него. Некоторые не понимали, что значит долой самодержавие, и соседи объяснили им: — Это значит — долой царя. — Послышались возгласы: — Мы власть не затрагиваем! Мы боремся только с хозяевами..

Сходки на Талке собирались с разрешения владимирского губернатора. И у многих рабочих, особенно у стариков, жила

наивная надежда, что вот так молчком, тишком, сторонкой, без столкновения с царским режимом, можно и впредь бороться с фабрикантами. — Мы люди маленькие... Мы люди темные... — Когда в совете обсуждались требования к фабрикантам, кое-кому даже восьмичасовой рабочий день показался слишком резким требованием.

И вот — погасли форсунки, остановились ткацкие станки и веретена, не выезжают подводы из ворот фабрик. Словно огромная семья, рассеянная по Рылихам и Завертяхам, собралась на Талке и удивилась тому, что она может сделать, и впервые увидела, как она велика.

В дни забастовки мы пошли демонстрацией к городской управе. Вся площадь перед управой заполнилась рабочими. Это была самая большая и благоустроенная площадь в городе, вымощенная булыжником. Перед окнами управы произносились речи.

На соседних улицах показались полицейские и казаки. Народ заволновался, крайние задвигались, но бежать было некуда. И вот сначала по одному, потом десятками, сотнями рабочие стали присаживаться на корточки. Наконец и вся толпа, поняв в чем дело, села на землю. А когда она поднялась — мостовая на площади исчезла. Все булыжники разобрали по рукам. Ораторы продолжали выступать, а казакам и полиции ничего не оставалось, как стоять смиренно и слушать их. На каждого «архангела» приходилось несколько десятков рабочих с камнями.

Совет создал милицию и сам установил порядок в городе. По улицам расхаживали рабочие патрули. В дни забастовки прекратились грабежи, азартные игры, кулачные бои и драки, чего веками не могла добиться полиция. Не видно было пьяных. Один хулиган разбил камнем стекло в частном доме. Мы провели его по улицам, поставили на бочку, на берегу Талки, и судили всем народом.

Крестьяне окрестных деревень, услышав, что в городе возникла новая власть, присылали ходочков в совет с просьбой разрешить вопрос о земле. Присылали прошения и жалобы на местное начальство.

Городской управе потребовалось срочно отпечатать бланки для канцелярии. Но как заставить типографщиков работать? И городская управа обратилась за разрешением в совет рабочих депутатов. В эти дни мы увидели наглядно — все, из чего складывается жизнь, все решительно находится в наших руках!

Люди вечером уходили с Талки не такими, какими приходили утром. За один день они узнавали здесь больше, чем за годы обычной жизни. Подтолкнуть бы их, дать ответ на их новые запросы, — но тут я, как и многие другие, чувствовал себя почти бессильным. Я оказался словно без языка. Подходит человек и просит прочесть газету, и я читаю ее, но не понимаю тех же выражений, что и он, и не могу пояснить почти ни одной мысли. В течение нескольких дней события, подготовленные нашими руками, выросли больше нас, и мы стали безгласными перед тысячами ожидавших людей. Я думал: — Какой же я член партии? Отец не дал мне закончить даже приходскую школу? — И когда Трифоныч, подбирая

новые кадры партийных агитаторов, предложил мне выступить, я ответил:

— Из этого ничего не выйдет...

И признался ему, как пробовал читать брошюру Маркса «К критике политической экономии». Едва я принимался за первые строки, все путалось в голове, охватывала полная безнадежность — я ничего не мог понять. Фрунзе стал меня упрекать: — Как же ты хочешь проглотить это с маху? Над каждой мыслью он трудился годами. Он работал с утра до ночи и прочитывал несколько толстых книг, чтобы взять из них два факта. Он положил всю жизнь, пожертвовал благополучием своей семьи, чтобы создать свое учение, а ты падаешь духом, что не можешь в пять минут, без всякой подготовки, его понять!.. — Трифоныч говорил это с упреком и стыдом за меня, как будто его лично задела моя глупость.

Разговор шел ночью, на скамейке перед нашим домом. Фрунзе спросил — как я понимаю забастовку? Как убедить массы в неизбежности политической борьбы? — Я наговорил много и сбивчиво, вроде отца, а рано утром Трифоныч принес листочек бумаги, мои мысли были записаны и дополнены в сжатой форме, и конспект понравился мне. Фрунзе говорил о моем выступлении, как о решенном деле. Я спросил: — Когда выступить? — Он ответил: — Сегодня...

Подходя в тот день к Талке, я не мог понять, что со мной творится. На фабрике я мало чего боялся. Я лез в любую дыру. Мог спокойно поговорить с двумя-тремя людьми. Но все плыло в моих глазах, когда я представлял, что вот сейчас буду выступать перед тысячами! Трифоныч советовал мне, по дороге на Талку: — Если боишься многолюдья, выбери среди слушателей одного человека и представь, что говоришь только с ним. — Но, начав говорить, я видел сразу всех. Я не мог вспомнить приготовленных слов и страшился, что не смогу свою речь закончить. Я не решался выйти в круг, говорил, стоя в ряду, и мне сразу закричали: — Громче!..

В детстве отец учил меня плавать. Отнес меня на озеро в глубокое место, где не достать дна, и отнял руки. Я отбивался от воды руками, ногами, плечами, головой. Отец кричал: — Плы-вешь! — а я не мог представить, как и почему плыву, и решил стать на ноги лишь когда грудью коснулся дна. Вот так я чувствовал себя в начале выступления. Меня удивило и обрадовало, что никто не смеется надо мной, не показывает на меня пальцами, не кричит: — Хватит! — Сильно успокоили меня знакомые лица с нашей фабрики.

Еще раньше, чем раздался одобрителный гул, я отдал себе отчет — люди меня понимают, им близко то, о чем я говорю. Были сотни знакомых и незнакомых — и вот через несколько минут они превратились в друзей! Вечером, в семье, уже знали и обсуждали мое выступление. Ночью я обдумал недостатки своей речи и наметил, казалось, все, что завтра надо будет досказать. Но на утро еще больше мыслей пришло на свежую голову, и я обдумал, с полотенцем в руках, не одну, а несколько речей. Захотелось сей-

час же, немедленно, пополнить свои знания. С того дня я читал по ночам, читал за обедом, и мать сердилась на меня: — Смотри, не пронеси ложку мимо рта...

К концу мая на Талке, на улицах, во всех местах скопления людей выступали десятки новых агитаторов. В своих воспоминаниях Фрунзе назвал нас «доморощенными ораторами». Ночью он писал для нас тезисы, а днем беседовал, с каждым по отдельности, и ходил слушать, как мы выступаем. Под влиянием Трифоньча быстро выростал Михаил Лакин. Лирическая натура, Лакин был природным оратором, он действовал на чувства. Когда он декламировал Некрасова, голос его дрожал. Лакин говорил:

— Мы целый день похоронены в душных цехах, а в это время расцветает природа и птицы распевают по лесам... — Это было сильно, доходчиво, но немножко наивно и начинало приедаться рабочим. И вот слышим — Лакин заговорил о бюрократической машине царизма, об утопическом и научном социализме, об устройстве будущего общества.

По утрам депутаты совета, агитаторы, члены партийной группы собирались в березовой роще, неподалеку от Талки. Там, лежа в траве и отмахиваясь от комаров, мы слушали докладчиков, сидевших на поваленном дереве или на пне. Шуришься от солнца и видишь, как птицы беспокоятся, глядя на нас, и перелетают с дерева на дерево.

Вот собрание расселось и устроилось, и Фрунзе, сняв картуз, начинает говорить. Двигаются тени деревьев по людям, сидящим и полулежащим на поляне, и доносится гул с Талки — там начинает сходить народ.

— Почему были разбиты движения Разина и Пугачова?... — говорил Трифоньч. — Может быть, только через десять лет после разгрома Пугачова слух о нем дошел с Урала до украинских степей. Кто откликнулся бы сто лет назад на стачку ручных ткачей в каком-нибудь селе? Кого она могла бы сдвинуть с места?

А теперь в один день тысячи забастовщиков перевернули город, и в тот же день телеграф разнес известие об их стачке по всему свету. Во всей стране, во всем мире нашлись единомышленники и друзья иваново-вознесенских рабочих. У нас есть партия, какой не имела ни одна революция прошлого, партия организует и направляет миллионы людей. Она позаботится о том, чтобы на вашей стачке движение не остановилось...

25 мая собрание рабочих на Талке приняло предложенный партийной группой призыв ко всем рабочим России — начать всеобщее единовременное восстание.

Власти забеспокоились. В полицейских донесениях говорилось. — Надо закрыть университет на Талке... — Владимирский губернатор приказом запретил наши собрания. Но они были не только университетом, они стали нашей жизнью. Несмотря на запрет, тысячи людей продолжали приходиться с утра на Талку.

Третьего июня полицмейстер Кожеловский выслал на Талку отряд астраханских казаков. Они подъехали к огромной, безоруж-

ной толпе. Все, кто были в ней, — сели на землю. Драться не хотим, но с места не сдвинемся...

Казачи начали наезжать на сидящих. Передние вскочили на ноги. Казачи стали стрелять в ноги и сечь нагайками. Все бросились к лесу. Казачи поскакали следом, горяча лошадей и заставляя их перепрыгивать через упавших. Людей травили, как зайцев, сшибали лошадьми, секли, а в руках у бегущих не было даже камней или палок. Лишь когда добирались до железнодорожного полотна, хватили пригоршни песку и, оборачиваясь, швыряли его в лица всадникам и в морды лошадям. Сотни людей были избиты и искалечены в тот день.

И в этот момент в совете нашлись голоса, предлагавшие просить губернатора о снятии запрета. Просить его снова разрешить собираться на Талке.

— У вас в руках настоящая власть, какой не было ни у одного царя, ни у одного завоевателя, а вы хотите просить, — упрекнул их Трифонович на заседании совета. Он говорил с красными пятнами на щеках: — Хватило силы остановить все фабрики, вывести тысячи людей? И достаточно силы, чтобы не просить, а, от кого угодно, потребовать ответа за пролитую кровь товарищей, за слезы женщин и детей!..

Совет и общее собрание рабочих приняли телеграмму губернатору, составленную Фрунзе. В ней была прямая угроза — перенести борьбу на улицы города. Телеграмма заканчивалась требованием немедленного ответа. Впервые в жизни иваново-вознесенские рабочие заговорили с царскими чиновниками тоном приказа.

5

Губернатор отменил свой запрет. Полицмейстера Кожеловского убрали, он исчез навсегда из Иваново-Вознесенска. Мы продолжали бастовать, продолжали собираться на Талке.

После стачки резко изменились отношения на фабриках. Если раньше хозяева и управляющие вызывали кого им надо свистом или криком «эй!» и не замечали поясных поклонов, то теперь рабочие отнюдь не спешили — как у нас выражаются — «кувырнуться» перед ними. Самые важные господа торопились пройти поскорее мимо скопления рабочих. Иные заигрывали с рабочими, заходили в курилки, заговаривали с нами.

Я уже упоминал о том, что в дни стачки у нас в городе кончились кулачные бои. Они кончились навсегда, именно в мае 1905 года отошли в область истории. Люди стали другими.

Началась забастовка по всей России, останавливались электростанции, шахты, замерли железные дороги, прекратили работу почта и телеграф. Правительственные учреждения потеряли связь с соседними городами. Срочные донесения лежали в ящиках. Останавливались и те фабрики, где обманом или запугиваниями не позволяли бастовать, прекратился подвоз сырья. Богатые чиновные дамы с муфтами, в шляпах, величиною с колесо, бегали к

начальникам станций, с круглыми глазами, со слезами в голосе: — Что мне делать? Мне надо ехать!.. — И начальники станций отвечали: — А чем я могу помочь вам, сударыня? Я не бог!..

Ток перестал идти по проводам, и богачи сидели в своих особняках, задернув шторы, при свете стеариновых свечей. Товары на эстакадах лежали, накрытые брезентами, подпревало зерно в мешках. Начались крахи на биржах. Мы видели — прекратить их одевать и кормить, перестать таскать для них тяжести, не согревать их квартир, и все эти «великие мира сего» превратятся в пыль, в одичавших волков!

Царское правительство, растерявшись, выпустило октябрьский манифест о свободах. Мы не только увидели впервые, как творится история, мы сами начали делать ее. Самые отсталые рабочие понимали — царь струсил перед нами подобно нашим фабрикантам и владимирскому губернатору. Нажмешь на них, и — они подаются!..

На митинге, на городской площади, Фрунзе говорил: — Манифест — это маневр царской власти!.. — На площади собралась демонстрация черносотенцев с белыми бантами, с иконами и царскими портретами... Трифоныч несколько раз в течение своей речи показывал на них. Но большинство из нас видело только одно — нас много больше! Огромная демонстрация рабочих с красными знаменами двинулась к тюрьме на Ямах — освобождать политических заключенных.

В первом ряду шли плечом к плечу, взявшись под руки. Крайние по бокам держались за руки. Колонна шла, окруженная живой цепью. На улицах не оставалось ни одного зрителя. Одни присоединялись к демонстрации, другие разбежались по домам.

Мы подошли к ямской тюрьме и потребовали выдачи политических заключенных. Ворота тюрьмы распахнулись. С винтовками наперевес на нас двинулась незнакомая нам воинская часть.

Это было неожиданностью для всех, но, помню, не вызвало чувства страха. Было странное состояние — перед тобой дула и штыки, но нет мысли, что тебя могут убить. Многие порывались с голыми руками броситься на солдат. Трифоныч уговорил отступить. Сохраняя тот же порядок, с песнями, с красными знаменами, мы двинулись на Талку провести там митинг.

Хотелось хоть чем-нибудь отметить этот день. Старик Афанасьев шел в первых рядах с молодежью и пел; ветер закладывал ему на плечи его черную седеющую бороду.

Отряд казаков и банда черносотенцев с разных сторон приближались к нам. Завязалась драка. Казаки рубили саблями древки знамен, хлестали нас чагайками, стараясь попасть по головам. Скрученные из тонких кожаных ремешков с проволокой, нагайки рассекали пальто, одежду и оставляли раны на теле. Демонстрация рассыпалась. Небольшой группой, человек в полтора, во главе с Афанасьевым и Фрунзе, мы прорвались к Талке.

Со стороны вокзала двигались новые отряды полиции и казаков и огромная черносотенная банда, с портретами царя. Многие черносотенцы были пьяны. Пели — «Боже, царя храни...», выкрикивали

матерные ругательства. Избегая столкновения, мы перешли на другой берег Талки, один за другим, по слегам, хлюпающим в воде.

Далеко в разбросанных, окраинных домах дымили трубы. Еле слышно лаяли собаки. Мы были отрезаны от города. Остановившись на другом берегу Талки, черносотенцы закричали: — Высылайте людей для переговоров!.. — Трифоныч предупреждал: — Никому не надо выходить! Это провокация!.. — Но Афанасьев пошел к мостику. Трудно теперь судить, какая цель и надежда толкнули его. Он перешел мостик через Талку, как бы считая себя неприкосновенным после царского манифеста. От черносотенной банды отделилась кучка людей. Они бросились на «Отца». Били его ногами, кулаками, ножами шашек, рукоятками револьверов. Мы стояли, малочисленные, безоружные, и слышали стон Афанасьева. Фрунзе очень волновался и, побледнев, сказал: — Этого мы не простим!

Некоторые двинулись к мосту, но Трифоныч остановил их. Неподвижное тело Афанасьева лежало на берегу. Убийцы стали уходить, оглядываясь с досадой, что не удалось всех нас спровоцировать на неравную свалку. «Отец» застонал и попробовал ползти в нашу сторону к реке. Он был еще жив. Враги вернулись и добились Афанасьева.

В этот момент один из нашей группы, Лебедев, оказавшийся впоследствии провокатором, вынул револьвер, направил его в черносотенцев, нажал курок, но получилась осечка. Фрунзе, схватив Лебедева за руку, воскликнул: — Что ты делаешь! — и отнял у него револьвер.

— Этого дня, — повторил Трифоныч, — мы себе никогда не простим!..

В городе начались погромы. Черная сотня разбила аптеку напротив теперешнего Нового театра. Весь склон нынешней Социалистической улицы был засыпан рецептами и пузырьками. Разрушили кузницу в том месте, где теперь цирк, и убили еврея кузнеца. Убили рабочего, проходившего по улице и не снявшего фуражки перед царским портретом. Начались облавы и избиения на фабриках.

Однажды утром я заметил — Стасов сильно не в духе и спросил его: — Что с тобой, Константин Иванович? — Он ответил: — Так что-то, Саша... Тяжело на сердце... — В обеденный перерыв главные ворота закрыли, и около них встала полиция. Я сказал об этом Константину Ивановичу, он только махнул рукой. Я побежал к задней калитке за прядильным корпусом — она также была замкнута. Я поднялся на забор — вдоль забора с наружной стороны ездили казаки.

Ловушка! — понял я. — Куда теперь? — В подвал? В котельную?.. — Я бросился предупредить Стасова. Около ткацкой меня остановили шесть человек с царским портретом и закричали: — Целуй, сукин сын!..

Очнулся я к вечеру, в больнице чернорабочих. На улице шумели погромщики и требовали, чтобы их пустили добить нас. Врачи в дверях заслоняли дорогу и говорили: «Здесь нет революционе-

ров — тут только больные и умирающие люди...». В больнице я узнал, что Стасова сбросили с четвертого этажа в пролет лестницы. Его втащили на четвертый этаж, он отбивался, его оглушили. Но все-таки он сохранил сознание и хватался за перила на четвертом и третьем этажах, падая вниз. На железных перилах остались кровь и кожа с его ладоней...

Трифоныч ночевал у нас, и отец стал говорить о погромах. — Как это случилось? — сокрушался старик. — Кто в этом виноват? — Фрунзе резко ответил: — Виноваты — мы сами!..

В те дни товарищ Сталин говорил: — Что нужно нам, чтобы действительно победить? Для этого нужны три вещи: первое — вооружение, второе — вооружение, третье — еще и еще раз вооружение... — Что было у нас, у иваново-вознесенских рабочих, против револьверов, винтовок и сабель полиции? Палки, обвитые ремешками, с гайками на концах, кинжалы, сделанные из обломков плотницких пил. Было несколько револьверов системы «Лефоше». Если стрелять из этого револьвера за двадцать шагов в человека, одетого в пальто на ватной подкладке, — пуля пробивала только материю и проваливалась в подкладку.

Фрунзе ненавидел эти «Лефоше» и называл их «орудиями самоубийства». Помню, один рабочий, с огромным трудом, раздобыл себе «Лефоше». Сначала он выменял балалайку на кинжал, потом кинжал выменял с доплатой на револьвер и пришел к Трифонычу похвастаться своим приобретением. Но едва Трифоныч увидел «Лефоше», он отнял его и забросил подальше в кусты.

Организовав первую боевую дружину, Фрунзе наладил подвоз «Винчестеров» и «Смит-Вессонов». В доме Иванова, на Ямах, открыли первый чемодан с оружием. Оказалось: почти никто из нас не умел стрелять. В овраге, у Хуторова, за теперешним Парком культуры и отдыха, Трифонычу пришлось учить нас не только целиться и заряжать; своими руками он располагал наши пальцы на рукоятках револьверов, показывая, как надо их держать в руках. На расстоянии ста шагов он сажал из маузера пулю в пулю. Он поднимал левую руку, согнув ее в локте, клал на нее маузер, тщательно целился.

Он не выносил небрежного отношения к оружию. Заметив зазубрины на рукоятке револьвера у одного из дружинников, он с негодованием спросил: — Что ты им делал — гвозди забивал?

Мы засмеялись, и дружинник попробовал улыбнуться: — Только один гвоздь... — ответил он. Но у нас сразу стали серьезными лица, когда мы увидели, как принял это Фрунзе. Нам казалось — он ударит сейчас виноватого револьвером. Он вернул револьвер дружиннику и упрекнул его: — Разве ты не знаешь, как нам достается оружие?..

Один чемодан оружия нам привезла Оля Генкина. Фрунзе знал ее по Петербургу и как опытную техничку пригласил в Иваново-Вознесенск. Двадцатилетняя девушка, с большими строгими глазами, с толстыми косами, уложенными под черную шляпку, Оля Генкина только что вышла из тюрьмы. Доставив нам транспорт оружия по железной дороге, она вечером пришла с вокзала на Ямы ча

конспиративную квартиру, по непролазной грязи, насквозь промокшая, и попросила кого-нибудь помочь ей принести чемодан из камеры хранения. Пока мы совещались, кому пойти, Генкина заснула, сидя за столом и положив голову на руки.

Решили, что с ней пойдет Князева — хозяйка квартиры: две женщины вызовут меньше подозрений. Генкина спала. Мы не хотели ее будить, но через несколько минут она сама проснулась и сказала: — Пойдемте...

Князева вернулась через час. Мы ждали, что они войдут вдвоем с чемоданом, но она пришла одна с пустыми руками, не отвечая на наши вопросы, опустила на лавку. У нее дрожали губы. — Что случилось? — встревожились мы. Она заплакала.

Что же случилось? Она не пошла с Генкиной на вокзал и осталась ждать у входа, в тени. Оля долго не появлялась. Потом Князева услышала крики в помещении вокзала.

С десяток людей — некоторые в фартуках — с воплями, с похабными ругательствами вытащили Генкину из здания вокзала. Она не кричала, она была уже без сознания или мертва. Все, что могла заметить Князева в слабом привокзальном освещении, — это то, что Генкина была без шляпы, в разорванном платье. Черносотенцы бросили Олю в грязь и стали топтать ее ногами.

Трифоныч попал в руки казаков. Ночью он шел с массовой через лес фабрикантов Витовых. Казачий разъезд окружил его так внезапно, что он не успел забросить подальше револьвер и партийные документы. Казаки зажгли факел, пошли по звуку броска, подняли под сосной его бумаги и рассвирепели, увидев револьвер. Они накинули на шею Фрунзе аркан и посакали верхом.

Чтобы не задохнуться, ему пришлось бежать за ними, обеими руками держась за веревку. По дороге он вывихнул ногу, упал, потерял сознание, и его на аркане волокли по земле. В полицейском участке его били.

Через несколько дней под конвоем его выслали в Казань. Там он разыскал комитет партии, установил с ним связь, достал литературы и выехал к нам обратно. Он вернулся раньше конвоя, проводжавшего его в Казань.

Его партийная кличка — Трифоныч провалилась, и он начал работать как «Арсений». У него появилась новая примета — вывихнутая голень. Иногда нога подвергивалась на ходу, и он рукой устанавливал коленную чашку на место.

Когда началась стачка в Шуе и правительство стало стягивать туда войска, Северный комитет большевиков направил в Шую Фрунзе. Мне несколько раз приходилось ездить в Шую с поручениями к Арсению, за патронами и бомбами для Иваново-Вознесенских боевых дружин.

До приезда Фрунзе рабочие Шуи ковали пики для борьбы с казаками, но он пики забраковал и создал в Шуе строго закон-

спиритованное производство патронов и бомб. В химической лаборатории одной из фабрик рабочие тайком делали порох и в другой лаборатории при земской больнице испытывали взрывчатую силу этого пороха. В маленькой секретной мастерской нарезались из газовых труб оболочки для бомб, и на токарном станке вытачивались втулки к ним. Затем оболочки бомб стали отливать на литейном заводе. Капсулы для бомб изготовлялись в центре города, в часовой мастерской под вывеской: «Поставщик двора его императорского величества Павел Буре».

Фрунзе изрядно пришлось поработать над расчетами: какой длины должен быть бикфордов шнур, чтобы бомбы взрывались через двадцать пять секунд после броска? Когда за городом швырнули первую бомбу в казачий разъезд, она разорвалась с сильным грохотом, и от нее поднялся черный дым. Казаки, прискакав в город, доложили, что дружинники их «закидали бомбами».

Первые пули, сделанные в Шую, были неправильно зацентрированы и летели кувырком. В одной из стычек такая пуля плашмя попала в голову казака, и у него треснул череп. Среди казаков прошел слух: — Дружинники стреляют разрывными пулями!.. — Постепенно совершенствуя отделку, шуйские слесаря добились правильного полета пуль. Производство патронов развернулось в достаточном масштабе, чтобы снабжать ими и Шую и Иваново-Вознесенск.

Арсений жил за речкой, в доме Екатерины Ивановны Закорюкиной, спал на сундуке, приходил в дом и уходил из него задом, через огороды. Первый раз по дороге в Шую я старался угадать, каким-то встречу его после трех недель разлуки, что нового он скажет, что нового появилось в нем? Он стал увереннее и мягче, веселее.

В доме Закорюкиной было по-семейному уютно. Хозяйка, пожилая ткачиха, знала, что многим рискует, давая приют непрописанному подпольщику, допуская сходки в своем сарае. Но она без упреков шла на этот риск. В доме было чисто, раздавался голосок Ньюши, — трехлетней внучки хозяйки; тикали ходики, скрипел сверчок. Пахло опарой, душистой геранью и творогом. Шуришащие связки лука висели в сенях.

В том же доме квартировал и Павел Гусев. Вот приходят они проголодавшиеся, садятся за стол.

— Чем вас кормить? — спрашивает хозяйка.

— Все, что в печи, все на стол мечи, — шутит Павел, берет ломь хлеба и начинает его есть, не дожидаясь обеда. Хозяйка тащит кислые щи, «куженьки» — ватрушки из пресного, ржаного теста, вареную картошку с огурцами.

— А где Ньюша? — спрашивает Фрунзе.

— Да полно, Арсений, неужели она тебе еще не надоела?..

Но он без этой девочки не принимался за еду. Разыскивал ее, сажал к себе на колени, она ела с ним из одной тарелки. И Ньюша, долго не видя Арсения, начинала беспокоиться, искать его по всему дому.

Вот она находит его в сарае, с людьми, в разгар серьезного

разговора, подбегает к нему, и он берет ее на руки. Но ей скучно сидеть, когда на нее не обращают внимания. Она вертится на коленях Фрунзе, слезает на землю и начинает играть с ним. Она прячется за дрова, притворяясь, что стесняется и боится Арсения, выбегает за дверь, выглядывает из-за нее, хохочет, дразня Арсения, и наконец с разбега бросается ему на шею.

В этом доме мечтали о будущем, декламировали стихи, пели хором. У Фрунзе был плохой голос, но он любил петь и слушать пение. Сюда заходили партийные агитаторы, дружинники, и Арсений в сарайчике читал им лекции, делал доклады. Некоторые оставались ночевать, устраивались на полатах и на полу. Думающий, веселый, хороший народ!

— Что будет дальше? — в темноте, когда уже привернули лампу, допытывается молодой дружинник. — Свалим царя, а что будет дальше?..

— Потом уничтожим буржуазию.

— А дальше?

— А дальше не будет нужды, безработицы, кончатся наши мучения, все сделаются образованными...

— А потом?..

— Этому разговору нет конца, — смеется Павел Гусев. — Это как о происхождении человека. — От кого он произошел? — От обезьяны. — А обезьяна от кого? — От ящерицы... — А ящерица от кого?.. Пусть люди станут, по-настоящему, свободными, они сами найдут что делать дальше...

— Я думаю так, — говорит голос с полатей. — Я думаю, в конце концов, люди будут дружными, как мы сейчас...

— Правильно! Вот это правильно!..

Так же, как в Иваново-Вознесенске, Фрунзе воспитывал в Шуе новые кадры агитаторов и пропагандистов. Присматривался к людям, разговаривал с каждым, выяснял, что его интересует, какие у него личные особенности. И применительно к этому человеку, к его опыту жизни, к его складу мышления составлял для него конспект.

Изучив конспект, начинающий оратор, сперва перед одним Арсением в сарае, среди дров и веревок, произносил свою первую речь. Арсений поправлял его и старался присутствовать при открытом выступлении своего ученика. Еще говорил с ним, с глаза на глаз, указывая, что удачно и что неудачно было в его речи, давал ему литературу, советовал, какие еще книги достать — Бебеля, Лафарга, Толстого, Гоголя, Глеба Успенского.

Он от всего сердца радовался людям, их способностям и успехам. Он вписывал в конспекты для других свои мысли и выражения и, стоя где-нибудь в сторонке, с улыбкой отмечал одобрения по адресу оратора, сияя от удовольствия, поздравлял его и всем рассказывал, какая это была удачная речь. Он умел поднять людей в их собственных глазах, открывал в них достоинства и таланты, о которых они сами не подозревали. Рядом с ним мы чувствовали себя и лучше, и умнее, и на многое способными.

У Павла Гусева был природный недостаток — он слегка заикал-

ся. — Хорошего оратора из меня не выйдет, — сказал он Арсению, и тот возмутился: — Какая ерунда! В древности был совсем косноязычный человек Демосфен, ему нужно было обратиться к народу, и вот он начал каждый день упражняться, набирал камешки в рот и так говорил, уходил на берег моря, в бурю, и старался перекричать море; упражнялся упорно, и в конце концов стал лучшим оратором Греции... — Это приободрило Гусева, он начал чаще выступать, и ребята, потихоньку, чтобы не услышал Арсений, подшучивали над Павлом: — Наш Демосфен...

Едва входил при мне кто-нибудь из тех, кого ценил Фрунзе, как лицо его смягчалось, он старался вовлечь в общий разговор незнакомых мне товарищей, дать им высказаться и проявить себя и, улыбаясь, поглядывал на меня: — Видишь, какой народ в Шуе...

Он помнил сотни иваново-вознесенцев, их партийные клички, их характерные особенности и отдельные слова и, если неделю-две не был в Иваново-Вознесенске, спрашивал меня чуть ли не о каждом человеке. Я давал ему отчет и начинал уставать, у меня шумело в голове от огромного количества подробностей, а он задавал и задавал новые вопросы, пока не вытягивал из меня всего, что я только был способен запомнить. И тут же он говорил с другим человеком расспрашивал его до мелочей, проводил беседу в сарае и, ложась спать, начинал разговор, занимавший всех до поздней ночи.

Ни одной минуты он не мог оставаться без дела. Если со всеми он уже переговорил, всем дал задания и все ушли, он брался за книгу или копал картошку на огороде, щепал лучину для самовара, обтесывал топориче хозяйке. Едва он входил к людям, так же, как и в Иваново-Вознесенске, все начинало двигаться около него. Он умел давать маленькое партийное поручение так, как если бы оно было самым главным делом на свете и от него зависело все... В то, что он говорил, он вкладывал себя целиком.

Он говорил на массовке: — Женщина-ткачиха несет три ярма. Вместе с мужчиной она работает на фабрике, делает все по дому и одного за другим рождает детей, а капитализм — одного за другим убивает их... — Слышно было по голосу, по каким-то ударениям, которых не подберешь нарочно, что ему и самому обидно и тяжело. Слушая его, я невольно вспоминал, как мы с отцом, безработные, жили на материнский заработок и, садясь за стол, вертя ложками, ждали, пока она нарежет хлеба, вынет чугунок из печи и нальет нам щей в миску. Слушая его, сотни людей стояли на ногах по два и по три часа, женщины вытирали щеки, и когда он кончал говорить, многие не расходились и ждали — может быть он скажет еще что-нибудь?..

Он ненавидел мелочность, неискренность, расхлябанность и слабодушие в людях, жестокость к детям, нетоварищеское отношение к женщине и создал в шуйской партийной группе, в боевой дружине атмосферу строгости, постоянной приподнятости духа, моральной чистоты.

Иногда после сходки в каком-нибудь доме многие оставались ночевать, особенно осенью, на окраинах, где ветрено, темно и

непролазная грязь. Стелились на полу и девушки и молодые люди, почти рядом — ведь места мало, не разгуляешься — спали чуть не вповалку. И никогда не случалось недоразумений, не услышишь скользкой шутки, не заметишь нескромного взгляда.

Не поймите меня превратно — это были не аскеты! Это была самая простая, веселая, здоровая молодежь, в обычной жизни любившая и выпить, и погулять, и поухаживать за девушками. Попадались и грубоватые люди. Но ведь тут были не будни, каждый мерял себя не обычной меркой, тут была партия, подготовка к боям, великое будущее.

В декабре 1905 года с лучшими дружинниками Шуи Фрунзе поехал на помощь московскому вооруженному восстанию. Отбирая людей для этой поездки, он отставил одного храброго дружинника, и когда тот обиделся: — Почему?.. — Арсений ответил:

— Товарищи тебя видели пьяным...

Дружинник стал клясться, что этого не повторится никогда, тем более в Москве. Фрунзе подумал и сказал.

— Нет, сейчас мы тебя все-таки не возьмем...

Дружинник заплакал. В буквальном смысле слова заплакал со слезами, и на собрании раздались голоса:

— Может быть, парень исправится?..

— Я верю, что он исправится, — сказал Фрунзе. — И вот, когда он исправится и докажет нам это, — он будет участвовать с нами во всех решающих боях.

Боевые дружины, созданные и вооруженные Арсением, стали такой силой, что казаки и полицейские с наступлением сумерек боялись выезжать за черту города. В 1906 году, узнав, что черносотенцы собираются повторить погром в Иваново-Вознесенске, Фрунзе стянул в Иваново-Вознесенск боевые дружины, и погромщики не посмели выйти на улицу. В Кохме в 1906 году партийная группа вывела на маевку в лес несколько тысяч рабочих с семьями, и когда показались казаки, участники митинга не дрогнули, не побежали; дружинники дали в воздух залп из револьверов. Казаки повернули лошадей и ускакали. Когда понадобилось срочно отпечатать листовки о выборах в Государственную думу, Арсений захватил в Шуе типографию Лимонова, арестовал хозяина, расставил дружинников, вооруженных и в полумасках, у телефона, у входов в типографию, и через несколько часов три тысячи листовок были разосланы по фабрикам.

Прошел слух, что в донских казачьих частях в Шуе есть любящиеся люди. Фрунзе решил — лучше всего пойти к казакам ему самому. Его отговаривали, предостерегали — почти никто не верил в успех.

Надо представить себе обстановку того времени, вспомнить, как вели себя казачьи части на Талке, в облавах, при разгроме демонстраций, при аресте Фрунзе. У каждого из нас остались рубцы от нагаек. Фрунзе не только вывихнули ногу, — когда его били в участке поленом, ему вышибли несколько зубов. Само слово — «Казаки!» — звучало в наших ушах, как «Пожар!»

Но Арсений решил: — Я пойду... — Наладил связь с казаками и

и пригласил их на сходку в самой дальней окраине Шуи—на еврейском кладбище. Наши проследили за казаками, увидели, что они пробираются на кладбище поодиночке, стараясь быть незаметными, и это слегка успокоило шуйских товарищей. Но на всякий случай несколько дружинников с бомбами и револьверами дежурили неподалеку, прислушиваясь к каждому шороху.

Арсений вернулся с кладбища целый и невредимый. Продолжая собирать казаков в разных местах, он привлек на нашу сторону и рядовых и сотника Воротынцева. Несколько раз Воротынцев предупреждал партийную группу о секретных приказах полиции. Казачья сотня, под командой Воротынцева, по просьбе рабочих, избила и разогнала черносотенную демонстрацию в Шуе. Только после этого власти спохватились и вывели всю сотню из города.

Когда Фрунзе убеждал кого-нибудь в чем-нибудь, он словно брал за руку и вел за собой. Даже людям, далеким от политики, начинало казаться, что все, связывающее их, — и триста лет дома Романовых, и годы устойчивых привычек, и страхи родителей — все пустяки, а единственно обязательное и нужное — это то, что говорит Арсений. Все в нем дышало уверенностью борца, знавшего, что будет завтра и как надо жить. Он с первого взгляда внушал доверие к себе; человек с таким лицом, как у него, казалось, ничего не может забыть и не откажется от своих слов и через двадцать и через сорок лет.

В то время каждую минуту любого из нас, особенно Арсения, могли арестовать. Часто с утра невозможно было сказать — в каком доме, даже в каком городе придется сегодня ночевать. И все-таки Фрунзе строил свои планы на месяцы вперед. Весной 1906 года он обещал мне книгу Бебеля — «Женщина и социализм». У нас нигде ее нельзя было достать, и он сказал, что попросит в письме прислать ее из Петербурга.

— В мае, — сказал он, — ты ее получишь...

В апреле Фрунзе поехал нашим делегатом на четвертый съезд партии в Стокгольм. Он отсутствовал больше месяца. Ему приходилось, убегая от слежки, прыгивать на ходу поездов, дважды нелегально переходить границу. Морское путешествие в Швецию, разнообразные заграничные впечатления, наконец, самый съезд, где впервые в жизни Фрунзе увидел Ленина и Сталина. Когда Арсений вернулся со съезда, он, казалось, даже физически переменялся — вытянулся и возмужал. Он передал нам решения по аграрному вопросу, об отношении к Государственной думе и отдельные слова вождей революции. Мы смеялись, когда он в лицах рассказывал нам о спорах с меньшевиками. Даже когда Фрунзе говорил: — Ленин крепко ругал нас за то, что мы мало работали с крестьянством... — даже в этих словах слышалась счастливая гордость человека, встретившего Ленина.

Съезд был огромным событием и в его жизни и в жизни каждого из нас. Я не решился напомнить Фрунзе о книге, хотя шел уже конец мая. Слушая его, я и сам забыл о ней. И вот, в пылу рассказов о съезде Арсений передал мне свернутую в трубочку

брошюру без переплета — это была книга Бебеля «Женщина и социализм».

Я не встречал человека более подвижного, чем Фрунзе. Он всегда оказывался в наиболее опасных и важных местах, там, где решалась судьба движения. Он вел работу одновременно в Шуе, в Иваново-Вознесенске, в Кохме, в Тейкове, в Родниках, жил от поезда до поезда, ходил пешком по тридцати и по сорока верст в день, ночевал в подвалах, на сеновалах, иногда, спасаясь от полиции, убегал через окна и задние дворы, но если он обещал приехать или придти, можно было смело назначать массовку. Обычно первым, которого встречали рабочие, собираясь в лесу, был Арсений, сидевший с книжкой на траве. С книгами он не расставался. Читал хотя бы по две-три страницы и в поездах, и в минуты ожидания, и просыпаясь ранним утром в чьей-нибудь квартире.

На каждой фабрике Шуи и окрестных городов Фрунзе выделял корреспондентов, сообщавших в окружной комитет о событиях на фабрике, о настроении рабочих, о новых мероприятиях хозяйства.

Посмотрите листовки, написанные Арсением, они наполнены фактами и именами. Рабочий читал такую листовку, как письмо от друга, знавшего обстоятельства его жизни.

Спросите стариков-крестьян в Юже, в Майдакове, в Парском, в Дунилове, в Васильевском — они вам расскажут об Арсении, который составлял им заявления, помнил их по именам-отчествам и собирал их на сходки в лесах. Они расскажут, как запрягали лошадь, прятали в телегу Арсения, навивали сверху сено и ехали в Шую через деревни, битком набитые казаками и стражниками, искавшими окружного агитатора.

Можно написать немало приключенческих романов и трюковых киносценариев о том, как Арсений перехитрял и одурачивал полицейских, как они входили в одну дверь, а он выходил в другую — с палкой и с корзинкой, загримированный стариком. О том, как он выдумал разбрасывать листовки во время крестного хода и привел в бешенство исправника — ведь было бы скандалом обыскивать или разгонять тысячную процессию верующих, оставалось только осторожно хватать отдельных рабочих, в то время как остальные поднимали листовки с земли и прятали их по карманам. О том, как в ясный зимний день, после снегопада, казаки, узнав от провокатора о массовке в лесу, поспешили в указанном направлении и вернулись ни с чем, не найдя следов на снегу, и не нашли они их потому, что сотни рабочих прошли к лесу, ступая в один след, проложенный Арсением. Но Фрунзе никогда не шел на риск ради риска, не заботился о внешнем эффекте своих поступков. Он искал наиболее простые решения встававших перед ним задач, наиболее прямые пути к массам и был настолько же осторожен, насколько отважен.

Семнадцать месяцев — с октября 1905 года по март 1907 года — полиция безуспешно охотилась за Фрунзе. И это не в условиях столицы, а в Шуе, в Кохме, в Родниках, в Юже, в маленьких городках, где за версту замечают каждого нового человека, где

все осведомлены, кто к кому ходит и у кого что готовят. И старики, и женщины, и мужчины знали, кто такой Арсений. Дети, заметив дом, куда он входил, прибегали предупредить: — Едут казаки...

И вот мы услышали о его аресте в Шуе. Моя мать только что явилась с утренней смены и опять стала собираться. Я спросил ее: — Куда ты? В Шую сейчас нет никаких поездов...

Она ослабила платок на шее и смотрела, как я надеваю сапоги. Я пошел. Она проводила меня до крыльца. До Шуи тридцать километров, и я добрался туда еще засветло.

Едва прошел слух об аресте Арсения, на всех фабриках Шуйские рабочие бросили работу и пошли к тюрьме. Многие стекались из окрестных поселков и деревень. Что там творилось! Мне рассказывала беспартийная молодая работница: — К ней собрались подружки, и вот входит соседка и говорит: — Арсений арестован! — И как были, в ситцевых платьях, накрыв только шальями плечи, девушки кинулись к тюрьме, не по дорогам в обход, а напрямик — по сугробам. — Бежим... — рассказывала она, — видим — стоят солдаты с ружьями, но не соображаем, что они могут начать стрелять...

Площадь перед тюрьмой не вмещала всех, люди теснились на прилежавших к ней улицах. Вдоль тюремных стен были цепью поставлены солдаты с винтовками наперевес:

Спиной к штыкам выступали ораторы и призывали — взять тюрьму приступом. —

Перепуганная администрация тюрьмы уговаривала народ:

— Арсений содержится в самых лучших условиях. Его никуда не вывезут. Суд будет в Шуе.

Но люди напирали на охрану. Март месяц, на улицах лежал снег, а с солдат катился пот.

И вот обрадованный начальник тюрьмы выбегает с запиской. Арсений сам советует обойтись без ненужного кровопролития! Не пытаться громить тюрьму, не освобождать его силой!

Я держал уже помятую записку в своих руках. Она не была поддельной. Отчетливый почерк Фрунзе. И мы поняли то, что было ясно ему: — живым его все равно не отдадут. Едва мы начнем ломать ворота — его застрелят. И все-таки до позднего вечера мы простояли перед тюрьмой...

— Что же теперь будет с нами? — думал я. Мы продолжали стоять перед тюрьмой, может быть, с надеждой, что хоть на одну секунду, хоть через решетку, в последний раз, увидим его лицо.

Но его даже не было в этом корпусе. Его посадили в женское отделение тюрьмы, чтобы запутать все следы. На утро под конвоем роты солдат и двух сотен казаков его провезли на вокзал и специальным поездом отправили во Владимир. Пожилые, религиозные люди, видя, как его ведут по улицам Шуи, плакали и говорили:

— Где же правда?..

Жуков достал папиросу из коробки, резким движением зажег спичку, перегнул мундштук папиросы.

— Папа... — шевельнулась Тамара. — Расскажи о ботинках...

Он курил, не слыша ее слов.

— О каких ботинках? — спросил я.

Ответила жена Жукова:

— Это на одной конспиративной квартире в Иваново-Вознесенске. Там была жилища — девушка из деревни. Заправляла лампы, отпирала и запирала двери по ночам. К ней так привыкли, что ее никто не замечал.

И вот, однажды Михаил Васильевич Фрунзе обратил внимание на ее ботинки. Они были подвязаны веревочками. Он разговорился с ней, узнал, что много месяцев ей нигде не удастся устроиться на работу, рассказал о ней на собрании, и по его предложению ей дали из партийных средств пять рублей на ботинки...

Не слушая жены, разглядывая пол, Жуков думал, курил и ждал, когда она кончит.

— ...Я снова встретился с Арсением через два года, в зале суда, — продолжал он. — Фрунзе вынесли смертный приговор. Около года он просидел в камере смертников. Вместе с нами его привлекали к суду третий раз. Его ввели в зал суда, похудевшего, густо обросшего русой, курчавой бородкой, в арестантском костюме. Едва он появился, началось движение на скамьях подсудимых.

Нас было сорок три человека. Мы не слушали чтения обвинительного акта. В тюрьме мы ближе ознакомились с царскими законами и знали, чего ждать от них. Со времен Екатерины Второй было издано сто двадцать томов всевозможных указов и уложений, нередко противоречивых, но ни в одном из этих томов не было ни одной строки в защиту рабочего, солдата, крестьянина, ни одного слова в защиту женщины.

Шопот шел по нашим рядам. Представитель суда несколько раз звонил в колокольчик и грозил развести нас по камерам.

Быстрым шопотом мы рассказывали Арсению о предъявленных обвинениях, быстрым шопотом он давал советы, как держаться на суде. Он спросил: — Что слышно с воли? Что вы успели сделать? — Мы ответили: — Почти все арестованы вслед за тобой. — Чем занимаетесь в тюрьме? — Чем можно заниматься в тюрьме? — сказал кто-то. — Учиться!.. — И тот же голос произнес: — Чего учиться, если все равно повесят?

— Всех не повесят... — возразил Фрунзе.

Умирать, вообще, неприятная обязанность. Зачем же сдаваться за несколько недель или часов, или хотя бы за несколько минут до срока и самому ускорять конец жизни?..

На этом процессе его второй раз приговорили к смертной казни. Адвокат предлагал ему подать царю просьбу о помиловании, — Арсений отказался.

Его, как и многих из нас, спасло время. Слишком длинен был список наших «грехов» перед царским режимом. Допросы, расследования, дополнительное судопроизводство заняли несколько лет. В стране, в течение этого времени, вешали, пытали, избивали людей. Лев Толстой выступил со своим: «Не могу молчать». Террор столыпинских палачей вызывал возмущение во всем мире. Царское правительство оказалось под угрозой полной изоляции и было вынуждено умерить репрессии.

Когда нас приговорили, наконец, был уже снят закон о чрезвычайном положении, и нам, двадцати «петельникам», в том числе и Фрунзе, заменили «вешалку» долгосрочной каторгой. Я знал, что Арсений, как и я, отбывает срок во владимирской каторжной тюрьме, но в течение года ни разу с ним не встречался.

Сейчас восемь лет тюрьмы кажутся мне вырванными из жизни. Если бы не тетрадки, где я записывал свои расходы и конспектировал прочитанные книги, — я мог бы теперь сомневаться — были ли эти годы, действительно ли я прожил их? Месяц проходил, как один час, но каждый день длился очень долго.

Неприятно было чувствовать, что физически слабеешь, гаснешь с каждой минутой. Многие умерли в тюрьме от туберкулеза, многие лишились зубов от цынги.

Когда мимо нас проходило тюремное начальство, мы должны были вытягиваться во фронт и сдергивать свои шапки-бескозырки. Команда: «Шапки надеть!» — давалась лишь тогда, когда начальство скрывалось из вида. Арестантские черные куртки, с желтыми полосами! Все было рассчитано на то, чтобы унижить наше человеческое достоинство.

Но, пожалуй, отвратительнее всего — соседи по камере. Нас было в камере шесть человек и только я один — большевик. Казалось — лучше в одиночке, чем с чужими людьми. Со мной сидели два члена ЦК партии эсеров, люди с большим образованием, но они как будто и не знали, или сразу забыли все, чему их учили. О чем ни спросишь — встречаешь только раздраженный, недоумевающий взгляд. На лице каждого из них было написано: — Я страдаю, а тут лезут с пустяками!.. — У них ни до чего не доходили руки, — они ничем не могли заняться — даже плетением цепочек из конского волоса, даже лепкой шахмат из хлеба и считали унижением убирать за собой.

Первое время они поверяли друг другу свои сердечные тайны, хвастались успехами у женщин. Потом начали спорить, раздражаясь, потом поссорились, целыми днями не говорили друг с другом и старались не встречаться взглядами. Перегородили столик суровой ниткой. — Это моя половина, это твоя и не лезь ко мне, не ставь свою кружку и ничего не клади на моей половине! — Единственным отдыхом от них была для меня работа в слесарной мастерской.

Дошло до того, что один из них подал заявление тюремному начальству с просьбой перевести его в другую камеру — подальше от бывшего друга. Его перевели, он собрал свои вещи и ушел, ни с кем не попрощавшись.

Вечером ушел от нас член ЦК партии эсеров, а через два часа в камеру ввели Фрунзе. При свете ночника я проснулся и спросил: — Арсений? — Он отозвался: — Тимофей?.. («Тимофей» — была моя партийная кличка).

Он положил вещи на табурет и сел на мою койку. Шопотом мы проговорили до рассвета. Я боялся, что его скоро уведут. Переведут куда-нибудь, и я опять не буду его видеть. К утру я сказал ему: — Ты бы лег... — Он покачал головой. И опять мы продолжали говорить, пока началась побудка и загремели замки по камерам.

— Плохо, что ты оказался один... — говорил Арсений. — А я все время был с Павлом. — И он стал рассказывать о Гусеве, как много тот прочел в тюрьме. — Он может хоть сейчас сдавать экзамен на аттестат зрелости. (Так назывался тогда экзамен за курс средней школы.)

— Он пишет хороший рассказ... — продолжал Фрунзе и передал содержание рассказа «Расчет» с такими подробностями, словно сам его написал. Через двадцать девять лет я прочел этот рассказ в альманахе ивановских писателей и не нашел ни одной существенной детали, какая не была бы мне памятна со слов Арсения.

— Знаешь, что особенно ценно в Павле? — говорил Фрунзе. — Он все переживает вместе с мальчиком, которого описывает. Ходит по камере, смотрит в одну точку, шепчет, шевелит пальцами и раз по десяти переделывает одну фразу. Из него выйдет настоящий писатель!

Мне была уже знакома эта черта Арсения — привязываться к некоторым людям, увлекаться ими. Еще до ареста он занимался с Павлом Гусевым, готовил его по всем предметам за среднюю школу. И в камере смертников он поддерживал и ободрял Павла, заставлял его учиться, увлекал своим примером. За год в камере смертников Фрунзе изучил английский язык, прочел много книг по истории, по математике, по психологии. Арсений и Павел были, днем и ночью, закованы в короткие ручные кандалы. Чтобы передвинуть страницу, им приходилось поднимать обе руки.

Я думал об Арсении, слушая его, думал о Павле и ясно представлял себе: в нашем корпусе, за несколькими стенами, сидит такой же рабочий, как и я, пишет в камере рассказ и будет, со временем, великим писателем. И я стал хвастаться, что тоже не падаю духом, тоже прочел кое-что, многое продумал, и Фрунзе повторял: — Это хорошо! Это очень хорошо!..

Я почувствовал, что немного перехватил и мои слова похожи на бахвальство, признался, что бывают и весьма тяжелые минуты. Но как только тоска начинает хватать меня, я закрываю глаза и представляю себе фабричные корпуса, отражающиеся в Уводи, гул силовых станций и шум цехов, представляю себе, как тысячи новых людей приходят на наши места, сталкиваются с тем же, начинают думать о том же, что и мы; вспоминаю Талку, заседания совета, лекции в лесу — и мне делается легче.

Я спросил, не слышал ли он что-нибудь с воли, сильно ли

разгромлены партийные кадры в других городах, что с центральным комитетом?

— Не знаю... — ответил Арсений. — Не слышал ничего. Но что бы там ни случилось, партию убить нельзя, как нельзя убить мысль человека.

— Пусть мы не знаем главного, что происходит на свободе, — продолжал он, — все равно — жизнь движется вперед. Даже в солнечных лучах, даже в лицах тюремщиков видишь хорошие предзнаменования. Вспомнишь Талку, — не может быть, чтобы мы остались здесь надолго! И если даже мы просидим здесь двадцать-тридцать лет и впереди будет один месяц воли, — тем более надо готовиться к нему!..

Через люк в двери камеры подали чайник, мы пили чай, и я впервые жалел о том, что нужно идти на работу. — Мне тоже на работу — в столярную мастерскую, — сказал Фрунзе.

В ту пору на него, как на новичка, сваливали в тюремной столярке наиболее грубые заказы — строгать гробы и кресты. Он же красил гробы и только между делом мог присматриваться к тому, чем заняты краснодеревщики. Но он относился к своей работе очень серьезно, каждый день открывал в ней что-нибудь новое, объяснял мне разницу между креплением на шипах и на шпунтах, рассказывал, что такое шпунтубель, струбчинка, калевочная линейка. Впоследствии, будучи народным комиссаром по военным и морским делам, в анкете, в графе — «Специальность» — он написал — «Столярное и военное дело».

За день ему приходилось много ворочать фуганком и двенадцать часов в мастерской, при плохом питании, стоять на ногах. Вернувшись вечером в камеру, он ложился на койку пластом. Но уже минут через десять начинал шевелиться и доставал из-под подушки книгу. А еще через полчаса поднимался с койки, задавал мне задачи по математике, проверял решение вчерашних задач, объяснял непонятные слова и выражения.

Несколько раз мы с ним сильно поспорили. В дни его дежурств по камере я хотел его заменять и доказывал, что это будет только справедливо. Ведь помогал же он мне изо дня в день в моих занятиях. Почему ему не принять иногда мою помощь в маленьких, хозяйственных делах? Но он упорно отказывался и в дни своих дежурств выносил с утра «парашу», смолил ее изнутри длинной палкой с помазком на конце. До блеска начищал кирпичом два медных обеденных бачка и чайник. Натирал пол в камере. Сырой тряпкой обметал стены и карнизы. Я не помню, чтобы возникали нарекания в дни его дежурств, хотя вообще из-за уборки было бесконечно много споров.

Он учился так, как будто у него оставалось совсем мало времени впереди и надо было спешить и спешить, пользоваться каждой минутой. Он читал за полночь, при свете коптилки, занимался, когда ругались и спорили над самым его ухом.

Я был с ним, и камера казалась мне вагоном быстро идущего поезда. Арсений как будто зашел сюда на минутку. Он ни на что не жаловался и попрежнему ничего не рассказывал о себе. Но

едва он начинал говорить о своих любимых писателях — Горьком и Толстом, об истории, о математике, каким бы я ни был утомленным, я не мог не слушать его.

Он много занимался в ту пору итальянским языком и хвалил: — Какой это звучный язык! — Однажды он рассказывал мне вполголоса о Данте. В камере все, кроме нас, уснули. Я попросил Арсения поговорить со мной по-итальянски, прочитайте что-нибудь. Он продекламировал несколько строчек из «Ада». Я согласился:

— Очень красивый язык!

Это его обрадовало, и все так же тихо, чтобы не разбудить соседей, не привлечь внимание коридорного, он спел мне по-итальянски «Тарантеллу». И вдруг, мягко соскочив с койки, при свете ночника протанцевал ее.

Нас выводили на прогулку, объединяя по две камеры, и надзиратели из себя выходили, устанавливая на прогулочном дворике порядок. Люди из соседней камеры спорили из-за того, кому идти в паре с Арсением. Когда начинали, наконец, двигаться по кругу, пары впереди Фрунзе замедляли шаг, а задние подходили поближе, чтобы слышать, о чем он говорит.

Летом, в жару, все окна тюрьмы были открыты. Подходит вечером Арсений к окну и запекает свою любимую песню: «По канавке росла травка...» В камерах затихают споры и ругань; люди слушают, как он поет. И не потому, что красив его слабенький тенорок, — нет, видно, что поет от всего сердца, поет потому, что хочет петь и хочет, чтобы его слушали. И когда замолкает его голос, откуда-нибудь, двумя этажами ниже, просят:

— Арсений, еще...

Тюремщики невольно уважали и побаивались Арсения. Они чувствовали в нем человека, умевшего поставить себя над обстоятельствами жизни. Они могли убить его, разорвать на части, но ничем не могли внутренне задеть и унижить его. Они одели его в шутовской арестантский костюм, командовали: «Шапку долой!», «Смирно!», «Равняйся!», но видели, что все равно, он увереннее, пронзительнее и спокойнее, чем они.

У нас был начальник отделения тюрьмы штабс-капитан Козицкий — желчный неврастеник, типичный неудачник, он вихлялся на ходу, его левая рука нервно дергивалась и веки подрагивали, когда, сузив глаза, он обращался к нам. Ему то и дело мерещилось, что к нему недостаточно почтительны и смеются над ним.

Он вызывал к себе заключенных с сладострастной улыбкой, на их глазах помахивал письмами, адресованными им с воли, и на мелкие клочья разрывал эти письма, не давая прочитать. У него был пискливый голос, и что-то судорожное и жалкое было в нем, он словно предчувствовал, что через семь лет, по приговору Ревтрибунала, мы его расстреляем. И когда он шел по коридору, величественно красуясь, раздавая приказания, задрал нос, — он гораздо в большей степени был похож на арестанта, чем Арсений.

Впоследствии я встречал Фрунзе мельком, видел его по не-

сколькx часов, по несколькx минут. Тут уж пусть расскажут вам другие товарищи. Могy добавить только два коротких эпизода.

В 1918 году я приехал в Иваново-Вознесенск с чехословацкого фронта и отправился разыскивать Арсения. Он был на военном совещании в бывшем купеческом особняке, окруженном железной оградой. Решетчатые ворота, запертые изнутри, за ними расхаживал часовой. Я попросил вызвать Фрунзе. Часовой крикнул караульного начальника. Тот стал расспрашивать меня: — Кто я, откуда, зачем?.. Я сказал: — Передай товарищу Фрунзе, что его спрашивает Тимофей... — Караульный начальник ушел.

Через несколько секунд — топот по лестнице, сбегает Арсений. Идет прямо ко мне. Мы обнялись через широко расставленные прутья решетки. Левая рука у меня была на перевязи, и я обнял его одной правой рукой. Вдруг Фрунзе рассмеялся: — Что ж это мы? Ведь мы не в тюрьме!.. — Он отдал приказ караульному начальнику открыть ворота, спросил меня: — Ты с фронта? — И едва я вошел во двор, потащил меня за собой.

Он шел так быстро, что я не поспевал за ним. Мы перекинулись двумя, тремя словами, и я даже не успел как следует его разглядеть. Он ввел меня, слегка растерявшегося, на многолюдное совещание и объявил: — Вот товарищ с фронта, послушайте, что он расскажет...

Я окончательно растерялся, смотрел на совещание, а совещание смотрело на меня. Многие старые товарищи кивали мне, но много было и совершенно незнакомых людей. Откуда знает Фрунзе, что я им скажу? Что ему нужно, чтобы я рассказал? Он сидел на председательском месте, за столом, покрытым красным бархатом, ждал и улыбался мне. И как всегда при нем, я начал говорить о том, что было на самом деле: о беззаветном героизме наших людей, о трудностях в тылу, о недостатках снабжения и связи, о недостатке выучки и дисциплины, о странном поведении некоторых особ из Реввоенсовета Республики. Я кончил говорить, и Фрунзе, слегка ударив ладонью по столу, обратился к совещанию:

— Вот видите! Видите теперь сами!.. — Я понял: моим выступлением он в чем-то совещание переломил.

Второй раз я встретил его, когда он приезжал на несколько дней погостить к нам в 1921 году. Где бы ни был Фрунзе — в Средней Азии, в Крыму, его тянуло к иваново-вознесенским рабочим. Он сказал однажды: — Когда я умру, похороните меня в Шуе... — Он любил наши города, наших людей, мне кажется, больше, чем мы сами, которые здесь родились и выросли.

Торжественный вечер в губернском комитете партии. Собрались старые друзья и соратники, и тут я ближе и пристальнее мог разглядеть Фрунзе. Он сильно изменился, конечно, за шестнадцать лет, пополнел, стал шире весь, с более круглым лицом. В его прическе бобриком появились седые волосы. Он изменился, и я невольно смотрел на него иными глазами.

Это он, кого мы называли когда-то Трифонычем и Арсением, разгромил Колчака, сбросил Врангеля в море и привел красные

войска к преддверию Индии. Его любила теперь вся страна, народ узнавал его на станциях. Буржуазные английские газеты писали о нем как об одном из выдающихся полководцев эпохи, подсчитывали, какой процент в нем молдаванской крови от отца и какой процент крови воронежских крестьян от матери. Он стал одним из великих людей человечества, но мягкость взгляда, усмешливость, готовность всякую неприятность обратить в шутку и, в первую очередь, улыбнуться над самим собой — это оставалось в нем, как и всегда.

К тому времени мы не создали еще своего стиля, какой можно теперь наблюдать на сельскохозяйственной выставке, на станциях метро, в гостинице «Москва». Мы собрались в невысоком зале с люстрами, канделябрами и подсвечниками. Дубовые кресла, с резными спинками, бьющими по затылку, с потертыми сиденьями. Бутерброды с жесткой грудинкой, первые советские пирожные из ржаной муки. Мы курили махорку, желтые папиросы, табак в которых, едва его подожжешь, трещал и, распухая, вылезал из гильз. Мы чувствовали себя еще по-бывуачному, но настроение было расчудесным, особенно когда принесли найденные случайно в одном из подвалов заплесневевшие бутылки старого вина.

Со всех сторон слышалось: — А помнишь? А помнишь? — Фрунзе, сидя на почетном месте, шутил и веселился, помнил все и всех, интересовался всем, между прочим, спросил: — Как с добычей торфа? Сколько по фабрикам губернии пушено веретен? — При встрече со мной он так же, как и три года назад, обнял меня. Он спросил о моих родителях: — Живы ли Иван Трофимович, Клавдия Матвеевна? Работает ли еще отец? А как Тоня? — справился он о моей самой младшей сестренке. — Должно быть уже вышла замуж?..

Со всех сторон нас перебивали, и Фрунзе смеялся, отворачивался от меня, быстро и о разном спрашивал других, быстро отвечал им. И вдруг улыбнулся мне: — А помнишь, ты рассказывал о хлопке, который все идет и идет вверх?... — И опять его отвлекли и опять он смеялся и шутил, крича через стол, держа в одной руке стакан вина, в другой — бутерброд с брынзой.

Его попросили выступить, поделиться воспоминаниями о гражданской войне, и сразу став серьезным, поднявшись с места, в притихшем зале он начал говорить о том, какие жертвы понесла страна. Он говорил о незасеянных полях, о паровозах, валявшихся под откосами, о ржавом и мятом железе, зарастающем бурьяном, о страшном голоде, о бездомных детях. — Посмотрите, — сказал он, — как люди едят теперь хлеб: они ломают кусок над ладонью, подхватывают каждую упавшую крошку и бросают ее в рот.

У вас еще работают некоторые фабрики, а в других промышленных районах они стоят. Рабочие рассеялись, погибли в тюрьмах, в белогвардейских застенках, на фронтах... — В зале стало еще тише, среди нас не хватало многих старых товарищей. — Но почему мы, все-таки, победили? — продолжал Фрунзе, — отбились от интервенций четырнадцати государств, неизмеримо лучше, чем

мы, оснащенных техникой и снаряжением? Каким образом штатские люди, вчерашние подпольщики, разбили царских и иностранных генералов, всесторонне образованных в военном отношении, вооруженных опытом мировой войны?..

И в напряженной тишине он стал рассказывать о том, как, бросив лозунг — «Все для фронта», подняв миллионы людей на защиту страны, Ленин вникал в подробности боев: прямые провода к фронтам находились за стеной его спальни; днем и ночью шли от него ответы и распоряжения по военным вопросам. Фрунзе рассказывал о том, как Сталин, перестраивая на ходу военную науку, руководил под обстрелом взятием Красной Горки с моря; о том, как под непосредственным руководством Сталина были разгромлены Колчак и Врангель, о том, что Сталин отбросил как негодный и вредный план похода на Деникина через донские степи и хутора и выдвинул победоносный план удара по Деникину через пролетарские центры, через шахтерский Донбасс, по линиям железных дорог. — Наша военная стратегия, — сказал Фрунзе, — была классовой стратегией, за нами был народ, мечта трудящихся о лучшей жизни, правда истории, мы были вооружены философией марксизма и потому победили.

Он рассказал нам о том, как в боях за Перекоп нужно было протянуть провод полевого телефона, но проволока была плохой, и соленая морская вода ее разъедала, прерывая связь. Тогда на морозе, по колени и по пояс в ледяной воде, бойцы стали цепью, держа провод в руках, и связь была установлена. — В этой войне, — сказал Фрунзе, — мы защищали не только свою жизнь, мы защищали то, что было для нас дороже жизни...

— Мы отвоевали шестую часть мира... — продолжал он. — Создать на обломках довоенной нищеты богатую, счастливую страну, образец для всех народов, неприступную крепость мировой революции — вот задача. — В напряженной тишине он рассказал нам о ленинском плане электрификации, о горячей поддержке, какую оказал этому плану товарищ Сталин, о борьбе, которую повели против плана электрификации Троцкий и Рыков, оказавшиеся впоследствии иностранными шпионами и злейшими врагами народа.

— Сейчас этот план кажется далекой мечтой... — продолжал Фрунзе. — Но разве не была для нас на Талке такой же мечтой идея своего государства? Вспомните, что было у нас с вами несколько лет назад — ножные и ручные кандалы и копейки в партийной кассе. Но у нас была партия, какой не имела ни одна из революций прошлого, — и мы победили. За партию! — сказал он, поднимая стакан. — За Ленина и Сталина!..

Это были последние большие слова, какие я от него услышал. Впрочем нет — в 1925 году я прочитал в «Правде» речь Фрунзе на всероссийском съезде учителей. Там была короткая, заключительная фраза: — Мы боремся против всякой нищеты и против всякого страдания!.. — Это был ход мыслей Фрунзе, его интонации, это так живо напомнило его, словно в моей комнате, над самым ухом, я услышал его голос.

Не знаю, с чем сравнить мое состояние в первые дни после его смерти. Мы лишились многих старых товарищей, было много горя и утрат позади, но смерть Фрунзе, так же, как смерть Ленина, воспринималась не как потеря отдельного человека, а точно стихийное бедствие, подземный толчок во время землетрясения. Было бы трудно передать, что я пережил в те дни, о чем думал, стоя с черной повязкой на рукаве в колонном зале Дома Союзов, около лежащего Арсения.

В день похорон, на Красной площади, я слышал Сталина. Он был в серой шинели, с непокрытой головой. Резкий, ноябрьский ветер перемешал и поднял его темные волосы. Сталин казался похуевшим.

Вы знаете его речь, она очень коротка: «Товарищи, я не в состоянии творить долго, мое душевное состояние не располагает к этому. Скажу лишь, что в лице товарища Фрунзе мы потеряли одного из самых чистых, самых честных, самых бесстрашных революционеров нашего времени...» Когда я услышал эти слова, я понял: не слабостью было все, что я пережил в те дни, — это сильнее самого мужественного человека...

8

Шел двенадцатый час ночи. Я начал прощаться.

В передней Жуков стал надевать шапку, шубу, галоши...

— Мороз наверное еще сильнее... — вполголоса сказала ему жена.

— Я ненадолго, до угла... — успокоил он.

— Как вы напишете об этом? — с любопытством глядя на меня, спросила девочка. — Напишите об этом, как Михаил Ильин!..

Она произнесла это тоном, не допускающим возражений, не обращая внимания на укоризненные взгляды отца и матери.

— Вы читали всего Михаила Ильина? — продолжала она. И бросившись в свою комнату, принесла «Вчера и сегодня». — Скоро у него выйдет новая книга — «Как человек стал великаном», — сообщила она и стала листать «Вчера и сегодня». — Тамара! — остановила ее мать. — Ты покажешь это как-нибудь в другой раз... Нельзя быть таким ребенком!

— Я не ребенок! — возмутилась Тамара.

— Ты не ребенок... — улыбаясь, сказал Жуков. — Ты — поросянок...

Мы отворили наружную дверь, и вихри пара ворвались в переднюю. Промерзший снег визжал и не подавался под нашими ногами. Резало нос, щеки, губы.

Некоторое время шли не разговаривая. Пересекли Тейковское шоссе, миновали башни линии высокого напряжения. Десятки тысяч электрических огней светились в домах рабочего поселка. Белые дымы прямыми столбами поднимались к небу.

— Почему вам казалось, что вы не сможете достаточно полно охарактеризовать Фрунзе? — спросил я.

Жуков пожал плечами. — Я передал вам некоторые его слова и поступки... Но разве в этом весь человек? Мне кажется теперь

— большая часть того, что надо было сказать, осталась нераскрытой. Как я могу достаточно полно охарактеризовать его, если и для себя я его не до конца обдумал и понял?..

Вы помните из биографии Фрунзе, как к нему в больницу приходили товарищи Сталин и Микоян. Фрунзе спал, и Сталин оставил ему записку, где были слова: «Не скучай, голубчик мой...». Что должно быть в человеке, чтобы товарищ Сталин сказал ему такие слова?.. Вот этого я и не сумел вам передать!..

Мы шли по Почтовой улице, нас перегоняли трамваи и автомобили. Ресницы и брови Жукова покрылись инеем. Уличные репродукторы передавали последние новости. Еще квартал прошли молча.

— Вы видели мою дочь? — спросил Жуков. — У нее есть свои недостатки, ее слишком балует мать. Но в пятом классе Тамара решила — я буду историком!.. У нее нет и тени мысли, что что-нибудь ее может остановить. Я много лет собирался написать о Фрунзе, да так и не написал, а она, с моих слов, составила очерк об Оле Генкиной и напечатала его в школьной стенгазете.

Я уверен — через несколько лет она станет меня учить. Она с колыбели растет в убеждении, что все на свете — и прошлое, и настоящее, и будущее — принадлежит ей.

Когда к нам приехал Трифонович, у нас во всем Иваново-Вознесенске было пять или шесть студентов. Теперь их в Иваново больше двадцати тысяч. За делом как-то забываешь об этом, но вот, прошлой осенью, невольно остановило внимание — идут по широкому тротуару Социалистической улицы обнявшись шесть девушек, немногим постарше Тамары. Говорят об абсолютной ренте, о постоянном и переменном капитале. Потом начали дурачиться, громко хохотать, говорить по-немецки. Они шли с ощущением, что и город и все его лаборатории, библиотеки и кабинеты и все мысли человечества принадлежат им.

Им еще с детства казалось само собой разумеющимся строительство Меланжевого комбината, «Красной Талки», фабрики имени Дзержинского — днем через эти здания видно небо насквозь, а ночью они стоят прямоугольниками электрического света. И вот через несколько лет эти дети пойдут на фабрики, перед ними станет отчитываться дирекция, и они начнут обдумывать, менять распорядки и технологический процесс.

А ведь в наше время все было не только недоступно нам, но и залачкано и затемнено — и стремление к труду и стремление к знанию. Едва разлетишься, с искренним чувством, к чему-нибудь — хотя бы, как я, к изобретательству — и обстоятельства бросят тебя носом в землю. И вот, в этой путанице, где не сразу разберешься, что хорошо и что плохо, в тумане собственности, такие люди, как Фрунзе, сохраняли и любовь к людям и доверие к жизни. Они знали, что все доступно человеку, все будет иным, должно и может быть иным, и, стараясь приблизить это будущее, любую тяжесть брали на себя.

Фрунзе — он вырос и воспитывался в условиях старого общества, но мне думается — именно таким, как он, и должен быть

человек социализма. Он был у нас как бы делегатом от будущего. Он был созидателем. Благодаря знакомству с ним я яснее представил себе характеры таких людей, как Ленин и Сталин...

Я видел всегда, что Арсений на десять голов выше каждого из нас, и считал, что он стоит в жизни особняком, как комета. Мне казалось кощунством сравнивать себя с ним, думать о том, чтобы дотянуться до него. И с каким-то странным чувством я слушал, как моя дочь, как молодежь на комбинате, где я делал доклады о Фрунзе, задают о нем практические вопросы, снимают мерку с Арсения, стараются внутренне подстроиться к нему. И вот я прочитал речь Сталина на собрании избирателей, речь, в которой он призывал обыкновенных, средних советских людей быть такими, как Ленин. Я подумал, — а разве в глубине сознания, незаметно для самого себя, я не повторял во все решающие моменты своей жизни: — Так, как Фрунзе! Таким, как Фрунзе!..

Да, люди ставят сейчас перед собой и могут ставить большие идеалы! Возьмите бытовую мелочь—какие имена давали детям моего поколения? — Трифон, Кузьма, Аким, Секлетей, Прасковья... Их не выбирали, эти имена, поп ткнет пальцем в святцы—так тому и быть! Они вполне соответствовали старым отношениям, когда фабричный доктор спрашивал, тыча кулаком под бок рабочего: — Ну, чего у тебя там болит? Живот? — когда матери кричали: — Дунька, иди сюда, я тебе морду раскроваю!..

А какие имена дают теперь? — Юрий, Игорь, Олег, Евгений, Светлана, Вероника. И это не то, что в артистических семьях или матери-комсомолки, нет, и пожилые женщины называют так своих детей. Пройдите у нас по первому и второму рабочим поселкам — вы в каждой квартире встретите такие имена. Иной раз хочется сказать родителям: — Да что вы думаете, где им придется жить? В опере, что ли, в стихах или в сказках? Ведь большие испытания встанут еще перед ними, как на белофинском фронте. — Только не скажешь этого — не повернется язык, слишком много вложено в новые имена и радости и веры в жизнь. Вот это доверие к будущему — оно присуще теперь всему народу: и молодым и старым, а ведь раньше оно было доступно только отдельным исключительным личностям!..

И вот меня спрашивают теперь, со всех сторон, — что за человек Фрунзе, каким был Фрунзе? А я думаю: чего стоят все мои доклады и воспоминания о нем? Это перечень фактов! Могу ли я раскрыть пружины его поведения? Как формируются с детства такие характеры? Ведь он приехал к нам почти сложившимся человеком. Как он воспитывал себя, о чем думал, прежде чем принять то или иное решение? Могу ли я представить себе идеал человека, какой был у него самого?..

Занесенные инеем, мы дошагали до почтамта. Подходил трамвай — второй номер. Жуков простился со мной, пошел к трамваю, остановился, вспомнив что-то, повернулся было, но засмеялся и махнул рукой.

— В другой раз! — крикнул он с площадки двинувшегося вагона.

Д.М. ПРОКОФЬЕВ

РАССКАЗЫ О ФРУНЗЕ

Для маленьких ребят

КАК АРЕСТОВАЛИ КУРТКУ

В Иваново Михаил Васильевич Фрунзе приехал в мае месяце 1905 года. Он был еще совсем молодой, ему было только двадцать лет. Он приехал в студенческой куртке с металлическими светлыми пуговицами. А в городе Иваново жили почти одни рабочие.

Фрунзе привели на квартиру к Черникову. Хозяин квартиры поглядел на Михаила Васильевича и говорит:

— Э, так не годится тебе ходить. Куртку-то снять придется, а то сразу тебя заметят полицейские. Пуговицы-то вон какие светлые!

Черников еще не знал, что Фрунзе хотя и молодой по годам, но замечательный большевик. Он сам хорошо знал, что за ним следят шпионы, чтобы арестовать его и посадить в тюрьму.

Только Михаила Васильевича не так-то легко было арестовать. Чтобы отвести глаза царским шпионам, он назвал себя «Трифонычем». Тогда и все ивановские большевики тоже стали называть его «Трифонычем».

А в мае месяце 1905 года, когда Фрунзе приехал в Иваново, как раз началась большая стачка рабочих. В городе было очень много фабрик, и все они стояли. Вначале бастующие рабочие собирались в городе, на тесной площади, а потом стали собираться за городом, на зеленом берегу речки Талки.

Михаил Васильевич Фрунзе приехал в Иваново, чтоб руководить рабочими. Его послала партия большевиков, которую создали великие люди — Ленин и Сталин.

Когда «Трифонычу» сказали, что надо снять куртку со светлыми пуговицами, он спросил:

— А нельзя ли достать старые пиджак и брюки, как у рабочих?

Черников, хозяин квартиры, говорит:

— Ладно, сейчас, «Трифоныч», найдем.

Он ушел и вскоре принес Михаилу Васильевичу все, что нужно: старый пиджак, штаны и сапоги. Фрунзе оделся. Его теперь нельзя было узнать. Это был не студент политехнического института, а простой ивановский рабочий.

— Теперь шпики не зацепятся, — сказал Черников.

— Так и надо, — ответил Фрунзе.

Они пошли на берег Талки. Речка—узенская, мелкая, но берега хорошие, зеленые. Бастующие рабочие проводили там все дни. Они выбрали Совет депутатов.

«Трифоныч» руководил и Советом рабочих депутатов и был главным агитатором,—учил рабочих бороться против царя и фабрикантов.

Прошло некоторое время. Днем Фрунзе бывал на берегу Талки, с рабочими, а ночью тоже занимался: или писал листовки, или читал книги. Он много читал книг, потому что нельзя быть настоящим большевиком, если мало знаешь.

Вдруг однажды к Черникову приходят полицейские. Фрунзе тогда не было дома. Полицейские спрашивают:

— Кто у тебя живет?

Черников отвечает:

— Не знаю.

Полицейские не верят:

— Как же так: хозяин дома, а не знаешь, кто живет. Ты должен знать!

Черников, конечно, знал, но только говорить ему нельзя было. Он знал, что тогда «Трифоныча» арестуют и посадят в тюрьму, или угонят в далекую ссылку.

И он опять говорит:

— Не знаю. Попросился какой-то человек, — ну вот и пустил. А кто он — совсем не знаю.

Полицейские сделали обыск. Все в доме перевернули вверх ногами. Подушки раскидали по полу, от стены отдрали две доски, на чердак даже лазали. А нашли только одну куртку с металлическими светлыми пуговицами.

— Чья эта куртка? — спрашивают полицейские.

— Моего жильца, — отвечает Черников.

— А где он сам?

— Ушел куда-то. Наверно гулять.

Черников не мог сказать, что Фрунзе находится вместе с другими большевиками на берегу Талки. Если бы он сказал об этом, он стал бы тогда предателем. А Черников был честный рабочий и ненавидел царя, капиталистов и полицейских.

— Ты врешь, — закричали полицейские, — ты знаешь, где находится приехавший студент!

А Черников свое:

— Не знаю.

Полицейские видят, что делать им больше нечего, и говорят:

— Ну, тогда мы арестуем куртку. А когда придет домой твой жилец, скажи ему, чтобы он пришел в полицию!

Черников улыбнулся, но ничего не сказал. А полицейские составили протокол и понесли куртку со светлыми пуговицами. Один шел впереди, а двое — по бокам, словно вели арестованного человека.

Когда Черников рассказал Фрунзе о том, что в доме были полицейские, устроили обыск и арестовали куртку, Михаил Васильевич сказал:

— Разве я пойду в полицию? Пусть уж моя куртка там у них посидит. Мне сейчас некогда, — сказал он и засмеялся.

Вечером Фрунзе переехал на другую квартиру.

БОЯЗЛИВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Фрунзе был осторожный человек. Он старался меньше показываться на улице, чтобы не попадаться на глаза полицейским. Но долго оставаться дома тоже не мог. Ему нужно было ходить на берег Талки, проводить митинги среди рабочих, выступать в Совете депутатов. И хотя он каждый раз менял то рубашку, то пиджак или картуз, его можно было узнать по лицу. У Михаила Васильевича было круглое, румяное, с едва заметными усиками лицо.

А полицейские что делали? Переоденутся, шашку и наган оставить у себя в полиции, а сами пойдут на берег Талки. Их и не отличишь по одежде от рабочих. Если и спросит кто-нибудь:

— С какой фабрики?

Так они все фабрики знали. Скажут:

— С грязновской...

Ну и поверят, потому что на грязновской фабрике тысячи рабочих, разве всех-то узнаешь?

Переодетые полицейские ходят и высматривают большевиков, следят за ними, чтобы потом потихоньку от рабочих арестовать. При народе-то они боялись арестовывать, потому что рабочие любили большевиков, охраняли, они знали, что большевики борются за всех трудящихся, добиваются для них счастливой жизни.

Больше всех переодетые полицейские старались узнать, кто это «Трифоныч». Они уже слышали, что «Трифоныч» — это большевик, приехал руководить стачкой в Иваново. Но каков он в лицо — полицейские еще не знали.

Фрунзе догадывался, что за ним следят шпионы, приглядываются. Надо было как-то обманывать их. Тогда он решил загримироваться. Купил себе в магазине усы и бороду. Иногда надевал их. Но борода была какая-то сивая, да к тому же топорщилась во все стороны. Даже смешно было смотреть на эту бороду. А других в магазине не было.

Некоторые товарищи посоветовали ему носить парик. Фрунзе носил и парик. Но и это получалось не совсем хорошо. Надо было как-то так загримироваться, чтобы комар носа не подточил.

Тогда позвали на квартиру парикмахера, самого лучшего в

городе. Парикмахер был молодой, но пришел с тросточкой. У него болела правая нога.

Стали думать, как лучше загримировать Фрунзе? Думали, думали. Даже спор затеяли! Кто говорит: «Надо сделать стариком с длинной бородой», а кто говорит: «Стариком, но только с короткой бородой». Одни предлагают сделать Михаилу Васильевичу пушистые усы, другие наоборот — жиденькие.

Тогда парикмахер сказал:

— А не загримировать ли вас под учителя?

— Какого учителя? — спросил Фрунзе.

— Да тут у нас в городе живет один учитель, он еще в церковном хоре поет. Боязливый такой... Тихий. На него полицейские даже и не глядят.

Все начали вспоминать, что это за учитель? И оказалось, что он преподавал музыку в женской гимназии, был невысокого роста, носил стриженую бородку и стриженные усы. Он каждый вечер прогуливался по одним и тем же улицам, словно боялся заблудиться.

Михаил Васильевич выслушал это и говорит парикмахеру:

— Ну, что ж, гримируйте под учителя.

Когда ушел парикмахер, Фрунзе спросил товарищей:

— Похож?

Все сказали:

— Как родные братья.

Фрунзе засмеялся:

— В братья-то напрашиваться к нему не стоит, а вот, если не скоро полицейские раскусят, — это хорошо будет.

Подумав, он опять засмеялся и сказал:

— Только вот как бы нам не встретиться на улице.

Так Фрунзе стал похож на учителя, который жил тише воды, ниже травы. И когда учитель разгуливал по улице, он совсем не подозревал, что в это же самое время похожий на него большевик «Трифоныч» выступал на берегу Талки с речами против царя и фабрикантов. Если бы он услышал его речь, то наверно умер бы от страха.

МАУЗЕР ЛЮБИТ ЧИСТОТУ

Когда Фрунзе переехал из Иванова в город Шую, где было тоже много текстильных фабрик, он организовал там из рабочих боевую дружину. Кому достали револьвер системы Браунинга, кому Смит-Вессона. Тогда было трудно доставать оружие.

Чтобы полицейские не заметили и не отобрали револьверы, дружинники прятали их на чердаке, в подвале, под печкой. А когда Фрунзе приказывал, большевики вытаскивали оружие и шли за город, в лес. Там они упражнялись в стрельбе. Их обучал Михаил Васильевич.

Сам Фрунзе имел маузер. Это очень тяжелый и длинный револьвер. Он вкладывается в деревянную кобуру.

Вот придут дружинники в лес, найдут самое удобное место, Фрунзе и говорит:

— Сначала будем стрелять на пятнадцать шагов.

— Ладно, товарищ «Арсений».

В Шуге Михаила Васильевича стали звать «Арсением». Это было нужно для того, чтобы его не поймали полицейские. Он так всегда делал: как только приезжает в новый город, так берет себе новое имя, или как тогда говорили — партийную кличку. В Иваново он был «Трифонычем», а в Шуге стал «Арсением».

Дружинники начинают стрелять в цель, нарисованную на белой бумажке, а Фрунзе или устраивает проволочные заграждения или роет окопы. Сам он стрелял замечательно, прямо лучше всех. На несколько десятков шагов он попадал в гривенник — маленькую серебряную монету.

Скоро очередь стрелять доходит до Фрунзе. Все дружинники внимательно следят за тем, как он будет стрелять. А Михаил Васильевич встанет по-военному, отведет немного назад левую ногу, вытянет вперед руку с маузером и начинает метиться в цель. Он стоит совершенно спокойно, рука не шевельнется, не дрогнет. Потом раздается выстрел.

Все бегут и видят, что пуля попала в самую середину нарисованного на бумажке кружочка.

— А ну, еще один раз... — говорят ему дружинники.

Фрунзе опять становится и стреляет. Опять бегут к прибитой на дереве бумажке, чтобы скорее посмотреть, куда попала вторая пуля. А на ней все та же дырочка, словно папиросой прожгли. Только с одной стороны она стала побольше. Это пролетела здесь вторая пуля «Арсения».

— Вот стрелок, так стрелок, — говорят между собой дружинники. — Вот бы нам так-то всем научиться стрелять!

А Фрунзе был скромный человек, не любил, когда его хвалили. Ему как-то становилось неловко. Он тогда начинал даже сердиться.

— Чего тут особенного? — спрашивал он. — Если кто захочет, тот обязательно будет хорошо стрелять. Только надо полюбить стрельбу. Вот и все.

— Нет уж, товарищ «Арсений», что ни говори, а все же ты ловкий стрелок.

— Большевики все должны уметь хорошо стрелять!

Под вечер дружинники возвращались в город. Чтобы не заметили, они расходились по одному, по-двое. Как только Фрунзе приходил домой, он вынимал из деревянной кобуры маузер и начинал чистить. Он чистил долго, внимательно, как самую дорогую вещь.

— Кто-нибудь глядел на Михаила Васильевича и спрашивал:

— Да чего ты, «Арсений», так чистишь его? Много ли ты стрелял? Он еще, поди, не успел и запачкаться-то?

— Это ничего! — отзывался Фрунзе. — Лишний раз почистить — очень хорошо. Маузер любит чистоту!

Он обтирал Маузер тряпочкой, убирал в кобуру и весело говорил:

— Теперь ему там спокойнее лежать. А чистый револьвер всегда лучше стреляет!

НАДО ЗАХВАТИТЬ ТИПОГРАФИЮ

Однажды шуйским большевикам потребовалось отпечатать много листовок. Вот они сидят на конференции и думают, как это сделать?

Фрунзе тогда и говорит:

— Я предлагаю захватить городскую типографию.

Это было очень смело сказано, и большевики опять сидели и думали, можно ли это сделать?

Все обсудили. И вышло, что Михаил Васильевич прав: захватить типографию можно. Только надо было поступить организованно и решительно.

Большевики сказали тогда:

— Пусть это сделают «Арсений» и «Северный».

Фрунзе был дисциплинированный человек.

— Ладно, сделаем, — ответил он.

А в типографии работал наборщиком один большевик. Михаил Васильевич вызвал его к себе и дал задание — приготовить кассы, то есть типографские ящики, похожие на пчелиные соты, только заполненные не медом, а буквами.

Наборщик разложил по ящикам несколько тысяч свинцовых букв и через несколько дней говорит Фрунзе:

— Готово, товарищ «Арсений».

— Вот и хорошо. Жди нас в шесть часов вечера.

Только пробило шесть часов, дверь в типографию открылась, и вошли Фрунзе, Павел Гусев, у которого была клочка «Северный», и несколько дружинников. Они заняли сразу все ходы и выходы, чтобы никто из типографии не убежал и не сообщил полицейскому, стоявшему на посту совсем рядом.

Хозяин типографии Лимонов очень испугался незнакомых и смелых людей, но Фрунзе сказал ему:

— Вы можете быть спокойны. Мы отпечатаем, что нам нужно, и уйдем. Только сядьте в сторонку. Вот так.

Михаил Васильевич поставил к телефону дружинника с наганом.

— Если кто будет звонить, скажи, что хозяина здесь нет, — он куда-то, мол, вышел, скоро придет.

А сам пошел в типографию. Там он обратился к рабочим с просьбой, чтобы они помогли отпечатать листовки. Рабочие охотно согласились, и работа закипела.

В это время к типографии подъехала жена Лимонова. Она оставила лошадь непривязанной и вбежала в помещение. Думает, сейчас вернусь. Вбежала и остановилась: везде стояли вооруженные люди. Она хотела идти обратно, но ее не пустили.

— Оставайтесь здесь, — сказал ей дружинник.

Она хотела подойти к окну. Дружинник строго крикнул:

— Отойдите!

— У меня там лошадь стоит. Я приехала без кучера.

— Ничего, пусть ваша лошадь постоит. Ей ничего не сделается.

Потом зашел поп. И ему велели остаться в комнате. Поп ничего не понимает. На всех смотрит маленькими глазами, что-то хочет спросить у хозяина типографии, а ему дружинник не велит разговаривать.

— Тогда дозволейте мне хотя бы табачку понюхать, — говорит поп.

— Что ж, нюхай на здоровье.

Лошадь, на которой приехала жена Лимонова, стояла-стояла на улице, продрогла, стала переступать ногами и взошла на тротуар.

Полицейский увидел это и думает: «Ага, надо услужить хозяину». Он отвел с тротуара лошадь и пошел в типографию, надеясь получить с хозяина двугривенный на чай.

А его там хватают дружинники, снимают с него шашку, револьвер и говорят:

— Посиди тут, погрейся, на улице-то холодно.

Полицейский так растерялся, что не мог произнести ни одного слова.

Когда все листовки отпечатали, Фрунзе поблагодарил рабочих, распрощался с ними — и пошел. Зайдя к хозяину типографии, он сказал:

— По телефону не звоните. Предупреждаю. Пройдет десять минут, тогда можете звонить.

Лимонов настолько был напуган всем происшедшим, что только через пятнадцать минут позвонил в полицию. Набежало много полицейских, но никто не знал, где искать большевиков.

БОЛЬШОЙ РЕБЕНОК

День и ночь хлопотали полицейские. Все искали Фрунзе. Они знали, что «Арсений» находится в Шуге. Может быть где-то совсем рядом, через два-три дома от полицейского управления. Но как найти «Арсения», каков он собой — полицейские не знают. А нельзя же каждого останавливать и спрашивать:

— Ты не «Арсений»? Ты не большевик?

И в полицию тащить каждого нельзя. Так, пожалуй, весь город придется арестовать. Для всего народа и тюрьмы нехватит.

Бились, бились полицейские — никак не могут обнаружить Фрунзе. Прибегут на собрание рабочих, знают, что он должен быть здесь, а Михаила Васильевича нет. И думают: «Что такое? Почему его нельзя никак поймать?»

Фрунзе очень хорошо умел прятаться от полицейских. Но если бы не рабочие, то ему, конечно, было бы трудно все время скрываться. А рабочие любили Михаила Васильевича и сами прятали

от полицейских. Они всегда предупреждали его, переодевали, — вот почему и нельзя было поймать «Арсения».

Но однажды полицейские подглядели за ним. Сообщили своему начальнику — Лаврову. У начальника даже усы поднялись от радости, когда он услышал об этом. Отобрал самых ловких полицейских и говорит им:

— Во что бы то ни стало надо поймать!

А в это время Фрунзе жил в доме Личаева, в маленькой комнате в одно окно. Он жил вместе с шуйским большевиком Иваном Кузьмичем Тараниным, по кличке «Карась».

За Тараниным тоже следили полицейские. Часто приходили к нему делать обыск: все искали книги, в которых писалось против царя. Михаил Васильевич знал об этом и иногда уходил из его комнаты куда-нибудь в другое место, чтобы не попасться в руки полицейским.

В тот вечер Фрунзе пришел домой поздно. Все уже спали. У Личаева жило еще несколько человек рабочих. Они спали в общей комнате, прямо на полу. Даже пройти нельзя было.

Вот Михаил Васильевич и спрашивает хозяйку:

— Александра Михайловна, а где бы мне спать лечь?

— А что-ж к Ивану-то Кузьмичу?..

— Опасно.

— Ну, тогда ложись с ребятами, под столом.

— Хорошо, — сказал Фрунзе и стал раздеваться.

И только лег, только Александра Михайловна потушила маленькую лампу, как в дверь сильно застучали. Хозяйка шепчет:

— «Арсений», полицейские пришли, не иначе, — вон как бацают в дверь!

Она думала, что Фрунзе уже спал. Дескать, устал за день-то. А Михаил Васильевич еще не спал. Он все слышал. И тоже тихо говорит ей:

— Иди отопрй. Пусть поищут. Что-ж делать-то?

Вошли полицейские, загремели сапогами и сами зажгли лампу.

— Есть кто посторонний? — говорят они.

А самим не терпится, так и шарят по комнате глазами, так и шарят.

Александра Михайловна говорит спокойно:

— У нас никого посторонних нет.

— Врешь! — говорит один из полицейских с очень толстым носом.

И начали всех, кто спал в комнате, повертывать лицом к огню и осматривать.

Фрунзе, конечно, разговор слышал. Придвинулся незаметно еще ближе к ребятам, съезжился — и стал совсем маленький.

Дошли полицейские до ребят и спрашивают:

— А это кто?

— А это мои дети, — отвечает хозяйка.

Полицейский с толстым носом говорит:

— Ну, ребят можно и не трогать. Пойдемте!

Когда они ушли, гремя тяжелыми сапогами, Александра Михайловна обрадованно сказала:

— Счастливый ты, «Арсений».

— Михаил Васильевич ответил:

— Сама научила к ребятам лечь. Спасибо тебе...

Так и на этот раз полицейские не поймали Фрунзе.

КРЕСТНЫЙ ХОД

«Арсений» был удивительно находчивый. Он все умел использовать для революции, для борьбы с царем и фабрикантами.

Случай, о котором здесь будет рассказано, произошел в июле месяце 1905 года, в Шуге.

Город Шуга делится рекой на две части. Та часть, где находится вокзал железной дороги, называется Заречьем. В Заречье была Ильинская церковь.

И вот каждое лето, в июле месяце, эта церковь справляла праздник — Ильин день. Попы собирали народ, выносили на улицы иконы и устраивали по всему Заречью так называемый крестный ход.

Тогда много было отсталых людей, которые верили попам. Они шли за иконами, пылили ногами и крестились.

Когда подошел Ильин день, Фрунзе и говорит своим товарищам — большевикам:

— Случай подходящий, надо им воспользоваться...

— Некоторые не сразу догадались.

— Почему подходящий? — спросили они.

Михаил Васильевич ответил:

— А вот почему. Запасемся листовками и встанем среди верующих в разных местах. Как только пойдет народ, мы осторожно и раскидаем свои листовки. Понятно?

Теперь была всем понятна хитрость «Арсения».

Недавно в город прибыли казаки. Они разъезжали на лошадях по улицам и не давали собираться рабочим на митинги. А кто собирался, того казаки пороли нагайками.

А когда люди шли с иконами, их казаки не разгоняли. Поэтому Фрунзе и предложил раскидать листовки во время крестного хода.

Часов около одиннадцати дня из церкви вынесли иконы. Впереди встал поп с исправником, несколько полицейских, певчие. Было тихо, жарко. Иконы ярко блестели на солнце.

Запели певчие, и весь народ двинулся. Некоторые подпевали певчим, некоторые переговаривались между собой, а многие шли молча.

Фрунзе сказал товарищам:

— Как поравняемся с почтой, начнем бросать листовки.

Так все и сделали. Дошли до почты и начали осторожно бросать листовки.

Певчие поют себе, поп с исправником о чем-то думают и не видят, что делается у них позади.

А люди сначала шли спокойно. Потом стали нагибаться. То здесь, то там кто-нибудь нагнется. Даже смешно было смотреть со стороны. Можно было подумать, что они кому-то кланяются в ноги.

Вдруг полицейские заметили, что люди поднимают листовки и читают. А в листовках говорилось против царя. Полицейские подняли одну и показали исправнику.

Исправник прочитал листовку и не знает, что делать? Нельзя же разгонять крестный ход. Тогда все могут сказать, что исправник стал безбожником. А за это его могут уволить со службы.

И спрашивает у полицейских:

— Много листовок на руках?

— Почти все читают, ваше благородие! — отвечают ему полицейские.

В это время опять запели певчие. Исправник перекрестился и сказал:

— Начните отбирать листовки. Только сзади начните, да чтоб не так заметно было, — не подымайте шума.

Полицейские потолкались-потолкались в народе и вернулись на свое место ни с чем. Отобрали только несколько штук. А раскидано было их около тысячи. Остальные листовки рабочие прятали по карманам.

СЛУЧАЙ С ДРУЖИННИКОМ

В декабре месяце 1905 года в Москве рабочие подняли восстание.

Они достали себе ружья, наделали бомб и стали строить на улицах Пресни баррикады. Наваливали в одну кучу телефонные столбы, вывески, камни, ворота. Это и были баррикады.

Чтобы помочь московским рабочим, Фрунзе организовал в Шуе отряд из дружинников. Достали всем револьверы и по две самодельных бомбы.

Когда собрались перед отъездом, «Арсений» сказал:

— Если кто не желает ехать, может остаться.

Но желающих остаться не было.

Тогда стали раздавать оружие. Доходит очередь до одного дружинника, Михаил Васильевич и говорит:

— Этому не давайте оружие.

Дружинник побледнел.

— Я разве отказываюсь, товарищ «Арсений»? — спросил он.

— Не отказываешься, но ты не можешь с нами поехать.

— Почему я не могу поехать?

— Потому что ты вчера был пьяный.

Дружинник побледнел еще больше.

— Товарищ «Арсений»...

— Не проси, не могу взять. Ты нарушил устав боевой дружины. Мы тебе доверим какое-нибудь важное дело, а ты опять можешь напиться пьяным.

Дружинник даже заплакал. Ему не хотелось оставаться. И он стал ругать себя за то, что пил вино.

— Товарищ «Арсений», возьми, — просил он, — я жизнью искуплю свою вину. Для революции я ничего не пожалею!

— Нет, жизнь терять не надо, она еще пригодится, — сказал Михаил Васильевич, — но взять тебя мы все-таки не можем. Когда справишься, тогда и поедешь. А бороться нам еще много придется!

Так и не взял Фрунзе в Москву этого дружинника.

ХИТРЫЕ СЛЕДЫ

Это произошло зимой, в Шуе. Большевики решили созвать большое совещание, чтобы обсудить, как дальше вести революционную работу. Стали думать, где лучше и безопаснее созвать это совещание?

Фрунзе уверенно сказал, что лучше всего им собраться в лесу. В город приехало много шпионов, и они могут обнаружить совещание. Тогда всех большевиков арестуют и посадят в тюрьму.

Когда Михаил Васильевич кончил говорить, кто-то заметил ему:

— Сейчас, «Арсений», в лесу еще опаснее. Нас могут по следам найти. Снег-то вон какой чистый!

На это Фрунзе сказал:

— Конечно, если идти без хитрости, то могут найти. Но мы должны перехитрить всех. Тогда ни казаки, ни шпионы не найдут нас.

— Ну, так ладно, тогда пойдемте в лес. А ты, «Арсений», веди нас. Покажи свою хитрость.

И вот большевики пошли за город, в лес. Они шли по одному, по-двое. Все были в овчинных полушубках и валенках. Сначала шли по дороге, а потом свернули влево и направились в чащу леса.

Примерно через полчаса из города мчались по этой же дороге казаки. Или кто сообщил им, или они сами выследили, только ехали затем, чтобы поймать всех большевиков на месте совещания.

Лошади были сытые, быстрые, и казаки скоро очутились далеко за городом. День был солнечный. Снег блестел так ярко, что на него нельзя было глядеть. Они проехали верст шесть, а следов никаких не видно.

Казаки попридержали лошадей, дали им успокоиться и опять помчались дальше. И опять ничего не видно. Только в одном месте влево с дороги прошел какой-то человек. Увидели казаки отпечатки ног и остановились. Глядят на следы и думают: «Наверно, человек пошел за дровами».

Казачий начальник говорит:

— Это совсем не то. Большевиков пошло много, поэтому и следов должно быть много.

И они поехали дальше. Но снег везде чистый, ровный. Лошади стали устывать. От них уже пар поднимался. Казакам хоте-

лось вернуться в казарму. Тогда один из них сказал начальнику:

— Я думаю, большевики пошли куда-нибудь в другую сторону. Не птицы же они, чтобы перелететь с дороги, — должны бы следы быть.

— Мне не интересно, что ты думаешь, — сказал грубо казачий начальник. — Я знаю, что они пошли по этой дороге.

Долго еще крутились казаки. Они то проедут дальше, то вернуться. Но следов больше так и не нашли.

Поглядели вторично на то место, где прошел человек в лес за дровами, и вернулись в город.

А следы эти были не одного человека. Именно здесь-то и прошли все большевики. Когда они собрались вместе, Фрунзе сказал:

— Я пойду в лес первым, а вы по очереди наступайте в мои следы. И никто не подумает, что прошло несколько человек.

Так большевики и сделали. Они вошли в лес, провели совещание, а казаки были в это время совсем рядом, но догадаться не могли, что большевики здесь же в лесу.

Вот какие хитрые следы придумал Фрунзе.

В ТЮРЬМЕ

Когда был арестован Фрунзе, то его посадили в центральную владимирскую тюрьму. Он сидел в одиночной маленькой камере.

Плохо было в тюрьме. Грязно, воздух скверный, солнца никогда не видно. А кормили черным хлебом да очень плохим супом, который ели только потому, чтобы не умереть с голоду.

Некоторые заключенные падали от этого духом, становились молчаливыми, грустными, тосковали по дому. А это уже плохо. Это значит, что борец из такого человека выйдет некрепкий.

Не таков был Михаил Васильевич. Он и в тюрьме оставался очень веселым, жизнерадостным человеком.

Бывало, выйдут заключенные во двор на прогулку; ходят, повесив головы. А если и разговаривают, то как-то тихо, словно боятся кого-то разбудить.

Но стоило только выйти Фрунзе, как все сразу изменялось. Он уже никому не даст даже минуты скушать. Он соберет всех и скажет:

— А ну, давайте в чехарду играть!

Люди стоят в нерешительности, переглядываются. А Михаил Васильевич торопит:

— Что ж, прыгайте, — я первый встану. Пошел!

Сначала один прыгал через него, потом другой, третий. И скоро все начинали играть. Подыметесь шум, смех, веселье. Люди воспрянут духом. Возвращаются в камеры совсем другими. Только и говорят между собой:

— Вот человек!.. С этим нигде не пропадешь!

Любил Фрунзе и песни петь. Летом окна в тюрьме всегда открыты, чтобы хоть немного освежить в камерах воздух. Михаил Васильевич подойдет к окну и поет сквозь железную решетку какую-нибудь хорошую русскую песню.

Он поет для себя и не знает, что в это время его слушают люди из других камер.

Кончит петь и отойдет от окна, а ему отовсюду начинают громко кричать:

— «Арсений», спой еще. Больно ты хорошо поешь!

И Фрунзе пел.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Царское правительство два раза приговаривало Михаила Васильевича к смертной казни. Оно знало, что Фрунзе очень крупный большевик, которого все рабочие любят больше, чем самих себя.

Поэтому царский суд вынес такой страшный приговор: повесить «Арсения».

Михаил Васильевич сидел в камере смертников. Вместе с ним сидело еще несколько человек. С течением времени их становилось все меньше и меньше, потому что приходили тюремщики и уводили по одному человеку во двор. Там их и казнили.

Это было страшно! Человеку не хотелось умирать, он не шел, упирался ногами в пол, кричал.

Но тюремщики хватали его, тащили из камеры, колотили сапогами, винтовками.

— Прощайте, товарищи! — кричал человек. — Прощайте!

Оставшиеся в камере плакали. Они знали, что завтра или послезавтра их тоже уведут и повесят во дворе тюрьмы. А они были молодые. Вся жизнь у них была впереди. Им не хотелось умирать.

А Фрунзе и в камере смертников был спокоен. Конечно, он жалел своих товарищей больше, чем другие. И тоже плакал, когда уводили кого-нибудь вешать. Он даже подходил к товарищу и, прощаясь, крепко целовался с ним.

Но Михаил Васильевич не хотел, чтобы все видели, как он плачет о товарищах, как ему жалко их. Он старался казаться внешне спокойным.

Обычно Михаил Васильевич сидел за маленьким столом, вделанным в стену, и работал целый день: он читал книги, изучал английский язык.

Сидевшие с ним в камере удивлялись и спрашивали:

— Как ты, «Арсений», можешь изучать английский язык? Ведь может быть тебя завтра повесят!

— Так это завтра, — отвечал им Фрунзе. — А сегодня-то я жив? А если жив, я должен заниматься.

— Да ведь сердце-то беспокойное.

— Надо успокоить, товарищи.

— Трудно.

— Конечно, трудно. Понимаю. Но успокоить можно. Большевик должен оставаться настоящим большевиком до тех пор, пока он жив.

— Это правильно, — говорили ему товарищи и немного успокаивались.

Однако царские тюремщики не решились повесить Фрунзе. Они испугались рабочих. Рабочие протестовали и требовали освободить любимого «Арсения». Но его не освободили, а увезли в другую тюрьму, а потом выслали в ссылку на четыре года.

Отсидев четыре года, Фрунзе вернулся к революционной работе.

В. ПОЛТОРАЦКИЙ

ВСТУПЛЕНИЕ К ПОЭМЕ

... Уже нам в лица дует
Воспоминаний слабый ветерок.
Эд. Багрицкий.

Пора, пора...

А, кажется, давно ли
Бумажный змей взлетал под облака,
Нас новичками называли в школе,
Мы в перышки играли — и пока

По молодости лет еще не знали,
Что встретятся на жизненном пути
Сомнения, невзгоды и печали,
Которые никак не обойти.

Домишек ветхих деревянный ряд,
Что протянулся вплоть до семафора
(Здесь жили машинисты, слесаря,
Деповские, — как величал их город).

Да фуксии на низеньких окошках,
Забор, скворешни невысокий шест,
Поросшую сурепкою дорожку
Через сады на ближний переезд,

За полосою отчужденья дачку
Да тополь у засохшего пруда,
Две будки, эстакаду, водокачку
Мы называли родиной тогда.

Жизнь, не спеша, брела своим порядком,
А с ней в обнимку — горе да беда.
Как новая заплатка на заплатку,
Ложились дни, недели и года.

Отцы полмесяца ходили туча-тучей,
Пропахшие махорочным дымком.
Вздыхали часто.

И лишь в дни получек
На время забывали обо всем.

В компанию сходились, пили водку,
Играли в карты, с горя били жен.
И властвовал над маленькой слободкой
Огромный рыжеусый «фараон».

А детство шло...

Всему приходят сроки.
Уж мы не те, но все-таки сейчас
Мне хочется, чтоб через эти строки
Мальчишками вы увидели нас.

Пройдя через горнило испытаний
И в мир заботы проторив свой след,
Я сохранил тепло воспоминаний
И ощущение первых детских лет.

Я помню запах первой папироски,
Украденной у строгого отца,
И слезы матери, и первый жесткий
Упрек, смутивший юные сердца.

Была война. Грозой дышало небо.
Калеки ковыляли по дворам,
Выстраивалась очередь за хлебом,
И, как былинки, сохла детвора.

Мы ссорились из-за какой-то корки,
Забыли вкус и запах молока.
Все чаще в наши ветхие каморки
Стучалась голода костлявая рука.

Росла над нами черная тревога,
Последний отблеск радости угас.
И матери в слезах молили бога,
Чтоб он, как милость,
смерть послал для нас.

А мы росли.

Так вырастают летом
Цветы среди бурьяна и камней.
Как странно вспоминать теперь об этом,
Какой далекой кажешься ты мне,

Зеленая пора обиженного детства.
Года идут, не крикнешь им — стой!
Стареем мы...
Но никуда не деться
От памяти глубокой и простой.

И прошлого проклятое наследье
Еще живет, еще тревожит нас.
Оно в крови гудит тяжелой медью,
Морщинками собирается у глаз.

И на висках уже следы мороза.
А потный спрут тяжелых прежних лет
Протягивает щупальцы невроза...
Но мы живем.
И не сдадимся, нет!

Мы увидали, что Великий Мастер
Для нас
в бессмертье прорубает дверь.
Мы крепкими руками взяли счастье,
Мы называем родиной теперь

Прекрасную страну.
И в этом милом слове
Горит любви священная звезда,
И юношеский жар,
и сила нашей крови,
И будущего ясные года.

Нас дерзость
подняла и окрылила
И повела,
призывно в рог трубя...
За все, за все, что не было и было,
Судьба моя,
благодарю тебя!

НА СМЕРТЬ МИЧУРИНА

Ночь отступает.
Утро.
Вестницею рассвета
На молодые рощи
Тихо идет роса.
И ветки тревожно шепчут:

— Где же садовник?

— Нет его,

Он навсегда покинул

Буйно цветущий сад.

Сердце, которое жарко

Умело любить природу

(Как оно согревало

Нежные лепестки!

Как оно жить хотело

Радостней год от году!),

Наполнилось холодом смерти

И тишиной тоски.

Вишенник в знак печали

Роняет чистые слезы,

Осиротевшие яблони

Преклоняют листы.

И утренний теплый ветер,

Который на радость создан,

В неисчерпаемом горе

Над черным гробом застыл.

Но даже в эту минуту,

Когда мы тоскою ранены,

Ростки поднимаются буйно,

Крепки, молоды, свежи...

А это, товарищи, значит —

Над холодом умирания

Встает, торжествуя,

Вечная Жизнь.

И в каждом ее биении,

Радующем природу,

В плодах.

Что внуки счастливые соберут,

Живет горячее сердце

Ушедшего садовода,

Его любовь,

Его радость,

Его долголетний труд!

ПРЕДЧУВСТВИЯ

Он был печален и имел
странные предчувствия...
А. Пушкин.

Предчувствия томят и давят грудь,
Трепещет сердце пойманною птицей.
Уйти совсем, бежать куда-нибудь,
В кругу друзей испытанных забыться?..

Столица та ж — и сплетни, и балы,
И сплин, изделие английского клуба.
Молчалины усердно трут полы,
И шпорами бряцают Скалозубы.

В глазах туман, замешанный свинцом,
Не в память ли декабрьской картечи?
И не с кем перекинуться словцом,
Простым, на человеческом наречьи.

Фаддей Булгарин? Старый хрыч — шпион...
Вот к Пушкину поехать хорошо бы.
И вдруг с улыбкой вспоминает он:
Еще жива Катюша Телешева.

Ах, милый друг! Бывало вместе с ней
Входила в душу тихая отрада.
Не вспомнить ли дела минувших дней?
Она ему, пожалуй, будет рада.

Но это ж моветон, — прилично ли ему?
Пойдут, конечно, толки, сплетни, слухи.
Теперь примериваться надлежит к тому,
Что выдумали здешние старухи.

Заметил он: черствеет молодежь,
В гостиных стало чопорней и суше.
Ни шуткой, ни стихом их не проймешь,
Когда повсюду уши, уши, уши...

Здесь лесь еще хозяйкою живет,
И крепко пахнет обжитым, прошедшим.
А намекни, — и тут же светский сброд,
Как Чацкого, объявит сумасшедшим.

Суровы здешние законы бытия,
И будошники и министры строги.
Но дым отечества нам сладок и прия...
А, чорт возьми! Скорее бы в дорогу.

Но теплой кровью пахнет дальний путь,
Волнуются базары Тегерана,
Глаза царя мерцают из тумана...
Предчувствия томят
и дают грудь.

НОЧЬ

Вино не допито, свеча не догорела,
Сюртук отброшен в угол... Тишина.
В окно заглядывает то и дело
Холодная, ущербная луна.

Друзья ушли. Поручику не спится.
Он сел к столу и в душу бросил взгляд, —
Чернилами забрызгана страница?
Нет, кровью!.. А ему вот говорят:

«Да брось, Мишель, ну что ты в самом деле —
Не нами начато, не нам дано кончать, —
Глуши вино, пиши в альбом Адели,
Влюбляйся. Остальное наплевать».

Друзья, они едва ли понимают, —
И он не знает, как им рассказать, —
Что даже здесь, вдали родного края,
За ним следят холодные глаза.

Проклятое всевидящее око!
Злорадное, оно еще вчера
В спокойствии надменном и жестоком
Смотрело, как Рылеев умирал.

Ах, было все задумано заранее, —
Оно, конечно, знало наперед,
Чем кончит Грибоедов в Тегеране,
Что Пушкина Дантес убьет.

Да и теперь понятно их стремление:
Они давно хотят наверняка
Случайной пулей прекратить сомненья
Поручика драгунского полка.

Но разве только подлость в этом мире?
О, нет, он знает очень хорошо,
Что человек, как им воспетый Мцыри,
К свободе рвется гордою душой.

А родина? Среди ее равнин,
Среди печали деревень и пашен

Он не чужой, не пришлый. Не один
Он пьет царем отравленную чашу.

Не скоро час возмездия пробьет.
Но он пробьет!..

А между тем светает,
Луна плывет и за горою тает,
Уж в третий раз горлан-петух поет.

Косые тени отступают прочь.
Приходит казачок
И как всегда с укором:
— Михайло Юрьевич, а вы опять всю ночь...
Уж зорю, сударь, заиграют скоро.

АЛХИМИК

Ночь. Тишина. Лишь он один не спит.
В ретортах замкнуты немые силы Сферы.
Под колбою дрожит голубоватый спирт,
И медленно ползет тяжелый запах серы.

Над очагом стоит, недвижим, глух,
Седой старик, в лице не видно крови.
Но взгляд зрачков горячих не потух,
Косматые чуть шевелятся брови.

Он в тайны кабалистики проник,
Постиг абракадабру заклинаний
И чернокнижья выучил язык
Во имя фантастических мечтаний.

Уже седьмую ночь он гонит сон.
В его душе зажжен исканья пламень.
Он ревностно следит, когда пожрет дракон
Свой желтый хвост. И философский камень —

Плод чародейства, целой жизни плод —
Возникнет в блеске чудного металла.
И мир в улыбке счастья расцветет,
И новых сил исполнится усталый.

Бессмертия живительный родник
Блеснет водой глубокого колодца.
Но тщетны все усилия... Старик,
Вон с полки череп над тобой смеется.

Улыбка вечности. Она бросает в дрожь.
Ведь с мудрой пронизательностью мертвых
Он знает, что и ты когда-нибудь умрешь,
Склонившись над загадкою реторты.

Сосед-горшечник встанет у дверей,
Твой маленький мирок оглядывая тупо,
Потом откроет ставни поскорей
И будет философствовать над трупом:

— Вот, — скажет, — ты искал бессмертья эликсир —
И поделом послал тебе всевышний...

Жил в нищете и умер наг и сир,
Уж делал бы горшки, оно куда барышней!

Нет, ты — поэт. Из тысячи дорог
Труднейшую ты выбрал без сомненья.
Благословим же жизнь исканий и тревог,
Припомнив трудный подвиг вдохновенья!

ВЕСНОЙ

Весна идет с приветом,
А ты — больна.
Голубоватым светом
Кровать озарена.

Больничный грустный столик,
Часов унылый ход,
А за окошком в поле
Уже ручей поет.

Поют, звенят капли,
Светла луна,
А ты лежишь в постели,
А ты — больна.

И мне всю ночь не спится,
Но я боюсь ходить,
Чтоб скрипом половицы
Тебя не разбудить.

Как грустно, одиноко...
За эти девять дней
Твой робкий черный локон
Мне стал еще родней.

Склонившись осторожно
Над жаркой головой,
Я слушаю тревожно
Бессвязный шопот твой.

От лунных бликов белые
И тонкие черты...
Я не уйду, я сделаю,
Чтоб встала ты.

Среди лугов некошенных
С тобой вдвоем,
Любимая, хорошая,
Опять пойдем.

Под синим небом родины
Как хорошо идти!
Не пройдены, не пройдены
Твои пути.

ЭЧМИАДЗИН

У храма старого, на солнцепеке,
Где каменных гробниц упрямые горбы,
Оставленные кем-то без опеки,
Два ослика стоят у сломанной арбы,
Да черный, с четками в коричневых руках,
Уснул монах.

Здесь вечность бы нашла себе приют,
Седая тишина глядит на мир из окон.
В колодце струйки тонкие поют
О старости глухой и одинокой.
Стена монастыря в оранжевом плеще,
Как бы в плаще.

На плитах каменных лежит столетий след,
В расщелинах трава, поникшая от зноя.
И кажется, что в целом мире нет
Такого одичалого покоя.
На всей земле есть только он один —
Эчмиадзин.

ДЕРЕВЬЯ В ИНЕЕ

Деревья в инее торжественны и строги,
Прекрасен их серебряный наряд.
И звезды над раздумием дороги
Голубоватым пламенем горят.

Деревья в инее. И тишина такая,
Что слышу я, как в дальней стороне,
Над колыбелью песню напевая,
Грустят и вспоминают обо мне.

М. и А. ЗАЙЦЕВЫ

БАРХАТНАЯ КНИГА

Роман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Зимний день незаметно переходил в вечер. Падал редкий пушистый снег.

Лес кончился. Вдали за рекой зачернели избы. Кибитка, запряженная парой, спускалась с горы к мосту.

— Это и есть Тайково-то, парень? — сказал седок, выглядывая из высокого ворота тулупа.

— Оно самое... Вотчины графьев Алсуфьевых... Поди повечеряли уж, — ответил возница.

Проехали высокий мост. Мимо кабака и мельницы лошади стали медленно подниматься в гору.

По тихой, широкой улице подъехали к обширному, в два жилья, каменному дому против церкви.

Старик в полушубке, видимо сторож, готовился запирать ворота в каменных столбах, но замедлил, впуская приезжих, и крикнул вознице:

— Ты, Никит, Логинычу доложись, что приехал, мол, привез. Он наказывал крикнуть. А сам-от, Ларион Петрович, у всеобщной...

Кибитка остановилась у крыльца дома. Приезжий ходил около нее, разминая ноги и стараясь разглядеть окружавшие большой двор строения.

«Широко живет Ларион Петрович: что поместье богатое, — думал он. — А это не иначе как набоечная и есть», — решил он про длинное строение в углу двора, с тускло мерцающими окнами.

Во дворе чувствовалось оживление. В темноте мелькали фигуры людей. Кое-где отворялись двери, обрисовываясь тусклым светом. Через раскрытые ворота сарая слышался разговор.

— Что, Никит, в Иваново гонял? — спрашивал кто-то.

— Ну да, в Иваново... Красовара привез, — неохотно ответил Никита.

На колокольне коротко прозвонили. Кончалась всенощная.

Откуда-то сбоку подошел человек в сопровождении Никиты.

— Пожалуйте, батюшка... С приездом. По здоровью ли доехали? — обратился он к приезжему.

— Ничего, доехали, слава богу. Всю почти дорогу от Иванова за обозом шли, ну и припозднились, а то засветло бы приехали... Приказчиком, что ль, будете у Лариона Петровича?

— Приказчиком, батюшка, приказчиком... Никита, давай, браток, вноси в подклеть поклажу-то.

Через низкую дверь рядом с крыльцом вошли в нижнее жилье. В темноте прошли коридором и оказались в небольшой, низкой, под сводами, горнице, с изразцовой лежанкой в углу.

— Это вот и будет ваша горенка, сударь. Не взыщите, не знаю вашего святого имени.

— Федор Андреич.

— Ну, вот, Федор Андреич, буду знать. Может, бог даст, проживем — спознаемся... А меня Иваном звать, Логиныч по отчеству. Располагайтесь, как душеньке вашей будет угодно. Отдохните с дороги-то. С утра протоплено, Ларион Петрович наказывал, угара бы, дескать, не было... Хозяин придет, кверху пожалуйте.

Не успел Резников развязать свои узлы и чемоданы, как шустрая девчонка, отворив дверь, позвала его наверх к хозяину.

Наверх вела пологая лестница с резными дубовыми перилами, слабо освещенная одной свечой в настенном канделябре.

Ларион Петрович встретил приезжего у лестницы.

— Милости просим, Федор Андреич, дражайший мой... Милости просим. В горницу...

При разговоре он суетливо потирал руки, разглаживал небольшую бородку. Небольшие глазки перебежали по сторонам.

В горницу ввел гостя под руку и, усаживая за накрытый стол, сказал:

— А я уж, признаться, заждался тебя, Феденька. Еще к введению поджидал. Думал, не случилось ли чего дорогой-то? Пошаливают у нас!..

— Ничего, все слава богу, почтеннейший Ларион Петрович, доехали благополучно. Пути поджидал... Осень-то какая была. По первопутку и тронулся. Подивился я дорогой-то. Почитай, от самого Иванова все лес и лес... Где-где только полем переমেжится, глядишь, деревенька стоит, и опять лес, зверья, чай, сколько всякого?

— Это тебе, Федор Андреич, после Москвы показалось дико-то... А лесу, правда, много. Кругом в лесу живем. Лес да болото. Медведи, бывает, по ночам в село заходят, а волки, так те зачастую. Охотников-то мало по нашим местам. Мужики все больше домашним промыслом занимаются, ну да у меня работают на фабрике. А здешней вотчины граф Алсуфьев живет в Петер-

бурге да Москве. Соседние помещики господа Бекетовы и Блудовы те охоту имеют. Да ведь господское дело, когда вздумают, тогда и на охоту едут. А так чтобы много бить зверья — не слышать... Да ты кушай, кушай. Протрясло наверно дорогой-то? Рыбки-то поешь. А может, чарочку выкушаешь? С дороги-то, а? Хоша и пост сейчас, но с дороги сущим разрешается.

— Не уважаю я, Ларион Петрович, разве так когда, по случаю.

— Ну, ну, ничего во благовремении... Со свиданием и с праздником наступающим. — Ларион Петрович выпил, поморщился и закусил грибком. — У нас завтра престол, — Миколу зимнего празднуем.

В комнату вошел Логиныч.

— Сударь Ларион Петрович, там вдова Матрена твоей милости добивается, на харчишки не дашь ли за Тимофея ейного, — обратился он к хозяину.

— Что ее в полночь-то носит? Перед всенощной дача была, шла бы.

— Да вечер в лесу, вишь, пробыла, опоздала, а завтрава праздник.

— Скажи, мол, хозяин с нужным человеком занят. А Александра Мефодьевна почивает, небось. Завтра бы приходила, после ранней, скажи... Она у Тимки ночует, что ль?

— Да ночует, видать.

— Так завтра, после ранней шла бы. Да за сторожами-то поглядывай, Логиныч. Все ли из фабрики-то разошлись?

— Все, сударь. Все. Евсей Семеныч запер уж...

— Да в работной-то огня бы не жгли. Того и гляди спалят.

— Не сумлевайся, батюшка Ларион Петрович. Сон-то у меня птичий... Раза три выйду за ночь-то. Не сумлевайся... Прощенья просим.

Поклонившись низко, Логиныч вышел. Резников, прислушиваясь к разговору, разглядывал горницу. В переднем углу киот с дорогими иконами и лампадой перед ним. По боковым стенам горки с посудой.

— Приказчиком состоит Логиныч-то? — спросил Резников.

— Приказчиком. Больше по торговой части держу да по хозяйству, — отвечал Ларион Петрович. — В фабрике у меня друтой помогает, Евсей... Оба давно уж работают.

Резников, проголодавшись за день, охотно ел все, что было подано на стол.

Ларион Петрович оживленно рассказывал:

— Так-то, дражайший мой Федор Андреич, и живем мы здесь в медвежьем углу. С народишком трудно стало... Вольничают. Кругом глушь. До города зимней дорогой 35 верст, а летом в объезд болот и все пятьдесят наберется. Слыхал, поди, проезжая, что в Иванове-то делается. Почитай, что не неделя, то поджог, то разбой. Лет пятнадцать назад пол-Иванова выгорело, а лет через пяток пожар еще пуще, чуть не все село сгорело. Все фаб-

рики почти спалило. А все поджоги... И то сказать, людей, по мастерству знающих, мало, вот и берут всяких: и беглых и осторожных... Свои-то мужички бога помнят, а эти, пришлые-то, — не приведи бог... А ты кушай, Феденька... Чарочку-то выкушай. Ну, с начатием дела. Дай господи, чтобы все честь-по-чести.

Резникова от вина и усталости клонило ко сну. Хотелось поговорить о службе, о работе, но словоохотливый Ларион Петрович продолжал рассказывать, изредка наливая по чарочке.

— Приехали мы сюда, Феденька, скоро двадцать лет будет тому, с покойным братцем Иваном Петровичем, — царство ему небесное. Не привел бог братцу на свете пожить. Почитай, в два дня скрутило. Что поделаешь — на все воля божья... Сироты остались, малец да девочка. Вот теперь со сношенькой, Александрой Мефодьевной, и дело ведем. Пока не деленные, а там, что господь даст. Однако доли у нас равные, и должен ты, Федор Андреич, почитать вровне меня и Александру Мефодьевну. А мы уж тебя не обидим. Как уговор был, после праздника в город поедем, там и контрактец напишем. А там с богом и за дело примемся.

Ларион Петрович, чуть-чуть охмелевший, перешел, наконец, к делу — о постройке ситцевой фабрики. Рад он был с новым человеком поговорить, с человеком нужным.

Еще Иван Петрович в последние годы много думал о постройке фабрики. С знающими людьми советовался, приглядывался. Набойка по холсту масляной краской все труднее сбывалась. Пошли ситцы бумажные. И не масляными красками набитые, а заварными. Спрос на них с каждым годом увеличивался. Набойка масляной краской стала мало давать прибыли. Набойку всяк работает. Какой мужик, а и тот у себя в избе соткет новину да сам ее и набьет. Вот и в соседнем селе Иванове, — многие с горшков начали, еще неуказную набойку тайком работали, а теперь тоже на выбойку да на ситец переходить собираются. Прибыльнее. Поди, как богатеют ивановцы. Даром, что крепостные, а и сами крепостных у себя имеют, по сотне и по две рабочих людей держат. Палаты каменные понастроили.

Набойку выделывать давно всем разрешено. Место здесь подходящее, речка хоть небольшая, но вода хорошая, для красильни пригодная. Сейчас же за селом, на берегу реки, против деревни помещика Васильева, и место облюбовано для фабрики, и земля куплена покойным Иваном Петровичем.

Много трудов стоило Тележниковым землю купить. Из двух помещиков в селе граф Алсуфьев наотрез отказался подходящую землю продать, предлагая продать болото. Но от болота Тележниковы отказались. Другой помещик, Васильев, на продажу земля тоже неохотно шел, да к счастью Тележниковым в карты проигрался, тогда и на продажу согласие дал, лишив своих мужиков покоса.

За разговором не забывает Ларион Петрович старательно потчевать гостя. Обходителен, радушен Ларион Петрович, не узнать.

Умеет с нужными людьми обойтись. А гость — человек нужный. Красовар для будущей ситцевой фабрики. Без него в этом деле ни шагу.

Проводив гостя, Ларион Петрович накинул полушубок и вышел во двор. Прислушался, стоя на крыльце. Кругом было тихо, лишь у задних ворот заливались собаки. Сторож, заметив человека на крыльце, забил в доску. Ларион Петрович взглянул по сторонам, — кругом темно. Только вверху, на половине Сашеньки, мерцал огонек. «Не спит», — подумал Ларион Петрович, вздохнул и пошел в дом.

II

На утро, в Николин день, Резников хотел встать пораньше, чтобы успеть к заутрене, но проспал. Шла ранняя обедня, когда он вошел в ярко освещенную церковь. Без труда протолкавшись вперед, он встал с краю правой, мужской, половины.

Перекрестившись и отдав несколько поклонов, стараясь это делать вместе со всеми, он стал затем креститься изредка, развлекаясь разглядыванием окружающих и церкви. Впереди, налево, несколько особняком, стояли старушка низенького роста и очень стройная молодая женщина. Мальчик лет шести стоял между ними. Резников догадался, что это Тележниковы.

«Неужель эта молодая-то и есть Александра Мефодьевна?», — удивленно подумал он.

Федор старался разглядеть молодую женщину внимательнее, но она, не оглядываясь, стояла, откинув слегка голову и по временам одергивая мальчика, когда он заглядывался по сторонам. Среди одетых в зипуны и кафтаны людей она, без шубки, в темном, городского покроя платье, казалась особенно привлекательной.

К концу службы к ним подошел и Ларион Петрович, до этого, как церковный староста, стоявший за свечным ящиком. Какая-то старушка с крупными чертами лица, протискавшись откуда-то сзади, принесла верхнюю одежду, и Тележниковы стали одеваться.

Избегая толкотни и давки при выходе, Резников поспешил выйти. На колокольне редко перезванивали колокола. Морозным воздухом дышалось приятно после духоты в церкви. Он отошел в сторону, пропуская мимо себя поток богомольцев.

Среди выходящих показались Тележниковы. Ларион Петрович, обернувшись, перекрестился на образ и надел шапку. Александра Мефодьевна замедлила, раздавая медяки окружившим ее нищим.

— Милостивица ты наша... Ангел ты небесный. Пошли тебе господи!.. — слышалось протяжное причитание нищих.

Ларион Петрович, поравнявшись с Резниковым, заметил его.

— А! Федор Андреич! С праздником, дражайший мой! Как помолился?

— И вас также, сударь Ларион Петрович, с праздником... Как

же, помолился.. Благолепный храм у вас. Не в каждом городе такой встретишь.

Похвала Лариону Петровичу понравилась.

— А ты, Федор Андреич, за поздней певчих послушай, — сказал он хвастливо, — красота. Благолепие!.. Как тропарь празднику выведут али херувимскую, — заслушаешься. Сашенька!.. Александра Мефодьевна! — обернулся он к подходившей невестке. — Это вот красовар наш будет, Федор Андреич. Вчера вечером прибыл.

Резников снял шапку и пожал протянутую руку.

— Я еще в церкви догадалась, что это вы. У нас люди-то все наперечет, нового-то человека сразу заметишь, — свободно и просто проговорила Александра Мефодьевна.

«И когда только заметить успела, — подумал Федор, — ведь, почитай, и не оглянулась ни разу».

— Закусить для праздника пожалуйста, Федор Андреич, после обедни-то, — пригласила она.

Ларион Петрович поддержал приглашение:

— Как же, как же, всенепременно заходи, Федор Андреич. Прошу покорно.

III

После обедни Резников поднялся кверху. В горнице сидели священник Егор, широкий в костях, с густой бородой, и дьякон Апполинарий, пришедшие со святом.

Александра Мефодьевна в конце стола разливала чай. Стол обильно уставлен постными закусками: пироги, пряженцы, икра разная, щука заливная, грибы, моченая брусника с яблоками, графинчик с водкой.

Выпили по чарочке.

Разговор зашел о Москве. Отец Егор расспрашивал Резникова, что в первопрестольной слышно, что про войну пишут «Ведомости». Федор все рассказал, чего наслышался в Москве.

Когда графинчик опустел и Ларион Петрович собирался добавить его, священник и дьякон поднялись уходить, — торопились по домам со святом. Ларион Петрович стал просить дьякона «Многая лета» возгласить, и когда тот, набрав воздуха и откинув голову назад, гаркнул так, что хотелось зажать уши, Ларион Петрович по-хозяйски расхвалил его:

— Ну и голос! Быть бы тебе, отец Апполинарий, протодьяконом, только врешь, — не отпущу я тебя отсюда. Нет, брат, не отпущу. Украшение ты храма. До преосвященного дойду, а не отпущу.

Вместе с гостями вышел и Резников.

Спустившись вниз, в свою каморку, Федор думал лечь отдохнуть, но вошел Логиныч. Для праздника он был одет в шелковую рубашку. Смазанные маслом волосы приглажены. Даже черная борода выглядела опрятнее. Поздравив Резникова с праздни-

ком, он стал звать его к себе праздничного хлеба-соли откусывать, не погнущаться. Федор охотно пошел с ним в соседнюю каморку, которую Логиныч занимал с женой Дарьей Семеновной, не старей еще женщиной. Здесь праздничное угощение было попроще. Но пироги с вязигой были хороши, не хуже хозяйских, и когда Резников похвалил, Логиныч, указывая на жену, сказал:

— Она у меня мастерица... Она и стряпущей у хозяев ведает. Стряпки-то — чистые чумички, ни те чистоты, ни те вкусу.

— Ну, уж ты, Логиныч, скажешь. Чай, не поварила я.

Дарья Семеновна участливо выспросила — семейный ли Резников, и узнав, что нет, спросила, где жить думает устроиться. Посоветовала жилье снять на селе.

— Только вот где бы вам поспокойнее-то да почище устроиться, — не придумаю. У работных все больше избы-то черные, да и темнота. Тут тебе и телята, тут и куры... Набойщики и хорошо, чисто живут, да не пустят постояльца-то, не нуждаются, богато живут. Не иначе, как у Демьянихи, у дьячихи, вам квартиру-то снять. Домик у нее небольшой, да боковушка теплая есть. И семья небольшая — сама друга с дочерью.

Резникову жить в хозяйском доме не хотелось. Стеснительно на глазах у хозяина, хоть и говорил Ларион Петрович, что он поселит его у себя «на всем спокойе». Дарья Семеновна рассказала, что домик дьячихи рядом почти, враз за церковью, на поповом посаде.

— И сама Демьяниха женщина ничего, хорошая. Языком любит иной раз потрепать, да где среди нашей сестры без этого. А дочь уж в годах, перестарок. И хорошая девка. Удная да красивая, а не дал господь судьбы. Видно вековухей жизнь вести приходится. А рукодельница какая Настенька-то! Кружева плетет, по канве вышивает и на пяльцах шьет, — рассказывала Дарья Семеновна сочувственно.

— Что ж так, зачем же замуж-то не вышла она? Аль изъян какой в девке-то? — спросил Резников.

— Бесприданница, батюшка Федор Андреич, вот судьбы-то и не вышло. Да и что сказать: за кой-то кого, видно, не охота была итти, за тяглова-то. Как-никак благородными себя считает Демьяниха-то. Из духовного они, вишь, звания. А благородного-то жениха где здесь возьмешь, по нашим-то местам?

Обещала Дарья Семеновна на утро сбежать к Демьянихе — не возьмет ли, дескать, постояльца заезжего.

Когда отдохнувши и проспав часа два, Федор вышел на улицу, чтобы праздник посмотреть, а заодно и село, — улица была людна. Из изб выходили семьями гости. Девки, взявшись под руки, ходили рядами. За ними, также рядами, шли парни. Народ все рослый, румяный, даром что на ржаном хлебе да на горохе выросли. Где-то слышалась балалайка. Отовсюду говор, смех. Попадались пьяненькие, — видно праздничная брага хорошо удалась.

Резников не спеша прошел по улицам, с любопытством разглядывая окружающее. Село не было похоже на обычные села.

Большинство изб — черные, под соломой. Один посад улицы новее, чем другой. «Видно, пожар не так давно был», — подумал Резников. Среди убогих изб особенно выделялись высокие дома на подклетьях, с тесовыми крышами. А посреди села, перед церковью, — богатый, по-городскому, дом Тележниковых.

«Село — не село, город — не город и деревня — не деревня, — рассуждал Федор. — Здесь поглядишь — настоящий город, там — вроде села богатого, а там — на самую захудалую деревушку похоже».

Встречные провожали Резникова любопытными взглядами. Старухи останавливались, поравнявшись с ним, и откровенно разглядывали. Слышались приглушенные голоса: «Красовар, красовар новый на фабрику приехал».

Всеобщее внимание не понравилось Федору, и он повернул обратно.

На реке слышался шум. Парнишки один за другим спешили туда, крича по дороге:

— На буй!.. На бу-уй!.. Буй зачинается!..

Резников спустился к реке. Из переулков группами сходились мужики, а изредка виднелись кучами и бабы. На льду реки мальчишки шли стенка на стенку. Взрослые пока собирались зрителями. Кое-кто подзадоривал дерущихся: хорошенько их, кашехлебов, — хорошенько!.. Молодец, Ондрейка. Так, так их, так!

— Не выдавай, ребята, наших!

Нет-нет да кто-нибудь и из взрослых уже снимает полушубок и кидается в сечу. Понемногу к мальчишкам присоединяются парни, потом молодые мужики, а там и постарше.

Вверху, у обрыва, пестрой толпой степенно стоят, не ввязываясь в буй, набойщики. Среди них Резников заметил и Лариона Петровича. Он что-то кричал, размахивал руками, тащил за рукава на реку упирающихся. Федор присоединился к толпе. Здесь было видней. Буй разгорался. Уже в стенках меньше стало мальчишек.

— Пойдем, сударь Ларион Петрович, домой, — стал звать хозяина подоспевший Логиныч. — Александра Мефодьевна, вишь, наказывала за добро убираться.

Разгорячился Ларион Петрович. У него и шапка слетела, кудри развеивает ветер. Так в буй бы и ударился. Да побаивается: кто их знает — недругов много, так разделают, что и дух вон. А там ноги, разбирайся.

Пришел староста с десятидворными, — вотчинный начальник прислал буй разгонять.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Когда-то, еще при Грозном царе, в Тайкове жил и владел им опальный боярин Тырков. У царя боярин попал в немилость и был сослан сюда, в свою вотчину. Огляделся здесь Тырков, об-

жил. Не надо было больше спину гнуть, по полу перед царем с шутами ползать. Никто не отдерет теперь за бороду, как на пирах царских с ним случалось. Здесь он всем господин. И мстил опальный боярин за свои обиды беззащитным холопам. По имени боярина и село в старину называлось Тырковым.

Тележниковы в числе многих богатых людей выехали из Москвы в 1771 году — в год моровой язвы. Иван Петрович в то время в гильдию за три души платил: жена Алена Ивановна, мать — старушка да брат Ларион, подросток.

Пока Иван Петрович собирался уезжать, с долгами разделывался, захворала и умерла Алена Ивановна. Это и ускорило отъезд.

В Москве он знал многих фабрикантов из села Иванова. Хоть и неуказные фабрики они имели, но втихомолку работали и продавали свою набойку не только по базарам и ярмаркам своей округи, но и в столицу дорогу знали. Во всех гостиных дворах можно было встретить ивановскую набойку.

В те времена от правительства такой указ был: «разных чинов людям без дозволения мануфактур-коллегии никаких товаров делать не дерзать и не отваживаться».

Попадется кто из ивановцев с неуказной набойкой в столице, — клянется перед полицией, что он на базаре ее купил, у кого — ни имени, ни звания того человека не знает, и где проживает тот человек — не ведает.

В год усмирения пугачовского восстания вышел другой указ: дозволялось всем и каждому «заводить всякого рода станы и производить на них всевозможные рукоделия, не требуя на то дозволения из высшего или нижнего места».

В жуткое лето московской чумы решил Иван Петрович поближе к Иванову переселиться. Самому набойкой заняться. Хоть торговля набойкой и прибыльна была, да все не то, что ее выделка.

Облюбовал Иван Петрович для своего дела село Тайково. Для фабрики место подходящее. Село хоть небольшое, да кругом что ни верста, то деревня. Крестьяне исстари по зимам в своих избах тканьем холстов занимаются: те, что поизворотливее, из своих холстов крашенину да набойку выдeldывают. В селе было два помещика, но здесь они не жили. Крестьяне не знали барщины, были на оброке.

В селе Иван Петрович лавочку поставил и стал красным товаром торговать, часто разъезжая по окрестным базарам и ярмаркам. Пообжился на новом месте, и у помещика, напуганного пугачовщиной, дом купил. Дом пустовал. Псарни да людские Иван Петрович вычинил, в порядок привел и завел в них свою набоечную. Скупать стал у мужиков холсты, полотно, от набойки отказывался — своей надо было место иметь. Понадобятся мужику деньги на оброк, Иван Петрович и оброк за него заплатит: «Зимой холстом отработашь», — говорил он.

Поначалу обрадовались мужики, дескать, есть теперь через

кого при нужде обернуться. Лишняя новина холста не залежится, Иван Петрович берет в любое время без отказа и чистыми денежками расплачивается. А деньги мужику во всякое время требуются: на соль, на деготь, на царские подати.

Опоздает мужик долг уплатить, не несет холст в срок, — Иван Петрович через вотчинное правление требует. Вотчинное правление, по приказу помещика, не теснило Ивана Петровича, во всем навстречу шло. Помещик нашел, что дело Ивана Петровича и ему небезвыгодно. Мужики богаче будут, а то земля плоха да и ее немного. Кругом леса, болота.

Года через два, как Иван Петрович завел набоечную, помещик оброк с мужиков повысил: вместо пяти рублей — семь с полтиной с души назначил. Не препятствовал помещик, когда люди и на фабрику к Тележникову нанимались. Оброки тут без недоимок шли. Иван Петрович сам их из заработанных денег удерживал и представлял в вотчинное правление.

Одна беда — людей знающих мало было. Особенно трудно было резчиков находить, что манеры резали, да набойщиков. Кто знал ремесло, норовил сам делом заниматься. С людьми грамотными, письменными — и того трудней. Во всем селе грамотей поп и дьякон еще. Дьячок и тот больше на память читает. Сам Иван Петрович грамоту плохо тоже знал. Только свое имя писать обучился. Поэтому-то брата Лариона и постарался Иван Петрович грамоте обучить. Вторая жена, Сашенька, грамотная попалась. Она и книгу домовую вела, в которую векселя да приход и расход вписывала.

Годы пугачовщины здесь позднее сказались. Доподлинно было известно, что Емельян пойман и казнен в Москве на Чортовом болоте. Каждогодно попы по церквам на четвертый день после крещения предавали его анафеме, а народ не верил. Толки упорные шли, что жив государь Петр Федорович.

С опаской жил Иван Петрович. Крепкие заборы каждую ночь сам оглядывал. Народ в селе озорной. Недаром разбойники кругом не переводятся, мужики укрывают их по деревням.

Бывало в округе, что и на помещиков в усадьбах нападали разбойники. В дорогу собираешься, — с родными навек прощайся. Недаром купцы просили царицу провожатых им в дорогу давать. На своих рабочих людей надежа плоха. Только набойщики казались понадежнее: хорошо зарабатывали, небедно жили. Вместо курных изб новые понастроили, с красными окнами, пятистенные.

От забот да трудов хлопотливых Иван Петрович старел. К шестидесяти годам длинные волосы, зачесанные назад, и борода стали, как серебро. Высокий, худой, со строгим, точно постоянно удивленным лицом, напоминал он какого-то угодника.

II

Год назад, перед рождеством, Иван Петрович собрался в город. Из Тайкова выехал с утра. Впереди — запряженная парой кибитка Ивана Петровича, сзади тянулись мужичьи подводы.

Не доезжая верст пяти до Бергусова, где собирались остановиться и кормить лошадей, у передней подводы лопнул гуж. Обоз остановился. В поле было холодно. Резкий ветер перегонял снежную пыль, забирался за воротник и рукава тулупа. Мужики ежились, хлопали рукавицами, переругиваясь между собой.

Иван Петрович велел кучеру ехать. «Дождусь на постоялом, здесь уж недалеко», — подумал он.

Лошади, чуя привычную остановку, шли ходко. Дорога была хорошая. Скоро кончилось поле, начинался небольшой лес. Дорога пошла вниз к реке по крутому спуску. Кучер начал сдерживать лошадей. Иван Петрович, наклонясь в сторону, всматривался вперед, нет ли встречных. Вдруг лошади рванули в сторону. Из-за кустов, рядом с дорогой, показался человек. Мельком Иван Петрович успел заметить заросшее волосами лицо да нето палку, нето ружье через плечо.

«Спаси, господи... Пронеси, господи», — мелькало в голове Ивана Петровича. Он хотел было высвободить ноги из-под меховой полости, хотел оглянуться назад — не гонятся ли, но кибитка вдруг ударилась боком о надолбу моста, накренилась, — и Иван Петрович с размаху вылетел в сугроб.

До смерти перепуганный, он медленно выкарабкался из снега, встал на ноги и, обернувшись назад, увидел, что с горы спускаются двое. Лошади с разбега взяли подъем на другом берегу и скрылись из глаз. Кучер, оставшийся в кибитке, гнал лошадей.

«Не иначе лихие люди. Вон... бегут... Не приведи бог погибнуть лютой смертью, без покаяния», — и старик в тяжелом тулупе и валенках, тяжело дыша, волоча по дороге лапами тулупа, побежал в гору. Сердце колотилось, стучало в ушах. Захватывало дыхание. Вот-вот упадет — и не встать. Но скоро показались лошади.

Кучер, видно, осмелел, остановил лошадей и вернулся за хозяином. Иван Петрович, как куль, рухнул в кибитку, махнув лишь рукой кучеру — гони, мол.

Только в Бергусове на постоялом дворе Иван Петрович пришел в себя. Раздевшись в горнице, он почувствовал, что весь мокрый, как купанный. Сердце все еще тяжело билось. Он с трудом дышал, сидя за столом. Кучер внес в горницу дорожный погребец.

— Не обессудь уж, батюшка Иван Петрович, не пойму, как это и вышло, быть, видно, греху. Не зашибся ли, ваша милость. Ведь вот грех какой...

— Су-кин... ты... сын! — с перерывами, задыхаясь, кричал Иван Петрович. — Говорил я тебе — тише, а ты что?!

— Не сдержал, батюшка Иван Петрович. Что поделаешь? Не клади вины на мою голову... С горы, главное... Кабы не с горы... Да и те разбойники-то, двое-то... кто их знает...

— Какие разбойники?.. Люди встретились, а ты, дурак, — разбойники. Откуда здесь взяться разбойникам-то, у овинов почти?

Долго отчитывал Иван Петрович своего кучера и, наконец, обещал дома с ним разделаться.

Ночью в Иванове, остановившись у знакомого купца, Иван Петрович почувствовал, что дорожная передряга не прошла ему даром. Покрытый сверх одеяла тулупом, он никак не мог согреться. Не помогла и чарка перцовки, выпитая им. Утром он не встал. Хозяин дома, обеспокоенный за гостя, не удерживал, когда кучер решил возвратиться с больным Иваном Петровичем в Тайково.

В пути больной бредил. Изредка приходя в себя, спрашивал, где они, и опять впадал в забытие. Кучер без отдыха гнал лошадей. «Умрет дорогой-то, — в ответе будешь. Хоть бы привезти домой заживо», — думал он.

Тридцать верст проехали за один уповод, и к обеду кибитка Ивана Петровича остановилась против крыльца дома. Выбежали мать, Феодора Андреевна, и жена Ивана Петровича, внесли в дом. Уложив больного в постель, Александра Мефодьевна, жена, осмотрела карманы, сняла с шеи его кису с деньгами. Иван Петрович деньги на шее под рубашкой носил.

Все было цело.

На утро очнулся Иван Петрович и прерывистым шопотом велел поа позвать. Причастили и соборовали Ивана Петровича, но примета, что больной после соборования поправится, не сбылась. Утром на следующий день Логинич снаряжал нарочных в Иваново и в город к знакомым купцам, а сам поехал звать прачт соседних сел на похороны.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Через два дня после праздника Резников поселился у Демьянихи.

Горенка понравилась ему, сверх цены даже полтину за стирку обещал добавить. Против московских и то вполцены. Демьяниха доходу радехонька, да и постояльцем довольна. Человек обходительный и рассудительный, видать.

— Табашным-то зельем не зашибаетесь, Федор Андреич? — спросила она его, помогая устроиться в комнате.

— Да есть грех, хозяйюшка. Аль у вас нельзя дымокурить-то?

Не хотелось Демьянихе, чтоб постоялец табаком занимался. Грехом она почитала большим это, а пришлось покривить душой и с табачным зельем помириться.

— Пошто нельзя? Можно! У меня покойник и то говорил — не то грех, что в уста, а то грех, что из уст. Не прежнее время, ныне и простой-то народ табачище сосет походя, — ответила она.

— А я слыхал, что бритоусы да табашники не войдут в царствие небесное, — улыбаясь, заметил Резников.

— Ну, это больше староверы говорят, батюшка, а мы православные исстари. Весь наш род православный. Духовные ведь мы... Цветики на окнах не мешают ли? — продолжала она. — А то можно и убрать, хоть правду сказать, и некуда. Оконца-то, вишь, малы в избе, да и те на закат... Да по мне хоть не будь цветов, только Настенька страсть как любит, ну и держим... Одна сырость от них... Диви бы цветки, а то листья одни, точно на дереве.

— Пусть стоят, не мешают, — согласился Резников, — только чур уж, хозяйюшка, поливать там, или что, за это не берусь. Не догляжу.

— Зачем поливать? Да Настенька не даст до них никому и дотронуться, все сама...

Вечером после ужина Демьяниха завела разговор — много ли церквей в Москве, да лучше ли они там против тайковских, да благолепно ли службу правят, видал ли митрополичье служение. Резников отвечал подробно, взглядывая по временам на Настеньку.

— Не придумая, что тебе, Федор Андреич, и стряпать-то, — раздумывала вслух Демьяниха, — чай ты в столице-то к разносолам разным привык, а у нас ведь запросто, да и пост к тому же...

Договорились, что разносолов столичных не потребуется. Было бы сытно да масляно.

Демьяниха по базару с бельевой корзиной стала расхаживать. Как на свадьбу, запасалась припасами. Бабы и рты разинули, — откуда это у Демьяниха капиталы такие появились. А как узнали бабы, — позавидовали счастью Демьянихи. Шутка ли! Получит деньги немалые, да и сама с дочерью будут сытехоньки от постояльцевых харчей.

Муки из всего базара не могла выбрать Демьяниха: то не бела, то будто пахнет плесенью. На мельницу не поленилась сходить, там и выбрала.

И в домишке дьячихи стало как-то пригляднее. На окна Настя повесила занавески, стол покрыла скатертью. Постоялец доволен, видать: стряпню похваливает. По вечерам на часок заходить стал к хозяйкам в горницу. А по праздникам с обедни до вечера засиживается, по приглашению Демьянихи.

— Скука ведь у нас свежемую-то человеку. Днем хоть по улице пройдешь, на людей поглядишь, а вечером только спать и остается...

Резников охотно проводил вечера за разговорами. Настенька в разговор редко вступала: сидит и слушает рассказы про городскую жизнь. Она казалась ей шумной и веселой, совсем не похожей на деревенскую. Федор, этот городской человек, так много знавший и видевший всего, казался ей необыкновенным. Совсем не то, что люди, среди которых она до этого жила и выросла. Украдкой она рассматривала худощавое, смуглое, с чуть насмешливой улыбкой его лицо и опускала глаза, встречаясь с его взгля-

дом. Частенько ее подмывало вмешаться и остановить мать, когда ей казалось, что говорила та слишком по-деревенски просто и о вещах скучных для городского жителя.

Сначала Демьяниха постаралась выведать, из какого рода да звания жилец, где проживать приходилось, да как к мастерству своему хитрому пристраститься мог он. Когда Резников рассказал, как он еще у отца работал в маленькой красильной, как его отец учиться отдал на фабрику к Козенсу, чтобы потом, подучившись, самим заведение побольше иметь, но что не судил бог: пока Резников учился, отец с матерью умерли, и начинать дело ему было не с чего, — Демьяниха заметила:

— Ну, лиха беда было делу научиться, Федор Андреич. Ваше дело вишь какое. Не век, чай, в услужении будешь. Приведет бог, поправишься и свое дело с божьей помощью заведешь.

— Да, признаться сказать, подумываю, хозяйюшка, — раздумчиво проговорил Федор. — Главное, конечно, в этом деле секрет знать. Без этого ни шагу. Краска, она своего требует. Ну, да пока об этом думать раненько еще. На два года я порядился с хозяином, чтобы дело поставить ему. Расчет подойдет, тогда, бог даст, и о своем деле подумывать буду.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

В годину по Ивану Петровичу справили богатые поминки. Собрались старики да старухи из окрестных деревень. Всех накормили досыта, и Александра Мефодьевна еще по копейке обделила всех, чтобы поминали покойника.

Под конец дня измучилась с хлопотами Александра Мефодьевна, а тут еще разнемоглась старая Феодора Андреяновна, видно, прохватило ветром на кладбище. Большую напоили сушеной малиной, и когда она уснула на горячей лежанке в своей горенке, Александра Мефодьевна села у себя в угловой комнате, рассеянно слушая сидящего рядом Петеньку. На листе синеватой бумаги он пером выводил буквы с рукописной азбуки. В соседней спальне напевала нянька, укладывая младшую девочку.

— А я к тебе, сестринька, — сказал, входя, Ларион Петрович, оглядывая горницу. Вид у него был серьезный, приготовленный к чему-то важному. — Поговорить нам надобно. Давно я мыслю с тобою разговор иметь, да все, вишь, помехи разные... Да и ты, признаться, не охотилась дело решать... А надобно, сестринька... Надобно, — говорил он отрывисто и неуверенно.

— Ну что же, говори, — и Александра Мефодьевна велела вошедшей няньке вести укладывать спать мальчика.

— Успеает в ученьи Петяша-то? — спросил Ларион Петрович, взяв со стола азбуку.

— Да словно бы успеает, — отвечала Александра Мефодьевна. — Часослов с Демьянихой начал, а со мной вот гражданскую

учит. Сегодня буквы писал: «живете» да «зело». Плохо что-то выходит все. Вот погляди, как намарал... Вон и собаку нарисовал: портит бумагу-то.

Ларион Петрович поглядел на лист, прищурившись, и нашел, что написано, пожалуй, что и хорошо.

— А это вот прочтешь, что написано? — обратился он к Петеньке.

— Это? Прочту! Маманя мне раз прочитала, а я упомянул. Это вот первая — «живете», а слева-то выходит — «житие». Так ведь, мамань?

— Так, так, милый. Ну, а дальше?

— Жи-ти-е стя-жа бла-го-че-стно, — по складам выговорил Петенька.

— Молодец! Молодец! — похвалил Ларион Петрович. — Вот и помни и учись: житие стяжа благочестно. — Ларион Петрович поднял кверху палец. — Великая в этом мудрость... Грамота худу не научит. Вестимо, кто не во зло употребит... Ну, а «благ блажи благое благому» — разумеешь, что это?

Петенька вопросительно поглядел на мать.

— Он этого не учил еще, — объяснила она.

Когда нянька увела мальчика, Александра Мефодьевна обратилась к Лариону Петровичу:

— Ну, что же, говори.

Ларион Петрович нетерпеливо шагнул по комнате.

— Да ты садись. В ногах правды нет, говорят... и не люблю, когда в глазах мельтешит.

Александра Мефодьевна сидела на диване, зябко кутаясь в платок. Ларион Петрович сел против нее.

— Разговор вот какой, любезная сестринька. Пытался я и ране дело с тобой решить, да ты, вишь, уклонялась все... Память по покойному чтела... Ну, да ведь не все о мертвом думать. Живой должен и думать о живом. Решение делу надо иметь... О делах не заботиться тоже и перед богом грех. Сколь народу около нашего дела кормится.

— Ты говоришь, Ларион, как поп проповедь читает, — чуть улыбнувшись, перебила его Александра Мефодьевна. — В деле, знамо, надо решать. Думала и сама немало я. Да не знаю, что делать-то. Не знаю, что сказать-то тебе. Сумею ли? Дело большое, хлопотливое, по нашему женскому разумению трудно и разобраться-то... Послушаю, что надумал ты.

— Благодарение богу, сестринька, не одна ты осталась при деле-то. С божьей помощью справимся.

Ларион Петрович взглянул на нее и, уловив как бы сомнение в ее лице, продолжал:

— А я то на что! Свой человек, не обижу, не бойсь. С делом досконально знаком. Все уж обдумал я, повыспрошал, где следует, знаю, как и что...

— Ну, ну, рассказывай, коли что надумал, — поощрила Александра Мефодьевна.

Ларион Петрович отвел глаза от ее лица, сосредоточился и, глядя вниз, как по заученному, начал излагать свои мысли. Женщина внимательно слушала его, не перебивая.

Первое, — им делиться не след. От этого будет только ущерб. Да Александра Мефодьевна по женскому делу и не справится. А чужого человека допускать, — кроме убытка ничего не получишь. Дело идет ходко, надобно расширять его. С набойкой труднее стало. Не легко сбывается. Надо на ситец переходить, выбойку делать, платки. Цены невпример выше набойки на эти товары. И спрос большой. Покупатель городской, денежный, за ситцем больше гонится, а мужик в дотомканной крашенине ходит — плохой он покупатель по здешним местам.

— Теперь мы что? — говорил Ларион Петрович. — Набоечную имеем, крашенину работаем, холсты скупаем. А господь, видать, опять недород посылает — озимь-то не взошла с осени. Считай будущий год без хлеба. Теперь, если по деревням пряжу сдавать на тканье, за гроши работать будут. Право.

Рассказал Ларион Петрович, что он уже вызнал пути, где пряжу купить бухарскую для ситцев, у кого материалы да краски закупать. С помещиком, графом Алсуфьевым, он еще летом говорил, благожелательно тот отнесся и обещал препятствий не чинить. Деньги залежные есть. Надо строить фабрику, как это было еще покойником Иваном Петровичем решено. Благословясь, за дело нужно приниматься.

Много раз все это передумал Ларион Петрович сам с собой. Плотно эти мысли у него улеглись в голове. обстоятельно изложил он их Александре Мефодьевне. Она внимательно слушала, подперев ладонями щеки. Изредка снимала нагар со свечей. По временам какие-то искорки перебегали в ее глазах, нето от слов Лариона Петровича, нето от затаенных мыслей. Ларион Петрович осторожно, издали начал наводить разговор на ее судьбу. Хотелось, чтобы она высказалась, как она думает собой распорядиться? Замуж ли собирается или думает вдовой век доживать? Но она отмалчивалась.

— Так, вот каковы, сестринька, мысли мои на сейчас, — заканчивая свою речь, сказал Ларион Петрович. — С братцем покойным дело это решено было. Я и красовара подыскал знающего. По случаю удалось. Главное дело секреты в красках знать. А при набоечном деле, масляными красками, его, красовара, и держать незачем. И без него обойдемся. Евсей с Тимкой управлялись — и впредь управились бы. Ведь три тысячи жалованья я ему отвалил. Подумай-ка! А меньше нельзя, не ехал. В других местах и дороже платят. В пай, бывает, берут. Да уж это дело неподходящее. Лучше слугу подороже купить, чем еще хозяина на шею посадить. Человек он точно бы ничего. Добропорядочный. Не пьет. В Москве хвалили мне его. Вот, бог даст, поставим красильню, тогда и подумать след, как с ним быть... Такие денюжки на дороге тоже не валяются.

— Так ведь когда фабрику-то поставим да пустим, так красо-

вар-то еще больше понадобится. Кто же будет краску-то варить? Ведь секрета-то у нас, как говоришь, никто не ведает,—высказала свое недоумение Александра Мефодьевна.

— На этот счет, друг мой, мысль я особую имею, — многозначительно ответил Ларион Петрович. — Секрет-то ведь и вызнать можно, так ведь. Я уж Тимке вдушил, чтобы он присматривал, как след, замечал бы, как Резников краски-то будет варить. Я и сам буду приглядываться. Вызнаем...

Последние слова Ларион Петрович проговорил как бы про себя, поглоченный своими мыслями.

Женщина не сразу ответила:

— Слыхала я и от покойника Ивана Петровича о ситце-то. Воля его была такая. Только как с деньгами-то. Ведь немалый капитал понадобится... Опять же с работными людьми... Ведь все не хватает, как бьемся с ними...

— Что же деньги? Деньги найдем. И есть и еще достанем. И работных людей найдем. На этот счет не имей сомнений, люди будут.

— Не на заемные ли деньги думаешь? Наличных-то не так уж много... А в долги-то лезть по-моему бы не следовало.

— Без долгов в делах не обойтись, сестринька. Кредит это называется. Вон и банк учредила государыня для обороту денежного. Люди берут, пошто и нам не брать? Да не в долгах дело. Не на заемные мыслю я.

— А на какие же? Иль не сразу дело-то разводить думаешь? И то деньги немалые надобны. С землей-то вновь купленной ведь еще в долгу мы.

— Ну сроку почти еще год, выплатим. А пока земля без дела лежит, убыток один. Разве сена возов двадцать накопишь, только и всего... А в людях денег кадка, была бы ухватка!

— Так-то так, — неопределенно сказала Александра Мефодьевна. — А деньги большие нужны. Ты вот что-то в уме держишь... А сколько понадобится-то?

— Ну, сколько понадобится, сообразим. Резников обещал на все смету сделать, высчитать, сколь материалу какого пойдет. А деньгами не беспокой себя, — найдем. Думка у меня есть на этот счет, да не одна думка, об этом рано пока речь вести. Поговорим в другой раз.

Улыбается Ларион Петрович загадочно, обнадеживающе на вопросительные взгляды Александры Мефодьевны.

«Таит что-то, не сказывает», — думает она.

— Ну, что же, тебе виднее, — говорит она неторопливо, — твое дело мужское, не наше бабье. Я уж то мыслю, чтобы дело не развалить после Ивана Петровича: Петенька вырастет, хозяином будет, пусть не бранит мать, что таланты, от бога данные, в землю зарыла. Так ведь по писанию-то?

— Вот, вот! Истинно так, — одобрил Ларион Петрович. — Значит порешили мы с тобой. Ну, благословясь, теперь за дело примемся. Лес уж валят у меня мужики. После крещенья вывозку

начнут. Плотников надо будет подыскивать. Силантий мелюшовский с артелью хотел побывать. С осени они у Грачева в Иваново светелку ставили, теперь кончили уж, поди.

Замолчал Ларион Петрович. Сидит, перебирая бахромы скатерти на столе. Молчит и Александра Мефодьевна. Не поймешь — нето о чем-то думает, нето ждет, когда уйдет Ларион Петрович.

II

Не спалось в эту ночь Лариону Петровичу. То послышится, будто сполох быют, то будто крики на дворе. Встанет, поглядит в окно, ничего не видать. Тихо, темно. Только воет порывами ветер, наметая и раскидывая сугробы на дворе.

Не совсем доволен Ларион Петрович разговором с Александрой Мефодьевной. Вроде бы договорились. Не препятствует она, согласие дает. Конечно, и это хорошо. Да все как-то нехотя она говорит, сдержанно уж больно, точно не ее дело, что-то она, видать, в уме держит, даром что молода. Не больно-то разболтается. А как она ловко про Петеньку-то. «Вырастет, говорит, хозяином будет». Гм-м. Разумей, Ларион. Ну, да это не близкое дело. Доживет, аль нет, мальчишка-то, кто знает?

Да, немного после мужа пожила, а уж коготки начинает показывать. А ведь при муже-то жила — и не слышать было. Как ни наводил разговор Ларион Петрович о ее намерениях, она как не слышит. А прямо спросить не решился Ларион Петрович, хотя мысль эта не дает ему покоя со смерти Ивана Петровича.

Ну, как замуж соберется? Ведь молода еще, а двое детей при деньгах замужеству не помеха. Женихи найдутся. И на капитал позарятся, да и сама красавица.

В последнее время точно еще лучше стала. Может Ларион Петрович только сейчас стал это замечать? Ведь губы одни чего стоят. Пухлые, свежие, розовые, точно крапом выкрашены. И улыбка какая-то лукавая.

Вот кабы осталась вдовой, и он, Ларион Петрович, тогда будет хозяином. Не станет же баба во все дела сама входить. Ума не хватит. Но если замуж выйдет, — прощай мечта о богатстве да власти. Муж все в свои руки заберет и его, Лариона, выжмет из дела. Ведь наследником-то по закону маленький Петенька придется. Вылетай тогда, Ларион, с какой-нибудь парой тысяч, куда знаешь, и начинай опять кверху карабкаться. Нет, упускать нельзя, дело золотое. Особенно, если и то причесть, о чем смолчал, не сказал Ларион Петрович Александре Мефодьевне.

О разговоре с помещиком Ларион Петрович тоже не все сказал. Скрыл он от нее, что договорился с графом взять на себя управление вотчиной. Тогда и с людьми работными нужды не будет, — вся вотчина графская у него, Лариона, будет в руках.

Правда, граф денег просит под заемное письмо на три года — десять тысяч, а без этого, видать, и вотчину в управление не передаст. Да из-за этого дать следует. А денег Ларион Петрович

найдет. Он еще покажет себя. Поговаривают ведь, что царица не прочь опять разрешить купечеству крепостных покупать. Фабрика расширяется. Сотни людей на него, Лариона Петровича, работают. Его ситцы во всех концах России можно встретить. Слава о нем до царицы доходит. Она жалуется его дворянством. В Бархатную книгу вписывает.

Но сладкие мечты Лариона Петровича прерываются опять неотвязной и тревожной думой об Александре Мефодьевне. Только замуж не вышла бы.

Долго над этим и раньше думал он. Бывая в городе, потихоньку советовался со знающими людьми. Вспомнился совет пьяного ходатая — коллежского регистратора Головашкина. Сидя в трактире за штофом, Ларион Петрович сторонкой, намеками завел разговор. Головашкин слушал-слушал, да вдруг и отрубил: «А ты женись на ней!» Не удержался Ларион Петрович, вымолвил сокрушенное: «Да ведь братняя жена, нельзя». — «Ох, ты, нельзя! У нас все лъзя...»

Пожалел Ларион Петрович, что разговорился Головашкин, когда штоф на исходе был, да делать нечего. Больше ничего дельного пьяный чиновник не сказал, а понес спяна какую-то околесицу. «Вестимо жениться на Сашеньке, на что бы лучше. Все бы заботы прочь. А жена бы она была — не сыскать лучше. В делах мужу первая помощница, не то что дворянка какая-нибудь жеманная. Ну и вдобавок не стара, одних лет почти со мной. Лицом ли, станом ли — чисто девушка. Эх-х», — вспоминает опять Ларион Петрович губы Александры Мефодьевны да взоры ее лукавые.

«Но как жениться-то? По-православному нельзя — не обвенчают. К староверам перекинуться, — у тех церковный брак не считается, как не было его. Ну, так ли, не так ли, а дело делать надобно. Не выйдет женой — полюбовницей ее сделаю», — решает он.

III

После разговора с Ларионом Петровичем Александра Мефодьевна вскоре легла. Раньше хотелось спать, а тут и сон пропал что-то. Лежит она, с боку на бок ворочается. Комната слабо освещена лампадой. Жарко от натопленной печи. У стены дети спят. Возле них на полу, на войлоке спит нянька Ефимьевна. По привычке, видно, проснется старуха, прислушается, встанет к детям, поглядит, не раскинулись ли, и опять, кряхтя, ляжет.

«Да, Ларион намекает на что-то, — думает Александра Мефодьевна. — Жадно он за дело берется. Как голодный за хлеб. Готов глотать нежеванным, лишь захватить бы побольше. Бойся Ларион: замуж я не вышла бы».

И сама об этом много передумала Сашенька. Да за кого выйти-то? Была она замужем, как все жила, а чего хорошего видела? Грех ей было на Ивана Петровича жаловаться. Любил он ее по-своему: как вещь дорогую, берег, наряжал. Суров был старик, а

с ней сдерживался, зато и слова задушевного от него она не слыживала.

Девять лет прожила без горя, без радости. Отец ее — купец был московский, торговлю вел. С Иваном Петровичем имел дела. В трудную минуту как-то деньгами его под вексель ссудил Иван Петрович, выручил. Срок пришел векселю, денег опять не изгдилось. Упросил отец — и Иван Петрович еще на год переписал вексель, авось, дескать, за это время дела у Мефодия Ксенофоновича поправятся. А тут так сложилось, что дела все хуже и хуже пошли. Срок векселю подходит.

Запахло горем в семье. Хмурый ходит Мефодий Ксенофонович. Куда ни сунется, — везде отказ. Чуют люди, что дела у него пошатнулись, и никто не хочет деньги терять. Иван Петрович опять приятеля выручил: твердо обещал вексель вновь переписать, как срок придет. Нето доброты нашла на Ивана Петровича, нето расчет у старика был, только Мефодий Ксенофонович всей семье наказал — считать Ивана Петровича благодетелем.

Было это весной, а летом и пошла гулять по Москве черная смерть — моровая язва. Отец и мать один за другим умерли. Осталась она в доме одна. Иван Петрович спешил с выездом из Москвы. Узнал про несчастье приятеля и, не долго думая, взял с собой сироту и в Тайково привез. Вместо дочери растил ее Иван Петрович. К делу письменному понемногу приучал, а как семнадцать лет ей исполнилось, всем на удивление — женился. Ему было в это время пятьдесят пять лет. «Сирота ты, — говорил он, — умру — куда денешься? А будешь женой, весь капитал твой, навек будешь обеспечена». Не приходилось долго раздумывать. Отказаться — значит за добро злом отплатить, да и деваться-то ей было некуда. Выбирать было не из чего. Согласие дала и стала хозяйкой в доме.

Тихо Александра Мефодьевна с мужем прожила. И в Москве больше дома сидела, а как в Тайково переехала, так и совсем выйти некуда. Иногда только преддут чиновники из города да купцы по делам к Ивану Петровичу...

Вот теперь она вдова молодая. Женихи на капиталы найдутся. Недавно проезжал заседатель из города. Спяну все руки норовил целовать. А сам слюнявый, противный. Сколько раньше Сашенька о любви всего наслышалась. И в песнях о ней поется, а в жизни что-то не видать ее. Живут все не лучше, чем она жила с Иваном Петровичем. Хорошо, коль тихо, без скандалов, а то бывает и со всячиной. Муж норовит все в свои руки забрать. Хочешь не хочешь, а из воли мужниной не выходи. Детям тоже каково-то с неродным отцом жить?..

«Нет, — думает Александра Мефодьевна, — бог с ним, с мужеством. Попробую одна пожить. Дело большое в руках, его упускать не след, чтобы не довести детей до сумы. А что молодая — так что ж? Может и согрешу, коль полюбит кто. Мой грех, мой и ответ».

Нянька прервала думы Александры Мефодьевны.

— Чтой-то, милая, слышу я не спишь ты все. Аль неможется? Не сглазили ли?

— Нет, что ты, Ефимьевна... Так не спится что-то.

— То-то. А то с глазу водицей крещенской с молитвой sprыснуть, помогает.

— Да нет, кому меня сглазить-то? Что ты!

— Ну, не скажи, матушка. На красивых да на пригожих есть охотники заглядеться. А ты ведь, по простоте скажу я, раскрасавица, что девушка. Цветешь, как маков цвет.

— Да ведь старуха уж я, Ефимьевна. Скоро под тридцать будет... Сядь поди, посиди. Ты видно тоже не спишь.

Александра Мефодьевна подвинулась на постели, давая место Ефимьевне. Старуха села.

— И, милая! Какая еще это старость. В крестьянстве, вестимо, женка к тридцати-то годам как сродит восемь, аль десять ребят, да ломит, что лошадь, так впору и состариться. А у тебя жите-то ведь не мужицкое, где тебе больно надсадиться? — тихо говорила Ефимьевна. Старческое лицо ее было бесстрастно. Никакие чувства не изменяли его.

— Заботы и делов много у меня, няня. Дело большое на руках осталось. Обо всем надо подумать да позаботиться, — говорила Александра Мефодьевна, положив руки под голову и глядя на Ефимьевну.

— Ну, у тебя помощник есть, деверь-то, Ларион Петрович. Вон он хлопочет как. Рачительный, — одобрительно заговорила Ефимьевна. — А может и судьбу господь пошлет. Женишка найдешь по сердцу. — Она вопросительно взглянула на хозяйку.

— Женишок-то, может, и найдется, Ефимьевна, да только, думаю, толку-то что? Кабы крепко по сердцу пришелся, так бы, а то ведь на капитал больше зарятся.

— И это правда, матушка. Правда истинная, — вздохнула Ефимьевна, — женихами-то все хороши, а после-то и покажут себя, да еще как!

Девочка зашевелилась и в полусне захныкала. Ефимьевна отошла к ней и стала напевать вполголоса, раскачивая кровать. Когда она оглянулась на хозяйку, Александра Мефодьевна уже спала. Поправив на ребенке одеяло, легла и Ефимьевна, думая, не до утра ли проговорили, не пора ли будить Лариона Петровича. Но часы в затрапезной пробили только два раза.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Ларион Петрович проснулся, как только в дверь негромко, но настойчиво застучали. Это Ефимьевна будила хозяина. Сквозь замерзшие окна еще не брезжил рассвет. В горнице к утру похолодало. Поеживаясь, Ларион Петрович надел валенки, накинул тулупчик и вышел.

За ночь на дворе намело сугробы, но от ворот была уже проторена дорожка. К палатке вереницей, со связками товара на плечах, тащились работники. У входа в красильню водовоз сливал из бочки воду. Две бабы стояли у бочки, дожидаясь, когда наполнится из крана ушат.

Через низенькую дверь Ларион Петрович взшел в красильню. Сквозь густой пар еле различались фигуры людей. Котлы топились с ночи, в них сутками варился товар. В темноте робко мерцали огоньки свечей. Выбирая места посуше, Ларион Петрович обошел помещение.

Рабочие в длинных рубахах и лаптях возились около котлов. Обросший до жути волосами, из которых сверкали нечеловечьи глаза, Гараня, босой, веслом вытаскивал из котла бесконечные жгуты и клал их на скамейку. Женки и девки отжимали через крючья, вбитые в стену, горячие жгуты. Другие относили их в сушилку, на чердак или к другим котлам.

У котлов образовалась толчея. Бабы бойко переругивались. Кто-то затыжно кашлял. Со скамеек струйками стекала на пол вода.

Среди баб Ларион Петрович заметил Матрешу. Она с обвязанной шалью головой стояла, не поднимая глаз, пока ее товарка укладывала кусок холста на палку. Потом они подняли палку за концы и понесли товар к двери. Ларион Петрович проводил их взглядом и прошел в следующее помещение — красоварку. Пар проходил и сюда. Пахло сыростью. В горле щекотало от тяжелого запаха красок. Тимка, сидя за столом, что-то вписывал на лист бумаги.

Вслед за хозяином вошли две женки с ведрами за краской. Тимка пошел с ними к бочонку и ковшиком стал наливать в ведро. У задней стены мальчишки тяжелыми пестами толкли в ступах сухие краски. За перегородкой, в секретной, хозяина встретил Резников. Ларион Петрович присел к столу.

— Дела ничего, слава богу, — сказал Резников на вопрос хозяина, тоже присаживаясь. — Новый манер нынче пробовать будем, в пять красок.

— Ну, а пробы-то как? Новой-то краской? — спросил Ларион Петрович.

— Что ж пробы? Кое-что выходит. Вчера баб со щелоком заставлял мыть, — ничуть не линяет. Теперь просохла, надо думать, вот рассветает, можно поглядеть. Ну, а по-настоящему проб делать никак нельзя, нету приспособлений, — ответил Федор.

С первых дней по приезде Резников начал по-новому краски варить. Красок заморских, протрав и других материалов еще раньше из Москвы привезли. Пробы выходили сначала неудачные, краски неровно ложились или смывались легко. Резников объяснял неудачи тем, что заведение к этому новому делу не приспособлено. Но он обещал, хоть в малом числе, но хороших проб добиться. Последняя проба, как будто, удалась.

— Ну вот, и слава богу, — сказал Ларион Петрович. — Те-

перь о деле думать надо, о настоящей фабрике. Большое у нас дело-то впереди. Обдумать все надобно... Лес уже возить начинают. План-от обдумал ли?

— План что! План у меня в голове, — ответил Федор и добавил: — Вторая неделя уж идет как поступил я. Надо бы нам оформить контракт-то. Уговор был: как поступило, так и контракт пишем...

— Да что ты, Федор Андреич! Иль не веришь мне?

— Верить-то верю, Ларион Петрович, а для порядка надо, чтобы не думалось.

— А ты и не думай. Не бойсь, не обману.

— В город так и так ехать надобно. Сундучок я там с летней одежей оставил и кое-что написанное для памяти, там и по плану набросочки сделаны. Вот поедемте в город, я эти записочки захвачу, там и контракт, как быть следует, оформим... А уж до контракта, не взыщи, хозяин, разговора серьезного вести не буду, и не обижайся...

— Какая обида! Я и сам люблю, чтобы порядочек во всем был... Да сам видишь: никак не вырваться. С утра до вечера, как каторжный, прости, господи. Главное, лес возить пора, да и плотников надо рядить... Почему и тороплю. А ехать, вестимо, надо.

Ларион Петрович подумал: «Придется до праздника съездить, а там в скорости в Москву, к графу». И сказал:

— У нас завтра воскресенье... Ну, ив, послезавтра поедем.

Резников согласился.

II

Ларион Петрович прошел в свою каморку и велел крикнуть Тимку.

— Ну, что, как? — спросил он вставшего у двери парня.

— Да поди поближе, не слышать ничего, да прикрой дверь-то. Вон пару-то и сюда нашло. Что красовар-от, как? Не обижает тебя?

— Вроде бы ничего... Не обижает пока...

— Краски-то пишешь какие берет?

— Как же, записываю... Вчерась крапу брал, да квасцов, да сахарум-сатурну... сандалу опять... по пуду взял.

— Ты постой. Как это по пуду? Чай он не поровну всего кладет.

— Я тоже мекаю, сударь, что не поровну. Нарошно берет, секрет держит... Весы к себе забрал, в секретную... Не пускает меня. «Ты, говорит, не ходи. Делать тебе тут, говорит, нечего...» Однече заметил я, сандал-от у него непочатый...

— А-а-а!.. Непочатый. Не брал, стало быть?.. Ты, Тимоша, примечай все. Тебе на пользу. В люди выведу, человеком сделаю. Ну, а народ-то что болтает?

— Вроде бы ничего... Утресь старшой Грибуниин Гараньку прибил, штрифовальщика. Взял за вихры да башкой об обрез. Как баран в крови, Гаранька-то... ревел...

— Ну, а что говорят-то?

— Да што... Над Ванькой-Долгим утресь все смеялись.

— Ну! — оживился Ларион Петрович. — Над чем это?

— Да над чем? Он о празднике вечером к Офроське в прикутке затесался. Сговорились, вишь, они днем еще... Входит это он тихонечко, слышит — кто-то соломою шуршит. Он, стало быть, туда. «Фрося, ты, — говорит, — это?» Растопырил руки, ощупью пробирается. Вдруг как зареве-е-от кто-то в прикутке-то. Ванька так и обмер. Вместо Офроськи там медведь.

— Медведь? — в радостном изумлении переспросил Ларион Петрович. — Медведь! Ну, а он што, Ванька-то?

— А Ванька тут подавай бог ноги из прикутки-то, — восхищенно рассказывал Тимка.

— Ха-ха-ха, — закатился Ларион Петрович. — Так, говоришь, медведь? Он думает девка, ан медведь!.. Ха-ха-ха!

Тимка, довольно улыбаясь, замолчал.

— Ну, а еще-то что говорят? — переставая смеяться, опять спросил Ларион Петрович.

— Степан набойщик, мелюшовский-то, жалится, захворал будто. «Всю, говорит, голову разломило». При мне и работать не начал... Сидит и голову на верстак.

Ларион Петрович сдвинул брови.

— Не мужицкое дело хвори-то разбирать. На мякине насидится. Дворянская дочка он, что ли. Может и я хвораю, да ведь тружусь. Избаловались, дьяволы, забыли, как мякину-то жрали.

Помолчал Ларион Петрович. Подумалось: эх, разболтался некстати. Еще ляпнет мальчишка. Ничего, видно, не поделаешь, терпеть приходится. От этих набойщиков не того натерпишься, народ нужный. Сойдет — поди найди другого.

— Ты вот что. Сходи-ка в набоечную! Если не начал Степанот, так пришли его сюда. Да не болтай там, — наказал он Тимке.

Замерзшее, с железной решеткой окно скупно пропускало свет. Не зажигая свечи, Ларион Петрович сидел за столом, запахнувшись тулупчиком.

В дверь протиснулся высокий, худощавый, с редкой бородкой набойщик Степан.

— Здорово, Степан! — приветливо встретил его хозяин. — Говорят, занедужил ты сегодня?

— Малость есть, сударь Ларион Петрович. С ночи что-то приключилось... Насилу встал утром-то, не знаю, как и дошел.

— Ай-ай-ай... вишь ты, грех какой, — сочувственно говорил Ларион Петрович. — Зря ты и пошел-то, трудил себя. Вылежал бы день-два, хворь-то, может, и отошла бы. Куда уж ни шло. Мне хоть и не расчет работника хорошего лишаться, да, тебя жалеючи, отпустил бы... Что делать?..

— Сейчас-то поотошло будто, Ларион Петрович. Разломаюсь как-нибудь, перемогусь.

— То-то. Гляди, Степан. Тебя жалею... Сходи-ка в дом, скажи Александре Мефодьевне, что я прислал, нашла бы перцовки чарочку... От простуды первое средство.

— Нет уж, благодарствую такой милости, Ларион Петрович. Как-нибудь перемогусь... Да и не пью я вина-то.

— Ну, как знаешь. Одначе не перетамливай себя. Поберегись. Степан, поблагодарив хозяина, вышел.

III

Ларион Петрович прошел во второй этаж, в набоечную. Войдя, он расстегнул тулупчик. В помещении было жарко, как в бане. От испарений красок щипало глаза. Уже скоро год, как Ларион Петрович хозяин, а все входит в набоечную как-то неуверенно, чуть-чуть робея. Уж больно занозисты эти набойщики. Говори им все подумавши. Втихомолку и облаять готовы. Чуют силу. «Что твой хозяева», — с досадой подумал он о набойщиках.

Молча шел он проходом между верстаками, стоящими против окон у обеих стен. Не все набойщики кланялись. Некоторые, не отрываясь, заученными движениями аккуратно укладывали на плотно манер. Слышался разрозненный стук молотков по манерам да шелест передвигаемых по вешалам холстов.

За некоторыми верстаками в помощь набойщику работали расцветчицы. От жары они были в одних рубашках, без сарафанов. Ларион Петрович привстал, разглядывая висящее с потолка плотно и искоса бросая взгляды на раскрасневшихся расцветчиц.

У верстаков братьев Грибуниных, работающих рядом, Ларион Петрович снова остановился. Ему показалось, что за одним верстаком расцветчицей работает Матреша. Он взгляделся — нет, не она. Похожа только. Такой же задорно вздернутый, глупенький нос и быстрые глаза. «Это Анютка, — вспомнил Ларион Петрович, — племянница Ивана Грибунина».

Подошел Евсей, низко кланяясь хозяину.

— Желаю много здравствовать, сударь, — по-стариковски вскидывая брови, сказал он. — Сегодня надо бы товар браковать, сударь, вечер обещался ты... Да и вязать надобно.

Прошли за переборку, где у Евсея была конторка. Ларион Петрович разделся, и занялись просмотром сработанных за неделю холстов. По метам на каждом куске Ларион Петрович вписывал в книгу, в счет работника, вычеты за нечистоту. И тут Лариону Петровичу приходилось с расчетом делать, некоторые изъяны он и замечал, да пропускал без вычета. Это тех работников, с которыми Ларион Петрович боялся связываться. Зато другим «всякое лыко в строку» шло, — все записывалось в штраф.

С товаром провозились до полудня.

IV

— Никак, даве, тебя хозяин требовал? — спросил, усаживаясь на верстак, готовясь полудничать, сосед Степана, тоже набойщик, — Григорий Ювлев.

— Требовал, — тихо ответил Степан. — «Ты, чу, захворал», — говорит он мне. — «Да есть, мол, малость». — «Поди, говорит, в

дом, Александра Мефодьевна чарочку нальет, выпьешь — поможет».

— Ишь ты!.. В гости, вроде, звал, — засмеялся Григорий.

— Вроде... — улыбаясь ответил Степан. — Да не пошел я. Ну его, вино-то. Может, кто пьет, тому ничего, а я не пью ведь.

— Ну, оно ничего и непьющему, — знающе молвил Григорий. — Ничего. Вещь полезительная. При простуде первое средство.

Степан взял с окна узелок и тоже принялся за полдник.

Шум в набоечной смолкал. Все постепенно бросали работу и садились на верстаки, крестясь в сторону церкви. Расцветчицы тоже бросили работу и сгрудились со всей набоечной в углу у окна. Их разговор то и дело прерывался смехом.

— Так, говоришь, потчевал хозяин-то? — начал опять Григорий, продолжая разговор. — Мягко стелет...

— Да, мягко стелет, да жестко спать, — раздумчиво говорил Степан. — А ведь вычел бы за вино-то! Как думаешь? — оживившись, сказал он.

— Это уж наверняка! С него станется. Да еще втридорога и вычтет-то... Ведь что выдумал, братец ты мой. Помнишь, по осени-то нужник чистили, — и то ведь на работных разложил да вычел. Жила, одно слово.

Григорий подошел к Степану и, садясь к нему на верстак, продолжал, пережевывая хлеб и разводя рукой:

— Я и то думаю: молод еще, а уж задирист. А что из него дальше-то будет, как крылья-то пораспустит. Сама-то Александра Мефодьевна, видать, на него полагается, доверие, знать, имеет. Может, оно по-родному так и надлежит, только, со стороны-то глядя, не тот человек-то он. Он те покажет! Загребущий, видать, да захапущий. Наплачемся, коль заберет силу-то как следует. Вот, помяни мое слово, наплачемся.

— Хозяйское дело такое, Трофимыч. Тут, кто хошь будь, всяк таким станет.

— Ну, не скажи, Степан Иваныч... Не скажи, — Григорий отрицательно потряс головой. — Возьми саму, к примеру, Александру Мефодьевну — ведь не то дело. Хозяйский интерес каждый блюдет, знамо, да ведь в меру. А он, — жила, прости, господи, — готов живьем глотать, не жевавши... Право!

Степан слушал, недоверчиво улыбаясь.

— Ну, не съест. Мы ведь тоже с зубами, — засмеялся он.

Покончив с едой, часть набойщиков торопилась приниматься за работу. Некоторые пошли сдавать законченные куски и останавливались около беседующих. Подошли Иван Грибунин и Яков Баушин, а за ними Семен, которого все звали Сема-Чокмарь.

— Вот так надо и всякому, — сказал Грибунин. — Он те слово, а ты ему десять. Мы ведь не его, а барские. Что нам больно он!..

— Вестимо, — одобрил Баушин, — фабрику надумали, чу, строить. Красовара, вон, привезли, жалованья, говорят, страсть сколько отвалили... Все варит он что-то, все варит...

— А материалов навезли сколь, — сказал Чокмарь. — Тимофей сказывал, что такие, говорит, есть, что выпьешь ложку одну — и то ноги протянешь.

— Ядовитые, значит?

— О-о-о! Страсть ядовитые! Зелье — прямо слово.

— А что ежели мышей попробовать потравить этими зельями-то? — Чокмарь вопросительно поглядел на окружающих.

— Тут, брат, не только мышей, а самих-то нас стравят, коль работать-то с ними придется, — сказал Грибунин, глядя на Чокмаря.

— Работать-то не иначе как нам придется. Сам-то Ларион Петрович работать едва ли будет, — засмеялся Чокмарь.

— И где только денег они берут? — спросил Григорий и руками развел. — Не пырато жил Иван Петрович, покойник-то. Разве что скопил помаленечку?

— Может и скопил... Кто их знает, — ответил, отходя, Грибунин. — Богатство — дело темное.

В дверь вошли бабы с охапками холстов. Ругаясь про себя, они потянулись вереницей дальше. Пошли по своим местам и мужики. Степан готовился приниматься за работу, подолом рубахи вытирая с лица обильный пот.

— Я так смекаю, Иваныч, — обратился к Степану Иовлев. — Я так смекаю: коль фабрику хочет строить, так не иначе о приписных будет хлопотать. Потому без приписных не обойтись. Силком работать не заставишь. Конечно, воля барская над нами, однако оброк да подати заплатил — и работаи где хочешь. Хоть паспорт бери, в Москву иди, — от барина запрету нету. Лишь бы оброк да подати справно платили. А ведь работа-то, особливо у тех, что на простых работах, ох, как тяжела. Постояй-ка день денской на плоту, где холсты моют. Тут тебе и мороз и ветер. У меня племянница работает, ноги-то, говорит, не слышатся, как назябнутся за день-то. А велик ли заработок-то!.. Нет, без приписных не обойтись ему, не иначе...

— Да ведь закону, будто, none такого нет, чтоб к фабрикам крестьян приписывать, — усомнился Степан.

— А что им стоит закон-то издать? Это нашему брату, мужику, и то нельзя и это нельзя, а им, брат, можно.

Григорий повернулся к штрифовальщику:

— А ты заправляй, заправляй, Ванюша.

И берясь за манер, бросил Степану:

— Тогда, брат, только гляди...

— Нас не должно приписать-то, потому мы ведь барские, не казенные.

— Ну дай-то бог. А то — беда...

Григорий четко и размеренно начал набивать. Сначала опускал манер в обрез штрифовальщика, а потом привычно и ловко укладывал его по наколкам иголок на полотно, прижимал руками и пристукивал чокмарем. Ванюша, сидя верхом на скамейке, после каждого накладывания манера на краску, растирал ее щеткой, пока мастер накладывал манер на полотно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Медленно идет тихий деревенский вечер за разговорами. Незаметно укорачивается горящая на столе свеча. Женщины вяжут. Резников, отдыхая от недельной суеты, сидит за столом, щелкая орехи.

— Хозяева ничего... хорошие люди, — сдержанно говорит Демьяниха, отвечая на вопрос Резникова. — Сама-то Александра Мефодьевна и больно хороша, душевный человек, самостоятельный.

— А сам-то, Ларион Петрович?

— И сам ничего. Ну, еще молодой хозяин-то. Году ведь еще нет, как стал вполне хозяином-то. При покойнике-то Иване Петровиче он так себе был, тот воли не давал больно-то.

— Что, не допускал к делам?

— Да нет, к делам-то допускал, а воли не давал. Строгий старик был; царство ему небесное. Баловства-то не любил.

— А что, разве за Ларионом-то водится что? — засмеялся Федор.

— Да ведь, батюшка, не нам судить, — Демьяниха поглядела вкось на дочь и, понизив голос, проговорила: — Пристрастие к женскому полу имеет. Да и то сказать, человек холостой, в годах, ну бес-то и мутит.

Резников, улыбаясь, вспомнил, как Ларион Петрович не раз говорил ему, что не потерпит у себя людей развратного поведения. «Вот уж истинно, спереди блажен муж, а сзади — вскую шатаешься».

— А так, по делу-то, рачительный, — продолжала Демьяниха, — каждая копейка на счету. Не чета Александре Мефодьевне, та не этакая... А он с грязи пенку снимает; из блохи голенище кронт, как говорится, прости, господи, за осуждение. И покойник-то Иван Петрович тоже скупенек был. Благочестивой жизни, этого не скажешь, к храму усердие прилагал, а скуп был.

— Знать по пословице: праведно живут, с нищего дерут, да на церковь кладут, — заметил Федор.

Демьяниха, позевывая и крестя рот, стала собирать ужинать. Настенька тоже сложила свою работу.

Поздно по вечерам не засиживались. Часов около девяти, после ужина, Резников уходил к себе. Утром вставать надо было рано. Недели через две он так привык к своим хозяйкам, что стал заходить запросто.

Раз, уходя, он обратился к Настеньке:

— Вам, Настасья Захаровна, из города привезти что не надобно ль? Завтра едем с хозяином.

— Да што это обременять-то тебя, Федор Андрейч, — вмешалась Демьяниха. — Разве к столу купишь что... Здесь у нас больно-то не раскупишься.

Резников обещал. А Настенька просила еще шелку цветного привезти для вышивания. И это охотно обещал сделать.

По уходе его Демьяниха долго сидела за столом молча, глядя задумчиво на пламя свечи, по привычке изредка шевеля губами. Настенька убирала со стола.

— Вот теперь у нас чужой человек в доме, — заговорила Демьяниха, глядя на дочь, — мужчина. А они, городские-то, набалованные. Он-то, Федор Андреич, не из таких вроде бы, и все ж таки...

— О чем ты, маменька? — спросила Настенька, складывая праздничную скатерть и смотря на мать.

— А к тому самому, доченька... блюди себя. Долго ль навек ославиться...

— Да что ты, маменька. У меня и в мыслях нет, сколь лет жила, — обиделась Настенька, — да и он-то, может, ничего не думает, а ты уж, бог весть, что говоришь.

— Ну, бывалое дело. Не с тобой, так с другими. Сама молода была, знаю. — Помолчав, Демьяниха сказала раздумчиво, отвечая на свою мысль: — Конечно, на что бы лучше, кабы господь дал... — и встала, не договорив.

II

По избам зимой жечь свет без дела не полагается. Коли в праздник работы нет, так, отужинав, и спать ложиться надо, огонь гасить.

Кряхтит и шепчет молитвы у себя на печке Демьяниха. Перебирает в голове разговор с постояльцем и кончает про себя недосказанное дочери: вот бы женишок-то Настеньке. Городские с годами-то не так считаются, не у нас в деревне... Да не так уж и стара Настенька, всего двадцать пять годов. И он немолод уж, все тридцать есть. Хоть и свеж с лица, черные волосы без седины, а все ж не парень молодой. К чему бы ему за богатством-то гнаться? У самого, небось, деньжищ-то скоплено... Зато хозяйка Настя была бы — поискать такую. Скромная. Кабы знать заранее, не стоило бы и девку обижать разговором давешним. Может сама-то по-девичьи и приворожит как. Недотрогой быть — мужчины-то не больно любят. А как что выйдет, а он и не возьмет? Что тогда?..

Истомила себя Демьяниха такими думами. Под конец решила тайком от дочери погадать сходить к знахарке в Тереньково, с тем и уснула.

Настеньке тоже сон нейдет на ум. Темно в избе. Тихо. Слышно, как на печи мать шевелится да вздыхает. И догадывается она о мыслях материнских, Вспоминается недалекое прошлое, посиделки да гулянки, когда ее запросто обнимали парни. Тогда никто не приглянулся ей. Только и было, когда Алешенька, сын священника Егора, из ученья приезжал. В ту пору Настенька не такая степенная была, что теперь. Подпрыгивая, она вбежала в огород.

Смотрит, в огороде, в белой рубашке, с книжкой в руках Алешенька ходит.

Созорничала Настенька и чем-то в руку попавшимся кинула через изгородь. Как оно вышло — и не вспомнишь сейчас. Подошел он, притянул ее за руки сквозь плетень и, оглянувшись, неловко поцеловал...

Скоро Настенька забыла и изгородь и Алешеньку. А теперь уж и не до поцелуев, не до гулянок. Двадцать шестой год пошел. Старуха. Ее подрост все уж замужем, с детьми нянчатся да горечь бабьей доли хлебуют досыта. Встретит иной раз Настенька детишек на улице: голопузые да грязные по дороге в пыли копаются. «Господи, — думает она, — кабы мой был. Уж как бы я его хохлила да пестовала... Как бы целовала в глазенки-то серые, несмышленные».

Наутро Настенька проснулась с каким-то чувством легкости в душе. Нето теплый зимний день тому причиной, нето какие-то надежды, еще не сознанные, зреют весело в сердце.

— Ну, хозяин, Ларион Петрович, с нашим Федором Андреичем выехали, — сказала, входя и раздеваясь, Демьяниха. Сама даве видела, с двумя подводами поехали. — «Нашим зовет, Федора-то Андреича», — отметила про себя Настенька и спросила:

— Неделю, чай, проезды?

— Не ближний свет город-то, да и дела ведь там у них разные. Наверно, скорее недели-то не обернут.

Стало опять тихо в избе по вечерам, ложились с курами. Пробовала спервоначала останавливать свои мысли Настенька. Раздумается, размечтается, да сейчас и скажет строго себе: «Экая дура я. О чем ни думаю, все на него сверну, на Федора Андреича».

Да не так-то легко, видно, со своими мыслями бороться. Мысли опять к нему перескакивают. Сначала робкие, а потом все смелее да смелее становятся. Под конец Настенька до того домечтается, что, кажется, это не про себя думала, а о ком-то другом слышала такое зазорное.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

— Тяжелый день-от нынче, понедельник, — говорил Ларион Петрович, все еще усаживаясь в санках. — А все ты, Федор Андреич. Пристал: едем да едем. Не терпится тебе с контрактом-то.

— У бога все дни одинаковы, Ларион Петрович, — ответил Резников, сидя рядом с хозяином. — А это что за сундучок? Погребец, что ли? Его бы на заднюю подводу положить, к Логинычу, а то и ноги не протянуть.

— Это, брат, не погребец, — Ларион Петрович открыл крышку продолговатого сундучка, — это снаряд дорожный. По нашим местам нельзя без этого.

На дне сундучка Резников разглядел широкий, с белой костяной ручкой тесак.

Выехали до свету. После морозов за последние дни сразу потеплело. Надо было ждать снегопада. Не поехал бы Ларион Петрович, — того и жди метели, тянуть больше было нельзя. Федор хоть и живет на фабрике, но про новенькую постройку от разговоров уклоняется. Нет, нет, да как бы невзначай обмолвится, что ему, дескать, в город побывать по своим делам требуется.

«Еще сбежит куда, переманят», — думал Ларион Петрович и решил выехать.

Развалясь в санках, укрытый высоким воротом тулупа, он размышлял о своих делах, о недавнем разговоре с Александрой Мефодьевной, о всем, что он готовился предпринять. Дело было трудное. Неумело возьмешься, все испортишь.

Рассветало незаметно. Лошади бойко шли по накатанной дороге. — Ну, ну! Закоуристые! — подгонял кучер лошадей.

Встречные мужики, узнавая Тележников, сторонились. Ларион Петрович, отогнув ворот, разглядывал тянувшийся мимо обоз с лесом, — везли ему на фабрику.

— Путь-дорога, мужички! — приветствовал Тележников.

Мужики что-то отвечали, снимая обеими руками шапки.

Лес был загляденье — один сосняк, бревно к бревну. Проезжая мимо лесосеки, Ларион Петрович велел остановиться, вылез из санок и с Логинычем пошел по сугробам к вальщикам, обрубавшим сучки с поваленных великанов-деревьев. То и дело он останавливался, щупал ногой пни — не высоки ли оставляют их вальщики.

Резников оставался в санках, любуясь по-зимнему красивым лесом.

Тележников, глубоко увязая в сугробе, размахивал руками, что-то горячо кричал, ругал кого-то. Низенький, кривоногий мужичонка виновато разводил руками, видимо оправдываясь.

— Прямо сладу нет с дьяволами, — жаловался хозяин, удобнее усаживаясь на свое место. — Пень в пол-аршина оставляют, подлещы... Только и знают деньги просить.

Лесом дорога пошла хуже, мало наезженная. Поехали зимней дорогой по болоту.

— От межи, что проехали, до самой реки все я купил. Четыре десятины с лишним, — самодовольно говорил Ларион Петрович. — Помещика Телепнева лес-то. Продал недорого... Пять сот корней валят — хватит ли, как думаешь?

— Пять сот? Должно хватить. Это ведь брёвен за тысячу. Хватит, — ответил Федор.

Кругом расстилалась ровная, как лед на озере, снежная постель, — ни пригорка, ни оврага. Только тощие сосенки стояли одинокими. Местами из снега торчали сучки и корни упавших деревьев.

— Вырублен, что ли, лес-то? — спросил Резников, никогда не выдавший до этого торфяных болот.

— Зачем вырублен? Это не лес, а болото. Верст на тридцать кругом тянется, — ответил Ларион Петрович. — Земли пропадает страсть сколько... Это вотчины графа Алсуфьева будет. Граф и то предлагал мне купить болото-то, почти даром отдавал. Да я не

дурак. Из-за покоса взять и то не стоит, один богульник... Так и отказался я, не взял...

Проехали через реку мимо проруби, утыканной кругом елками. На горе показалось село.

— Это вот Подлесье, вотчины князей Черкасских будет, — сказал Ларион Петрович.

Среди нахохлившихся под снегом изб выделялась колокольня. Остановились у крайней избы, на постоялом дворе, полудновать и кормить лошадей.

В избе у печки копошилась молодая баба в повойнике.

— А я как знала, — пресняков сегодня спекла, — сказала она, здороваясь с вошедшими.

— Здорово ли живете, Дашенька? Сам-от дома ли? — обратился к ней Ларион Петрович, расстегивая шубу.

— Проводила я самого-то, на два дни в город уехал, — ответила, улыбаясь, хозяйка, показывая красивые ровные зубы.

— Уж не знаю, что поснедать-то вам. Мясного не будете, пост ведь... Рыбки зажарить разве, у нас от Николина дня еще осталась.

Ларион Петрович от рыбы отказался.

— Вот лучше преснячков твоих отведаем, — сказал он, — с кашей, что ли?

— С кашей, сударь, ваши любимые...

По всему было видно, что Ларион Петрович в этом доме свой человек. Баба на деревянном подносе поставила на стол грудку горячих пресняков. Ларион Петрович многозначительно подмигнул и прищелкнул пальцами. На столе появился штоф водки с чарками. Налив всем по чарке, Ларион Петрович велел штоф убрать: в дорогу ехать нетрезвым не годится.

— Как с мужем-то поживаешь, Дарьюшка? — спросил он, укладываясь на лавку. — Наследника, чай, готовишь дому-то?

— Да нет еще, избавил бог, — рассмеялась хозяйка.

— Вам бы поторапливаться с этим делом-то, немолод уж сам-от у тебя.

— А что мне он? Без него найду, как надумаю... Наше бабье дело такое. Лови жизнь смолоду. Старуха-то буду, — кому нужна?

— Ай да баба... Ай да Дарьюшка, — захохотал Ларион Петрович и добавил, помолчав: — Пока не забыл, Дарьюшка. Скажи самому-то, побывал бы он у меня в скорости в Тайкове, ежели в городе не увижу его.

Логинич тем временем уже похрапывал на лавке. Резников, проводив взглядом хозяйку, вышедшую из избы, спросил вполголоса:

— Видать, веселая баба?

— Веселая, страсть. Прямо распутная. Вдовой содержала двор-то. Вот уже года три, как замуж вышла, за старого. Говорят, что беглый какой-то... Не утихомирилась. В случае — не зевай, Феденька, — засмеялся Ларион Петрович, — ночевать придется — и спать укладет и постельку согреет...

Выехали часа через два. Ларион Петрович понукал кучера,

торопясь доехать засветло. Вторую половину пути он и Резников проехали молча, каждый занятый своими мыслями.

Не доезжая до города, Логиныч на своей подводе свернул в сторону, в имение помещика Телепнева, как наказывал ему Ларион Петрович при выезде из Тайкова.

В городе уже замелькали в окнах огоньки, когда они въехали во двор постоялого. Через некоторое время и Логиныч приехал. Его поездка к Телепневу была неудачна, о чем он сокрушенно и докладывал хозяину. Ларион Петрович сначала с досадой слушал, потом раскатисто захохотал, выслушав подробности.

— Не умел ты, Логиныч, подойти к нему, как следует, — смеясь, говорил он.

— Что ж, видно обмишурился, — согласился Логиныч неохотно.

II

Утром, чуть свет, Логиныч выехал на базар. Ларион Петрович с Федором позавтракали и в девятом часу отправились в ратушу. И тут у Лариона Петровича оказались знакомые. Оставив Резникова внизу, у лестницы, он ушел наверх, нужного человека разыскивать. Больше часа пропадал, наконец, вернулся в сопровождении сутулого, с вытянутым, бритым лицом приказного.

— Так вот, Федор Андреич, — это господин Головашкин будет. Иван Алексеич. Он наше дело обделаает, контрактец напишет, как быть следует. Через час он освободится.

— Приду, приду, государи мои, дожидайтесь там... Ларион-то Петрович знает где, а я приду, — проговорил чиновник, обращаясь к Резникову.

В трактире, на чистой половине, они выбрали столик у окна. Ларион Петрович заказал селяночку. В комнате было пусто. Только в углу, у двери, сидели двое, должно быть приказчики.

— Пока нам бы обсудить, Ларион Петрович, как и что, — начал Федор.

— Что тут обсуждать-то? Дело решенное. Живешь ты у меня, как и уговорились, два года, получаешь за это время три тысячи...

И Ларион Петрович начал перечислять свои условия. Упомянул о том, что Резников обязуется за время работы секретов по делу не иметь от хозяина и человека обучить, — кого хозяин укажет. Это условие Федор наотрез отказался принять. Напрасно убеждал его Ларион Петрович, что это, мол, не в убыток будет ему, Резникову.

— Захвораешь когда, иль отъехать на время случится, будет кем себя на фабрике заменить, — говорил Ларион Петрович.

Уговоры не действовали. Резников упорно стоял на своем, ни почем не соглашаясь с хозяином.

Коллежский регистратор Головашкин застал их в горячем споре.

Не хотел Ларион Петрович до окончания дела выпивать, но Головашкин сразу же заявил, что устал, дескать, от делов в присутствии и голова совсем не варит.

По знаку, поданному Ларионом Петровичем, половой мигом принес посудину. Немного погодя он же принес и бумагу с чернилами. Крякнув после чарки, Головашкин, скосив голову на бок, застрочил начерно.

Суть дела ему, видимо, была уже известна, писал он не спрашивая, лишь по временам вскидывал глаза в потолок, что-то обдумывая. Выпив вторую чарку, Головашкин вполголоса, не торопясь, прочитал написанное.

— А это к чему же, Ларион Петрович? — недовольно сказал Федор. — «Обязан я по контракту к добропорядочной жизни и поведению». Чай не в монахи я к вам поступаю. На фабрике, вестимо, а дома-то каждый волен в себе...

— Ну, нет, брат! — перебил Ларион Петрович. — Без этого не полагается. Каждый хозяин должен за работниками присмотреть. Так-то другой распутным делом займется, или пьянством, а я молчать должен? Люблю я, чтоб люди жили по-совести, бога бы помнили...

Головашкин поддержал Лариона Петровича:

— Это первое дело, чтобы присмотр. Сколь ни пишу контрактов я, добропорядочное поведение — это уж непременно. Так везде водится, во всех делах.

— Вам бы, господин поверенный, в наши дела не вмешиваться... Мы с хозяином условие будем иметь, мы и решим, — раздосадованно заметил Федор.

Лицо Головашкина от трудов да от выпитой водки успело пораскраснеться, а тут побагровело даже.

— Я государыни моей слуга. На государевой службе чиновник. Чин имею, а ты мне указываешь, — взъелся Головашкин.

— Ну, ты помолчи, Иван Алексеич, — обратился к нему Тележников. — Тебе деньги плачены, ты и пиши.

Ларион Петрович обещал наградить Резникова сотней рублей по отжитии срока при хорошем его поведении, и Федор согласился уступить. Поторговались еще, наконец, докончили, и слуга государыни начал переписывать контракт начисто. Закончив, он заложил перо за ухо и прочитал:

«КОНТРАКТ.

178 . . . года, декабря 16 дня.

Московский мещанин Федор Андреев Резников и московский же купец Ларион Петров Тележников сделали между собой сей контракт в том, что подрядился я, Резников, у него, Тележникова, с 7 числа сего декабря в должность красовара при ситцевой его фабрике, находящейся Шуйской округи в селе Тайково, впредь на два года, то есть будущего 178 . . . года декабря по 7 число, ценою за три тысячи рублей, которые и получать мне, Резникову, по временам, когда для меня потребны будут; о том, чтоб мне было в оной должности принимать от него, Тележникова, потребные по мастерству сему материалы и, имея оные в своем заведении, употреблять по моему знанию без урона хозяйского

интереса, и в течение вышеписанного времени жить мне, Резникову, на собственном своем содержании и на нанимаемой мною на свои деньги квартире.

Занимая по должности моей, должен я сколько возможно стараться к благосостоянию хозяина моего и жить добропорядочно, не делая остановки по фабричному его заведению ни за какими обстоятельствами, исключая случиться могущей по власти божией болезни. Равным образом, что будет открыто мною по мастерству моему нового, то и оное должен я исполнить также по возможности своей, если же что усмотрено будет хозяином со стороны моей худого в поведении или по должности моей, то в таком случае волен он, хозяин мой, мне в исправлении моей должности отказать. Так же и я, Тележников, с своей стороны, никаких излишних и посторонних налогов делать ему, Резникову, не должен. Платеж денег должен производить по его требованиям по заслужении безостановочно. По отжитии по сему контракту добропорядочно назначенного времени за его, Резникова, исправность по должности я обязуюсь сверх вышеписанной рядной суммы наградить ему сто рублей. Прежде же отжития двухгодичного времени я, Резников, ни под какими предлогами сам собой без воли хозяина от него отходить не должен под потеряннем всего заслуженного жалованья. В случае же забора мною всех заслуженных денег, должен я в таковой неустойке ответствовать своею собственностью, все забранные деньги зажитые и незажитые заплатить, или по воле хозяина по согласию его зажить оные по расчислению времени по забранной мною сумме. Так же и я, Тележников, под видом справедливости, под иными предлогами отказывать ему, Резникову, от должности до истечения срочного времени без ясных доказательств на поведение его или неисправность не долженствуя, по заплатою за таковую неустойку ему, Резникову, за все время вышеписанной суммы сполна.

В чем контракт сей и хранить свято и ненарушимо».

Ларион Петрович и Резников оба руку приложили к контракту и отправились к частному маклеру его засвидетельствовать. По условию за контракт уплатили пополам, а Федор от себя заплатил Головашкину за копию.

III

Покончили они с делом уже к вечеру. Резников пошел в ряды за покупками, а Ларион Петрович отправился на базар, как он сказал, разыскивать Логиныча. Только что Федор пришел на постоялый двор, как явились и Ларион Петрович с Логинычем. Хозяин был заметно навеселе, Логиныч обращался с ним преувеличенно вежливо. «Видно буен во хмелю-то», — подумал Резников, видя, как Логиныч старательно избегал вызвать чем-нибудь неудовольствие хозяина, стараясь ни в чем не противоречить ему. Поздно уже, часов около девяти, в комнату к ним вошел высокий, сухощавый старик, в длинном кафтане. Увидя его, Ларион Петрович торопливо встал и вышел с ним за дверь.

— Чей это старик? — спросил Федор собиравшегося лечь Логинича.

— Который? Что вошел-то? А это дворник подлесихинский.

«Что это за дела у хозяина с этим дворником? Вишь, не стали говорить здесь, таятся чего-то», — раздумывал Резников.

Ларион Петрович вернулся через добрых полчаса и молча стал укладываться спать.

Утром они выехали в Тайково.

IV

— Что в городе-то слыхать? Живем здесь, как в лесу, не знаем, что и на свете делается.

Александра Мефодьевна сидела за столом напротив Лариона Петровича. На столе шумел самовар.

— Что дети-то, спят? — вместо ответа спросил Ларион Петрович.

— Давно уложили... время-то позднее.

— Что слыхать?.. Про войну говорят. Город, вишь, наши взяли какой-то. В «Ведомостях» будто пишут, что замирение скоро должно быть.

Ларион Петрович говорил устало, нехотя, о чем-то думая, и изредка поглядывал на Александру Мефодьевну. Она сегодня, в первый раз после смерти Ивана Петровича, была в светлом платье.

Видно было, что Ларион Петрович не все новости рассказал. Наконец, он опустил руку в карман.

— А это вот тебе, друг мой, — сказал он, протягивая женщине сверток.

— Что это?

— За аксамит покупал, самый лучший.

Ларион Петрович пристально вглядывался в лицо Александры Мефодьевны. Она развернула кусок и, накинув конец его на плечи, подошла к зеркалу.

— Идет ведь ко мне? — охорашиваясь, спросила она.

Ларион Петрович стоял около нее, окидывая ее взглядом.

— Идет! Да как идет-то!.. Раскрасавица ты! Право, — он положил руку ей на плечо, будто поправляя шелк.

Женщина резко посторонилась, и его рука упала с плеча.

— Шелк, на самом деле шелк. Голубой, как весеннее небо, — поворачивалась Александра Мефодьевна перед зеркалом, любясь покупкой. — Спасибо, Ларион!

Она перевела на него насмешливый взгляд:

— А что это ты вздумал вдруг? Раньше-то ведь что-то ничего не возил?

— Так ведь как же... память по покойнику.

Повернулась вновь перед зеркалом, оправива волосы.

— Ну, за подарок еще раз спасибо, Ларион. Только не думаешь ли ты купить меня подарками-то? Хитрый!

Проходя мимо, она провела ему по голове рукой, взлохматила волосы и, смеясь, убежала к себе.

— Что девушка прыгает! Кровь играет! — сказал себе Ларион Петрович.

На часах пробило десять. Ворочается Ларион Петрович на своей одинокой постели. Бывало засыпал, как голову на подушку положит, а за последнее время по часу ворочается, а сна все нет.

— Эх, кабы все вышло по-доброму с Сашенькой! — думает он. — В церкву бы лепту внес. Да не худо и помолиться об удаче в этом деле. Надо в воскресенье с отцом Егором поговорить.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

Зачастил Ларион Петрович за последнее время поездками, ни одной ярмарки не пропустит в округе. В Иваново чуть не каждую неделю ездит.

Только что отпраздновали рождество, у добрых людей еще и хмель из головы не вышел, а Ларион Петрович собрался в Иваново, и вечером, с обозом из шести лошадей, выехали.

Двор опустел. По одному, по-двое расходились запоздавшие набойщики. Уехали последние подводы мужиков, выставявших дрова. Порывистый ветер перегонял по двору клочья сена и мелкий снег.

Из господского дома пошли в баню две закутанных женщины.

«Видно барыня с Дуняшкой», — подумал сторож Иван. От воспоминаний о банном тепле стало еще холоднее. Все лето собирался на зиму валенки огоревать, но так и не пришлось. «Валенок бы теперь. В самую пору. А ежели в них сенца подложить — вовсе тепло. А лапти что! Какая это обутка, да и у лаптей пробилась задники. Погреться бы в стряпущей или в работной, да вроде бы еще не время. Логиныч еще не приходил ворота запереть на ночь, видать, в фабрике не все еще закончили».

В темноте мелькает огонек фонаря. Это Логиныч обходит последним дозором фабрику. На колокольне изредка отбивают часы. Из церкви в обе стороны улицы тянутся вереницы людей. Проплелась из церкви сторбленная, маленькая старуха — мать Лариона Петровича.

Подошел Логиныч. Он поставил фонарь на снег и тяжелым замком стал запирает ворота и калитку.

— Неровно что, так кликнешь, Финогеныч... Народ весь разошелся. Пареньки в работной ночуют да Гараня там... Ты похаживай в работную-то. Не запалили бы парнишки... Да огонь-то жечь не давай, пусть ложатся, нечего долго баламутиться. Только Гараню-то не дразнили бы!

— Как можно? Вестимо, накажу.

— То-то. Почаще, говорю, похаживай по двору-то. Боковые-то ворота оглядывай. Да не дрыхни ночь-то, а то заберешься в тепло где-нибудь... дело праздничное.

Логиныч ушел. Иван побрел по двору. Постепенно гасли в ок-

нах огоньки. Потух огонь и в окнах каморки Логиныча, в нижнем жилье господского дома.

— Ну, теперь можно и обогреться сходить, — решил Иван и направился к работной.

Широкая изба, посреди печь большая, по-чистому топится. Не пожалел покойный Иван Петрович, как в фабрике, так и тут велел сделать. «Пусть дров хоть и больше сожгут, авось пожара не будет». — Для ночевки людей, что из дальних деревень работали, строил.

В избе тепло. Иван постоял у порога, отряхнул снег с лаптей, почистил их веничком и подошел к печке. Против раскрытой топки, пышущей жаром от догорающих углей, на черном от грязи полу расселись четверо подростков. Они были из дальних деревень и оставались на ночлег при фабрике.

Время праздничное, святки. Теперь бы веселой гурьбой ряженными ходить, да чуть стемнеет — ворота наглухо запираются, не больно-то со двора уйдешь. Ребята засиделись. Завтра праздник, сегодня посидеть можно. Да и старших сегодня в работной нет, лавки по стенам пустые. Только в углу у Гарани теплится перед иконой лампада. Сам Гараня, разутый, в длинной рубахе, то и дело встряхивая спадающими на глаза волосами, кладет земные поклоны перед угодником.

— Садись, дедушка Иван... погрейся! Озяб, поди... Холодно на улице-то, — сказал Родька, прищуренно разглядывая сторожа.

— Холодно, на ком платянце одно... Как не озябнуть. Обувка-то наша известно какая. А садиться мне — хоть не садись: как сядешь да отогреешься — не встать. Только что пока ходишь. Ноженьки-то не ваши, — молодые, немало на веку похижено.

— Ну, как день-то денской по лестнице походишь, так и у молодого ноги чуть не отвалятся. А мастера того и гляди за вихры, — проговорил Енька Вдовин, сидящий с краю у печки.

— Без вихров с вами нельзя. Вихры — не вещь. Вот батогов бог даст, отведаете — тогда узнаете.

— За что нас батогами-то?

— За что, за что? Была бы спина, будет и вина. А за вихры не драть, так вы и бога забудете, и мастерству не обучитесь... За доброту хозяину спасибо говорите, пить-есть дает...

— А нам и невдомек, что он добрый человек. За доброту ему знать бог и помогает. Видать, богатеет, говорят, фабрику строить хочет. Вон хлопочет как. Бегает день денской, ругается, страсть! Все ездит, все ездит куда-то!

— Ништо. Пушай ездит. Хозяин молодой. К делу, видать, пристрастие есть. Принялся за дело, как вошь за тело. Ну, да и то сказать: купец торгом, поп горлом, а мужик горбом! Так-то на свете ведется исстари. Кого захомутят, на том и пошли возить.

— Что, опять, знать, уехал хозяин-то?

— Уехал в Иваново. С обозом...

— В ночь одному-то, вестимо, боязно. Лихих людей много развелось. С товаром поехали, наверное, с деньгами.

— Знамо с деньгами... — Иван стоял у печки, отогревая руки. — Вы ужинали, что ль, мальцы? — спросил он.

— Нет еще. А ты лучку не принес, дедушка?

— Как же, как же. Даве хотел с хлебом съесть, дай, думаю, с ребятами на ужин поберегу.

Иван вынул из кармана луковицу. Енька достал с полки деревянную чашку, из ящика в столе ребята вынули большие деревянные ложки. Из-под лавки вынули глиняный кувшин с квасом, заткнутый тряпицею, и Енька принялся готовить муру. В чашку крошил хлеба, нарезал луку, посолил и до краев налил квасу.

— Пошли, господи, пищу на братию нищу! Ну, садитесь, што ль.

К столу придвинули скамейку и, перекрестясь, сели. Некоторое время в избе было тихо. Только и слышен был стук ложек.

— Ну, не наелись, что ли? — спросил Енька, когда чашка опустела. — А то добавлю, квас-то еще есть. Только уж без луку.

— Ну, ин, давай еще, хоть и без луку. Дедушка, будешь еще?

— Я в чужом добре беспорщик, что поставят, то и ем.

Енька налил еще. Скоро опросталась и вторая чашка. Ребята вылезли из-за стола, только Иван задержался, дожевывая корочку. Ребята опять уселись у печки, глядя на догорающие угли.

— Давайте сказки рассказывать, — ни к кому не обращаясь, сказал Енька. — Родьк, Расскажи, только страшную!

— Неохота что-то... — Родька помедлил: — Да я все уж рассказывал.

— Расскажи, — протяжно заголосили ребята.

— Ну, слушайте! Вот... жил был царь, а у царя был псарь, да не было пса, вот и сказка вся! — невесело улыбнулся Родька.

— Ну вот, — разочарованно протянул Енька, — а хотел длинную... А вот в Иванове, говорят, шайку поймали целую, деньги делали фальшивые. В подполье, будто, делали. В избу войдешь — нет ничего! А в подполье-то ход тайный, слезешь туда, а там покой целые. Там деньги-то и делали! Полки все кругом по стенам, а на них все деньги, все деньги лежат!

— Эх, вот бы украсть! Мешок бы набрать и жить бы поживать! — мечтательно протянул один из ребят поменьше.

— А что им будет за это, дедушка Иван?

— Что будет? Знамо, не похвалят за эти дела. По головке тоже не поглядят. На площади кнутом будут драть, а там сошлют в каторжную работу.

— Так они, чай, уж богатые стали! Богатых-то разве кнутом бьют? Откупятся!

— Кто разбогатеет-то успел, знамо, откупится. Ведь чиновники-то из-за этого больше и хлопчут. Обелят кого хошь. Щуки-то уйдут, а пескари в ответ попадут! Алтынного-то вора, говорят, вешают, а полтинного чествуют! Так-то, вот!

— Эх, хорошо богатеям жить! Позавидуешь!

— Зачем завидовать! Завидовать грешно!

— Всяк завидует! Будешь завидовать, — горячился Енька. —

резчики да набойщики убоину жрут чуть не каждый день, а у нас и гороху-то нет.

— А вот у нас гороху-то и нет, что не молимся, — перебил его Родька. — Гараня поди как молится, так у него этой убоины — сколь хошь. Намедни с работы пришел, снял рубаху и давай ловить убоину-то. Только на зубах хрустит.

Ребята рассыпались смехом.

— Недаром Гараня никому и не дает на свою-то икону молиться. Вчерась Офроська внесла дрова да и надумай на икону перекреститься. Так Гараня как вскочит, да к ней. Да в толчки ее от иконы-то. Вот он какой, Гараня-то! Вот бог ему и помогает. В купцы, видать, Гараня наш выйдет.

— А ты, Родька, расскажи, как его на Миколу Ларион Петрович рассчитывал, — запросили ребята.

— Да я уж рассказывал. Все слышали.

— Дедушка Иван не слышал... Расскажи.

— Ну чего... В конторе дело было. Стоят, значит, работники. Ларион Петрович за столом сидит, рассчитывает народ. На счетах щелкает. Гаране и говорит: «Ты что, говорит, за деньгами?» — За деньгами, дескать, сударь Ларион Петрович, к вашей милости. У него, у Гарани-то, масло лампадное о ту пору вышло, а то бы и не просил. Так вот. «Сколько, говорит, тебе денег-то?» — это Ларион-то Петрович. «Да мне бы, говорит, полтину», — это Гараня-то. Ларион Петрович и давай считать, шашки так и прыгают. «Ты, говорит, на заговенье рупь брал? — Брал! Да я тебе рупь давал. Вот, говорит, тебе и два целковых. А на введенье, говорит, помнишь, ты три рубля просил, а я не дал, — ну, грех пополам, — еще тебе полтора целковых». Да так и насчитал ему Ларион-от Петрович забору на все зажитые. Насчитал Гаране за шесть недель три семитки. А Гараня и тому рад, на масло-то богово хватит.

Иван только головой качал на такие родькины речи.

«Ну как дознается Ларион Петрович, — думал он. — не сдобровать парню. Хоть мать бы пожалел, озорной».

— Спать бы ложились, баламуты, Ларион Петрович не приказывал долго сидеть.

— Ничего, дедушка, хозяин лучину только не ведет жечь за поздно, — много сожжем вишь. Не обеднять бы, боится. Ну, а мы без лучины сидим.

II

Двое ребят поменьше, сидевшие до сих пор молча и дремавшие у печки, поднялись и вышли во двор.

В дальнем углу у Гарани попрежнему теплилась лампада. Гараня уже не молился. Он сидел на скамье и, держа в руке большой ломоть хлеба, медленно откусывал от него и громко чавкал.

— А ты что не дома ночуешь? — спросил Иван притихшего Родьку.

— Так, — неохотно ответил тот.

— Как это так? Люди на праздник по домам ушли. Выпарились, поди, на праздник-от, да и на боковую. Али опять с матерью что?

— Нет, — опять неохотно протянул Родька.

Дверь отворилась, впустивши мохнатое облако пара. Босиком и в одних рубашках вернувшиеся ребята озябли. Ежась и охая, они полезли на печку.

— А в ворота-то стучат, дедушка, страсть как, — сказал один из них.

— Кого это бог несет? Разве к барыне кто? Пойти отпереть.

И Иван, нахлобучив на голову облезшую шапку, вышел.

За воротами слышался невнятный говор и стук. «Не Рогача ли опять нелегкая принесла?» — подумал Иван, подойдя к воротам.

— Кто там? — крикнул он громко и строго.

— Мы! Отпирай, старик, — купцы приехали!

— Каки там купцы! Рогач, — ты, что-ли?

— Купцы первой гильдии Рогачевы — вот кто! В гости к хозяину... Чай заждался?

— Поди-ко, поди-ко с богом домой, Рогачев. Нет дома Ларина Петровича. Уехал...

— Уехал? Как это уехал?.. Купец первой гильдии к нему в гости, а он уехал. Мы бы с ним побаяли, посудили бы, как народ от обманывать. А ты не врешь, Финогеныч? Может, он спрятавшись?.. Дорогого-то гостя побавляется, сучья морда! Кровосос!..

— Поди, поди с богом, Рогачев, поди prospись. Ночь уже давно, не булгачь людей, — умолял сторож.

— Ну и пойду. Скажи кровососу-то, Ларивошке-то, что, мол, купец первой гильдии Рогачев к нему в гости жаловал... А я еще приду... Я ему еще покажу ассигнации...

За воротами стихло. По скрипу снега было слышно, что поздний гость удалялся... И вдруг в сонной улице раздался крик:

— Фабрика гори-и-и-т!.. Ларивошкина фабрика гори-и-т!

У Ивана захватило дух. Горит? Где горит? Но нигде не было видно ни дыму, ни пламени. Во дворе попрежнему тихо. А за воротами слышался тот же пьяный, затихающий голос:

Как на мсляной неделе
Во субботу темну ночь...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

Вернувшись из города с копией контракта в кармане, Резников еще усиленное принялся делать пробы заварных ситцев, «не уступающих заморским по качеству».

В заветной книжечке, которую он берег пуще глаза, вписаны тарабарской грамотой секреты составления красок, загусток, протрав, написанных русскими буквами, но не русские мелькают сло-

ва: чмапак, цигь, окшама. Только Резников разберется в них. Случись беда, попади книжка в чужие руки, — и прочитают да не поймут.

Некоторые секреты не раз были испытаны — и раньше пробовал их Федор и здесь, приравливаясь к местной воде и новым материалам. Другие секреты были ненадежны. При пробах то цвет получается неровный, с ласами, то краска смывается, то выцветает при сушке.

С утра до вечера, запершись в секретной, Резников без конца проделывает пробы, меняя по-разному составы, время варки и заваривания ситцев.

Работа в набоечной пока шла по-старому, масляной краской, для заварных красок подходящих приспособлений не было. Но вот фабрика с заваркой построится, надо будет на новый способ переходить, не ударить лицом в грязь, и он спешил со своими пробами.

Отпустив с утра Тимке краски для набойки, Резников разложил на столе свои записи и разбирался в них, оглядываясь по временам на очаг в углу, где в горшке нагревались составы.

На очаге зашипел забытый им горшок, который он часа два уже нагревал на тихом огне. Состав закипел. Федор поднялся и, подойдя к очагу, передвинул горшок на край, перемешивая в горшке палочкой.

В дверь застучали, и Резников услышал: «Федор Андреич, хозяйка, Александра Мефодьевна, прошла в набоечную». Он подошел к двери и, отворив, спросил Тимку:

— Давно прошла?

— Нет, только что, я в окно увидал. Одна прошла.

Федор подсадовал, что руки у него по локоть в краске, и стал мыть их под висящим в углу глиняным рукомошкой.

Вошла Александра Мефодьевна.

— Я слышала, у вас на вход сюда запрет наложен?

— Помилуйте, Александра Мефодьевна! Для кого запрет, а не для вас... Вот беда... сесть вам не на что, грязновато тут... Тимка! — крикнул он. — Сколь раз говорил тебе, чтобы подметал здесь неукоснительно, вишь грязи развел сколь!..

— Да ведь не допускаете... — вполголоса оправдывался Тимка, входя с веником. Но Резников не дал ему навести порядок.

— Ладно уж, в другой раз! Поди там, делай свое дело. Редко заходите, Александра Мефодьевна, — продолжал он, обращаясь к хозяйке, стоящей посреди секретной. — Не в укор вам, вестимо, говорю — воля ваша хозяйская. А порядок в деле соблюдем и без вашего утуждения.

Говоря, он улыбался, стараясь под легкой шутливостью скрыть свое смущение.

Неторопливо Александра Мефодьевна оглядывала комнату с каплями пота, стекающими по стенам и своду. С любопытством остановила глаза на полке, где в ряд были расставлены пузырьки и банки с разными снадобьями.

«Какая красивая!» — мог только про себя подумать Федор, гля-

дя на нее, одетую в голубую шубку, с головой, покрытой дорогим теплым платком, из которого выглядывало разумянившееся от мороза лицо.

— Прохворала я неделю, ну и не пришлось выходить, — неторопливо и просто говорила Александра Мефодьевна и попросила показать новые образцы ситцев.

Резников, сдвинув на столе книжку и чернильницу, разложил образцы. Нагнувшись, женщина с любопытством разглядывала их.

Сквозь замерзшие и запотевшие стекла скупно проходил свет. Но и так рисунки на образцах были как живые. Вот травчатый — зелень по красному полю, вот личинный — по боковому полю желтые птицы, переступающие с ветки на ветку дерева. Вот простые рисунки — дорогами, шашками.

Александра Мефодьевна с увлечением перебирала образцы. Особенно понравился ей рисунок, где по черному полю рассыпаны пятна красной, желтой и голубой краски.

— Хорош будет сарафан! — заметила она. — А вы, однако, изрядно выпачкались, вон и лицо в краске! — обратилась она к Федору, сложив образцы.

— Где? — Резников начал водить ладонью по лицу.

— Да нет, не тут... вот пятнышко, — и она, чуть улыбаясь, пальцем дотронулась до его щеки, оглянувшись на дверь.

После короткого молчания она спросила:

— Привыкаете у нас? Жалуйте по праздникам... Ларион-то Петрович не хочет, недогадлив он, а вы, небось, скучаете?

Резников растерянно благодарил, провожая хозяйку через красоварку и белильню на улицу. Вернувшись, он заметил, что, уходя, забыл запереть дверь секретной.

«Вот ведь до чего взбаламутила, — подумал, усмехаясь, — и зачем заходила? Неужель только на образцы поглядеть? Ведь их все почти брал с собой Ларион Петрович, наверное ей показывал. А хороша! Взглянешь на нее — за сердце что-то хватает. Заставь такая — в огонь и в воду полезешь». Мысли понеслись вслед за красавицей-хозяйкой. Точно горит то место на щеке, где она коснулась пальцем.

— Что, часто хозяйка ходит в фабрику-то? — спросил Резников Тимку, выйдя в красильную.

— Да не... не часто. Она больше по дому да по торговле.

Дальше Федор не стал расспрашивать, боясь вызвать в Тимке подозрения. Но потом, как бы невзначай, при разговорах с ним старался свести разговор на Александру Мефодьевну.

«Что она: иль больно проста, иль умна? Держится как-то по-особенному. Есть в ней что-то... А что — не поймешь. Вот, наверное, также соблазняли раньше святых. С виду, как ангел, а чувствуется что-то греховное в ней», — рассуждал Резников сам с собой.

Одеваться после этого случая он стал чище, часто мыл руки, как только приходилось испачкаться в красках. Почему-то казалось, что Александра Мефодьевна будет заходить. Но она больше не заходила. А, встретившись как-то во дворе, она молча отве-

тила на его поклон. Эта встреча во дворе расстроила Федора. Ему показалось, что в поклоне Александры Мефодьевны были преднамеренная сухость и пренебрежение.

«Как последнему работному кивнула», — с досадой думал он.

II

До четырнадцати лет Резников жил дома, в семье потомственного «пестрядильника». Отец его, как и дед, жители подмосковного села, мещане московские, занимались набойкой. Семья раньше жила богато: дед после пожара избу в два жилья построил. Вверху была светелка, где всей семьей, от мала до велика, холсты набивали да красили. Раз в неделю готовый товар в Москву отвозили. У Андрея Резникова, отца Федора, деньжонки водились, хоть капиталов от работы он и не нажил. Стал Андрей подумывать дело расширить, мастерскую завести, а тут фабрики ситцевые начали заводиться. Товар ходко идет. Дело привычное. И решил Андрей подрастающего сына Федюшку в люди вывести, а кстат и своего мастера иметь, чтобы расширить свое заведение. Кое-с кем посоветовался и пристроил сына учеником в далекий Петербург, на ситцевую фабрику Козенса. Где и ни научиться, как на такой ман фактуре, на которой заморскими способами ситцы выработывали.

Были и у русских купцов фабрики, ближе Петербурга, здесь же в Москве, да Андрей побоялся, что Федюшке с такой фабрики потом, пожалуй, и не вырваться. Были случаи, что закрепощали фабриканты и свободных людей. А тут, у нерусского хозяина, казалось, надежнее.

Займется сын, обучится, красоваром будет, тогда и свое дело можно будет развернуть.

Туго спервоначала в ученьи парню пришлось. Об ученьи и помина не было. Учеников заставляли холсты таскать, то на белильный луг, то с него опять в фабрику. Не сразу добился Федюшка, чтобы краски толочь допустили. Хоть и обязан был хозяин фабрики Козенс по данной ему в 1753 году привилегии «российских людей совершенно обучить», однако больше следил, чтобы кто из этих «российских людей» чему-нибудь не выучился. В красоварку людей с разбором допускали.

Смекалистый и жадный на науку, Федюшка почти дурачком прикинулся, сказался безграмотным, лишь бы подозрения не было, что он делом интересуется. Как скупец копит копейку за копейкой, рубль за рублем, так и Федюшка каждый пустяк в деле не упускал из вида. Прослеживал, куда куски товара переносили, сколько времени отбелка шла, какие материалы употребляли. Подолгу сам с собой обдумывал слышанное от людей и виденное. Все старался понять и запомнить.

Нелегко жилось у Козенса российским людям, присланным к нему из разных мест для обучения. Голодом морили их на фабрике, работой изнуряли, за проступки палками били. Не выдержат ученики, бросят работу и в мануфактур-коллегию шлют ходочков

с челобитной. Особенно на то упирают, что хозяин их к делу настоящему не допускает, обучения никакого не дает.

В ответ Козенс на их непослушание да пьянство жалобы подавал. Бывало, что мануфактур-коллегия ходоков постановит выпороть, а Козенсу подтвердит его обязательство — обучить учеников неукоснительно.

Федюшка Резников в этих бунтах учеников не участвовал: то больным притворится в те дни, то просто в сторонке держится.

Козенс и мастера его старательного и послушного парня заметили, а видя его молчаливость да глуповатый вид, понемногу к делу приблизили.

В 1770 году мастер козенсовой фабрики Иоган Шейдеман, на котором все дело держалось, после больших скандалов бросил Козенса, получив разрешение на постройку своей фабрики.

Козенс оказался в беспомощном положении. Сам он дела красоварочного не знал, заменить сбежавшего мастера было не кем. Сразу мастера не подыщешь, а товар, заделанный в чанах да в котлах замоченный, отделявать надо.

Тут-то Федюшка Резников хозяина и выручил. Кое-что к этому времени он успел уже узнать и предложил товар недобеленный доделать. Козенс согласился, и Федюшка, сутками не выходя с фабрики, проверяя опытами разрозненные сведения, подробно расспрашивая рабочих, которые в разное время в красоварне работали, доделал товар и сам почерпнул в этом кое-что новое.

После, когда на фабрике уже новый мастер из немцев появился, Резников продолжал также втихомолку наблюдать да подсматривать. Теперь уже наука легче давалась. Он материалы знал, знал их названия и к чему они шли. При новом мастере его при красоварке оставили, в помощь мастеру.

Немцу по вкусу русская водка пришлась, и он частенько под хмельком пускался в разговоры с Федором, хвастаясь своими познаниями. Резников и этим не пренебрегал. Узнав мастера поближе, он стал ему шкалики приносить. Тот в благодарность учил его мудреным названиям красок и составов, очень довольный благоговейным выражением на простоватом лице ученика: сахарум-сатурн, кремортатор, сода аликанская, олия фиктириоль.

Стоит парень, глазами хлопает, рот даже раскрывает от изумления перед такой премудростью. Повторить даже толком не сумеет такие названия, не только чтобы понять что-нибудь. Умел Федор напускать на себя простоту, чтобы она закрывала его смекалку да острый ум. Мастер и не догадывался, что парень давчо уже знает не только эти хитрые названия, но много кое-чего и другого.

Так прошло несколько лет. Федор стал подумывать домой вернуться, своим делом заняться. Но вести из дома невеселые шли. Отца неудачи постигли. Попивать стал старик, а потом, года не прошло, как мать прислала весть, что отец долго жить приказал.

У Козенса в это время дело тоже стало разваливаться, про-

изводство сокращалось, и Резников перебрался в Москву, где уже красоваром работал на фабриках. Домой его не тянуло, от-
вык уже, да и матери в живых не было. Две сестры были заму-
жем. Имущества после отца не оказалось, не осталось даже ко-
тлов медных, в которых краску варили. Начинать своего дела
было не с чего.

В Москве он встретился с Ларионом Петровичем и, соблаз-
нившись большими заработками, поехал в Тайково, к нему на
фабрику.

По-настоящему у Тележниковых была простая набоечная, в
которой три десятка набоечников работали да крашенину в при-
дачу выделывали, вот и все заведение, хоть и называли Тележни-
ковы его по-модному — фабрикой.

Мечта, что с детства жила в Резникове, — в люди выбиться,
разбогатеть, фабрикантом сделаться, — начинала сбываться. Те-
перь только бы капиталец сколотить — и фабрику можно заве-
сти, зажить хозяином.

За последние годы он зарабатывал немалые деньги и порядо-
чно уже имел в купеческом банке.

«Еще годков пять-шесть на людей поработаю, — думал он, —
и бог даст свое дело заведу».

Впервые увидев Александру Мефодьевну, он подумал о том,
что не худо бы вот такую невесту, как она, подцепить. И хоро-
ша, и богата, и набоечное заведение в ходу. Расширить дело ума
хватит.

Мысль эта робко зародилась у него в голове, но чем дальше,
тем больше крепнет она и начинает казаться не такой уж не-
сбыточной. После посещения хозяйкой красоварки мысль эта
особенно не дает покоя Резникову.

«Эх, если б не Ларион, — темным пятном в светлых мечтах
ложится тень Лариона Тележникова. Чует Федор помеху в нем.
Крепко себя Ларион держит. — Уж тоже на нее не метит
ли? Хоть и родственник, да хитер, подлец, с него станется...»

— Ну, да увидим, — решает Резников, — кто знает, может
и судьба моя здесь.

III

Проводив глазами Резникова, вышедшего вслед за Алексан-
дрой Мефодьевной, Тимка вошел в секретную. В руке веник.
«В случае, скажу подмести вошел», — думает он.

Вот она на столе та книжечка, что так прячет старательно
Федор и в которую часто заглядывает. Поминутно озираясь
сквозь неприкрытую дверь в соседнюю красильную, он раскрыл
тетрадку и не дыша впился глазами в написанное. Но что это?
Он читает в недоумении:

Цигь

окшама липяго лапцаса 2 зунк

тмажрацу 1/2 зунк

лексимо-тимсаго хесьфа

Вышел негоропливо, проверил, ушел ли Резников, и, вернувшись, лихорадочно, буква за буквой, Тимка переписал загадочный секрет. В тетради и дальше было написано также тарабарской грамотой.

Когда вернулся Резников, Тимка на счетах сосредоточенно подсчитывал итог записи выданной сегодня краски. По временам он шупает сквозь рубашку спрятанную на груди бумагу с записанным секретом.

— Лапцаса? Что это за лапцаса? Что это за слова? — мелькает в голове. — А ведь это секрет записан красильный, это верно, — недаром написано тарабарщиной, не больно-то поймешь. Вот те и лапцаса!

Едва дождавшись вечера, Тимка после ужина, пользуясь тем, что Логиныч был в отъезде, разложил на столе бумагу и принялся разгадывать запись. Что написано по-русски, — он твердо знал. Но это все было похоже скорее на тарабарщину, которой говорят офени. У них ведь тоже русские слова, да переиначенные. Говорят меж собой точно бы и по-нашему, а не поймешь. Знал и Тимка, как слова засекречивать: стоит только перед каждым слогом слог «зе» вставлять и выйдет так, что не очень-то поймешь, не зная. Попробовал. Нет, в записи никакого «зе» лишнего не вставлено. Видать буквы тут переиначены. Проверил, не написано ли задом наперед, — тоже ничего не выходит. Вместо лапцаса получается асацпал, только и всего, яснее не делалось.

Догорел огарок свечи, глаза слипаются.

«Пора спать, видно до завтра отложить придется», — решил Тимка, наконец.

Но и на другой день разгадка вперед не подвинулась.

Скоро Тимка так затвердил тайную запись, что даже, ложась спать, с закрытыми глазами видел ее перед собой. Теперь он уже не вынимал запись из своего сундучка, она не нужна была больше, он помнил в точности каждую букву.

И за работой, и дома одна мысль у Тимки — разгадать тайную запись. Записывает он выданную краску, пишет одно, а в уме только: окшама, лапцаса, липяго.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В Иванове Ларион Петрович получил письмо, доставленное с оказией из города. Письмо было от графа Алсуфьева из Москвы, отправленное в город почтой.

Граф писал:

«Москва, генваря 2 дня 178... года.

Государь мой Ларион Петрович!

Я сего дня с почтою домовый конторе моей в селе Ильино дал повеление заплатить вам или поверенному вашему 1700 рублей. А как приказ мой получат 8 генваря, то ежели вы или присланный от вас явится к 9 числу, то получат без промедления.

Крайне сожалею, что в течение текущей зимы я не имел случая с вами увидаться. А сие весьма нужно по делам, как меня, так равно и вас касательным, и ради сего прошу постараться, коль скоро будете в Москве, со мною непременно повидаться. В ожидании чего пребываю вам охотным слугою

граф Алсуфьев».

Ларион Петрович увиделся с графом в начале осени, когда он ездил к нему в первый раз. Все старание приложил тогда Ларион Петрович показаться помещику человеком серьезным, услужливым и почтительным. В разговоре он поминутно называл графа «ваше сиятельство».

Ерзяя на кончике стула перед большим столом в богатом кабинете графа, он высказал благодарность за благожелательное отношение к ним, Тележниковым. Издалека речь завел о малопродуктивности графской вотчины, не постеснялся намекнуть, что в вотчинном правлении не без воровства дело идет.

— Лес мужики почему зря рубят, ваше сиятельство. Сам видел, ваше сиятельство. Пни и пни по всему лесу, ну просто жалости подобно, ваше сиятельство, ни за что пропадает лес, ваше сиятельство.

Солидно и с сожалением сетовал Ларион Петрович, что нет надлежащего надзора за графским достоянием. Что если бы старание приложить, то и недоимок оброка не было бы. Граф, в свою очередь, высказал, что мужики подвержены лени и пьянству и что управитель, вотчинный начальник, — из подлых людей, поэтому мужикам мирволит. Забыл Алсуфьев, что и его собеседник тоже не из сиятельных.

Под конец граф просил, не может ли Ларион Петрович подыскать верного человека ему в управители тайковской вотчины? И тут же выложил условие, чтобы доходность была повышена неукоснительно и что желательно, чтобы управитель из местных людей был, знакомый с вотчиной.

Ларион Петрович догадался, что Алсуфьев замаскированно ему предлагал быть управляющим. А когда граф в конце разговора просил к весне одолжить ему на некоторое время десять тысяч рублей, то Ларион Петрович принял это за условие. Охотно он обещал приложить все старания к исполнению графской просьбы. Обещал и десять тысяч взаем к весне подыскать.

Получив теперь от графа письмо, Ларион Петрович решил, что дело идет о том же займе, значит, и дело с управлением вотчиной будет решено.

Выехать тотчас по получении письма он не смог. Не было в наличности тех десяти тысяч, без которых незачем было к графу и ехать.

Раздобыть эти десять тысяч было главной заботой Лариона Петровича.

Нашел он их только ему ведомыми путями и в середине февраля выехал в Москву. Через две недели он обещал вернуться.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

I

Две недели прошло, но Ларион Петрович из Москвы не возвращался.

На третьей неделе Логиныч поехал в Иваново на четверговый базар, там и встретил хозяина. Возвращались в Тайково вместе, на подводе Логиныча.

Улегшись в саних спиной к ветру, Ларион Петрович рассказывал о поездке.

— Ну, теперь у нас, Логиныч, перемены должны быть, — весело говорил он.

— Иль хорошие вести из Москвы-то привез, сударь? — вопросительно глядя на хозяина, спросил Логиныч.

— Да, неплохие... Управление мне сдает граф всей вотчиной.

— Управление? — удивился Логиныч. — Это заместо, значит, вотчинного?

— Ну, да... В полную мою волю вся вотчина поступает. Бумаги пока еще нет, но бумага написана, с почтой идет в домовую контору в Ильино, а оттуда и сюда не замедлит притти. К пасхе дело будет закончено.

— Так... — протянул раздумчиво Логиныч. — Значит, в полное управление вся вотчина?.. Дай-то, господи, в добрый бы час, сударь. Большие дела затеваешь, сударь.

— Ха-ха-ха! А ты думал?.. Я, брат, не люблю кое-как! — самодовольно смеялся Ларион Петрович. — Ну и граф ценит людей. Видит, кто чего стоит. Небось, не всякому бы такое доверие оказал. Как думаешь?

— Вестимо, сударь, не всякому.

Логиныч поплотнее укрылся тулупом. Замолчали. Ларион Петрович погрузился в свои радужные мечтания.

Уже подъезжая к Тайкову, Логиныч после долгого молчания, видимо, всю дорогу думавший о новости, сказал:

— Ну, теперь не полюбится мужичкам. Вольно жилось им с Петром Никанорычем.

— Вестимо, вольно. Распустил совсем народ. А этого нельзя. Нам, ведь, дай волю-то, мы что: в деле нешто ее употребим? Нет, нельзя так с народом. Строгость нужна, без этого не обойтись. Лентяев да пьяниц разведешь только... вон вроде Рогача... Да где он, что-то не видать?

— В селе живет... На мельнице, слыхать, что-то поделывал, а опосля не знаю. Третьеводни его я с постройки прогнал. В воскресенье целая гулянка собралась, и он тут. Все врет, — неторопливо рассказывал Логиныч.

— Что врал-то?

— Да что он? — вспоминал Логиныч. — Про фальшивые деньги болтал. Я, говорит, знаю, где деньги делают, ну народ и огрудил...

— Деньги делают? — оживился Ларион Петрович. — Так и сказал? Гм-м, что это ему вздумалось?

— Кто его ведает. Не монетный ли, говорит, двор строите, это про постройку-то. Чего с пьяных глаз ни наболтает.

— А пьян был?

— Да нет, в этот раз ровно бы ничего.

— Что ему вздумалось о фальшивых-то деньгах говорить? — Ларион Петрович повернулся лицом к Логинычу. Логинычу показалась встревоженностью в голосе хозяина.

— Он еще, сударь, о святках как-то ночной порой пьяный в ворота стучался. Иван не пустил. Говорит, к твоей милости, и тож что-то деньги поминал.

— Давно это, говоришь, было?

— Да еще о святках. Твоя милость, должно, в отъезде был.

— Что это ему дались ассигнации-то?

— Я и то, сударь, подумал, не должны ли, мол, ему, не долги какой поминал?

— Да нет... Ничего не должен. Гм-м...

— Ну, тогда, значит, спьяна болтает. Он ведь какой... прямо беспутный, — говорил Логиныч, удивленный, что хозяин так близко к сердцу принял болтовню Рогача и явно встревожился.

II

По приезде домой Ларион Петрович не утерпел и на другой же день пошел в вотчинное правление. Обошел нижний этаж, где помещались вотчинный архив и темная, на этот раз пустая. Во втором этаже, поздоровавшись с вотчинным начальником Петром Никанорычем, он хозяйским глазом оглядел судейскую и сборную, где перед столом вотчинного стояли двое крестьян. Староста сидел в стороне на скамье.

— Аль покупать думаешь, почтенный Ларион Петрович, — полунасмешливо и полуудивленно спросил его вотчинный. — Аль за делом каким пожаловал?

«Не знает еще, не слыхал, вот узнаешь на днях», — злорадно подумал Ларион Петрович и внушительно ответил:

— Дела, какие были, мы с графом в ясность привели... Давно ли почту получили последнюю?

Вотчинный привстал и другим уже тоном спросил:

— Видели его сиятельство?.. В добром ли здоровьи нашли их?

— Да ничего, здоров, будто.

— Так... Ну, слава те, господи... А почту ждем-ожидаем, почтеннейший Ларион Петрович, со дня на день ждем... Ежели что будет вас касательное, не премину известить, — уже занскивающе рассыпался вотчинный.

«Известишь, как узнаешь», — думал Ларион Петрович, улыбаясь счастливо и направляясь домой.

III

Обширная площадь по левому берегу реки, в версте от села, заперестрела штабелями бревен. Глубокий снег примят то и дело подъезжающими подводами с лесом.

Ларион Петрович на постройку не раз на дню наведывался. С Резниковым обсуждали, где двери прорубить, где окошки, в каком покое что поставить.

Решено было набоечную и сушильную на старом месте оставить, при доме. В новой фабрике белильню поместить, красоварку, заварку, лоцилку и новую машину галандер. На галандер Федор взялся чертеж сделать, чтобы потом своими силами на фабрике и машину построить.

Не раз они с Ларионом Петровичем план обсуждали, разложив лист с чертежом на столе. Плохо план в голове у хозяина укладывался. Как строить начали, — на деле все ему по-другому показалось, что на плане было обозначено, хоть и сказал он про план: «Так ладно будет, я и сам так думал сделать».

Ларион Петрович, озабоченный, обходил постройку, перешагивая через разбросанные кругом бревна.

Солнце по-весеннему золотило свежее дерево. Снег днем начал притаивать, обнажая запорошенные раньше щепу и стружки. При ходьбе нога глубоко проваливалась в снег.

Ларион Петрович, обходя постройку, остановился, глядя, как плотники начинали подмащиваться. Сруб до окошек был уже вырублен. Силантий, в фартуке поверх армяка, подошел к хозяину. Густая борода на молодом еще лице делала его старше своих лет, степенным и уверенным.

— А я к твоей милости, сударь Ларион Петрович, — поклонился Силантий. — Ты не приказывал щепу ребятам брать... Оно, конечно, правильно: со щепой-то, глядишь, другой и обрубок потащит, — за всеми не углядишь... А все ж таки... болтают ребята, обижаются...

— Чего болтают-то? — перебил его Ларион Петрович. — Сказано — щепу не брать, ну и не брать. И разговор тут весь... Мне самому на фабрике мало ли топлива понадобится. Пусть лежит, а брать будут, — с работы сгною. Так и знайте...

— Да ведь, сударь, корысти-то и им в щепках немного... Все ж обижаются. Везде, вишь, плотники щепками пользуются. По мне хошь и не брать. А опасаясь я малость все ж таки... Мало ли что случается...

— Чего случается? Я денежки за работу плачу...

— Так-то так... А случается. Положит какой лиходей зелье в паз, разве углядишь. Глядь, потом хоть не живи в доме-то, — нечистая сила выгонит. Бывали случаи... За всеми не углядишь.

— Хм... Ты глядеть должен... А таких в артели зачем держишь, колдунов вроде?..

— Зачем колдунов! С молитвой делают, на кого обиду имеют. Исстари уж это ведется, что поделаешь. К тому же снег-от сойдет, — сколь этой щепы вытает. Долго ли до греха: заронят — и пожар.

— Хм... Ну, ин пусть берут. Скажи, хозяин, мол, за хорошую работу жертвует... Мне ведь не жалко...

Хозяина обступили возчики. Силантий отошел к плотникам, уставившим высокие стойки лесов.

— Хозяин говорит, — ответил Силантий одному из плотников, — чтобы, говорит, беспременно два венца в день укладывать. Тогда, говорит, и щепки братья запрету не будет... Надо налечь нам, ребяташки, а то не проработаться бы...

— А тебе бы, Силантий Трофимыч, насчет харчей-то молвить. С постных-то щей брюхо подводит...

— Ну, что харчи. Как уговор был, он его и исполняет. Знамо, не мясоед, — пост великий.

— Он, суета, и строиться-то в пост выбрал, — дешевле, вишь...

— Он и умирать-то в пост выберет, — поминки дешевле будет, — говорили вполголоса плотники.

Силантий посмотрел на солнышко и объявил залогоу.

Плотники воткнули топоры в дерево, отошли в сторонку и сели на бревна. Некоторые кисеты вынули, набили трубочки, высекли огня и закурили. Четверо подростков лет по двенадцати, работавшие в артели с отцами да братьями, первогодки, — особняком уселись на верстак в стороне.

Плотники, проводив глазами Силантия, направившегося к амбару за гвоздями, разговорились.

— Их, купцов да попов, нет жаднее, — начал Яков, пожилой плотник, кривой на один глаз. — У нас в селе раз что вышло. Потеха. Был у нас поп, не тот, что теперь — отец Василий, а другой, до него еще был. Детина — косая сажень в плечах, как говорится... Пожалуй, с двоими такими-то вон...

Яков обвел глазами сидевших и, кивнув на самого рослого из них — Семена из деревни Москвина, — продолжал:

— С такими, как вон Семен у нас, управится. Прямо здоровяк был. Рожа красная. Ручищи... вот этого бревна не тоньше... Попадья не старая, да и поп-от молодой еще... Вот и приглядишься этой попадье нашего барина сын... Слыхали, чай, — господа Бекетовы. Вот из них! Как уж они там снюхались, бог весть... Только это как поп в церкву или с требой куда, так помещичий сын к попадье. Да... Вот, так раз, к вечеру дело было, поп ушел вечерню служить, а к попадье милый-то друг тут как тут. Но прошло несколько минут, а поп вдруг идет обратно. Отворил это он дверь и глаза вылупил. Милый-то друг думает: ну, сейчас хлобыснет ему преподобие по загривку. Телом-то он слабоват против попа был. Напугался, — страсть как. А поп стоял-стоял, да как брякнет. «Ну, ты, говорит, за это, ваше благородье, меньше красенькой не отделаешься».

Плотники покатались со смеху.

— За десятку только попадью-то оценил?

— Не-ет. После-то, слышь, еще воз сена в придатку выторговал. Вот они, попы-то, какие жадные.

Кто-то еще что-то было начал рассказывать, да появился Силантий, неся гвозди в фартуке.

— Ребяташки, ребяташки! — кричал он, подходя. — Солнышко вон уж где. Приниматься пора!..

Конец первой части.

ДМ. СЕМЕНОВСКИЙ

ТКАЧИ

В залы фабрик-дворцов, где блестят огоньки
За туманом, за мглой предрассветной,
Нас протяжно и звонко скликают гудки
Ткать отчизне убор многоцветный.

Бодро люди спешат в голубой полумгле
На призывы фабричных предместий.
Труд свободных людей на свободной земле —
Дело доблести, славы и чести.

Были годы без песен, цветов и лучей:
День и ночь по цехам-казематам
Ткали толпы голодных угрюмых ткачей
Счастье праздным и роскошь богатым.

Никогда, никогда не вернутся назад
Эти годы народных страданий.
Наша доля светла, как девичий наряд,
Весела, как рисунок на ткани.

На колхозных полях колыхается лен,
Спелый хлопок блестит-серебрится.
Мы наткем кумача для победных знамен,
Мы наткем разноцветного ситца.

Будет ситец нарядный, как поле, цвести,
Улыбаться, как май синеокий,
Будут наши знамена к победам вести,
Звать героев на подвиг высокий.

ЦВЕТЫ

„Наберу разных полевых цветов и пишу картину... На первый взгляд у меня получается букет цветов, а когда взглядишься — тут бой или гулянка“.

И. Голиков. „Сквозь бури эпохи“.

Овеян роем зыбких грез,
Художник вихрей пышноцветных,
Он шел под пенье сонных ос
Среди цветов и трав несметных.

Срывал смолистую дрему,
Сбирал пунцовые гвоздики, —
И все мерещились ему
Далекой битвы гул и крики.

Тот век не прошумит опять,
То время накрепко забыто,
Когда родных раздолий гладь
Топтали хищные копыта.

Вдыхая нив зажженных гарь,
Пугливо мчались кони в сечу.
С веселой яростью дикарь
Стремил копые врагу настречу.

Все миновало. И в местах,
Где силу истребляла сила,
На истлевающих костях
Земля свои цветы взрастила.

Корнями трав обвит булат,
Товарищ грозного разгула,
А позолота праздных лат
На одуванчиках блеснула.

И, верно, из людских сердец,
Пронзенных в страшном поединке,
Возносит кашка свой венец,
Гвоздика — лепестков кровинки.

Кругом — покой. И ни одно
Над полем зарево не взвито.
Тот век прошел давным-давно,
То время накрепко забыто.

Но человек с пучком цветов,
В руке коричневой зажатых,
Так ясно видел строй щитов
И слышал пенье стрел пернатых.

И в краски светлых летних сил,
В красу июньского цветенья
Он прихотливо нарядил
В мечте возникшие виденья.

О, вихрь цветов! Татарский щит
Круглится венчиком ромашки,
Созревшим колосом блестит
Клинок отточенный и тяжкий.

Соцветьем яркого венка
Пылают вздыбленные кони,
Один — синее василька,
Другой — как лютик на прогоне.

И лучезарный ореол
Июньской неги и покоя
Под вещей кистью перецвел
В кипучий смерч степного боя.

ЛУКОМОРЬЕ

Палешанину Д. Н. Буторину

Надев измятую фуражку,
Идешь задворками к реке:
Пальто и сердце — нараспашку,
Ведерко с удочкой — в руке.

Ты сядешь под ольхой прибрежной,
Где тень от листьев так сладка,
И остановишь взгляд прилежный
На желтой пробке поплавка.

Луга туманом обольются,
Засвищут косы по траве,
Куском фаянсового блюда
Луна проступит в синеве.

Пройдут с полей односельчане,
Пригонят стадо пастухи, —
И к берегам реки в тумане
Подступят сказки и стихи.

Под лунной тонкой паутиной,
Заткавшей тихие плеса,
Все будет чудиться за тиной
Большая пышная коса.

И струйки Палешки студеной
Вздыхнут, как струны, под кустом:
«У лукоморья — дуб зеленый,
Златая цепь — на дубе том...»

Сгорят за днями дни. И сказки,
Что колыхались над рекой,
Ты, мастер, в золото и краски
Нарядишь легкою рукой.

Прибой о берег волны вспенит,
Русалка выплывет из вод,
Ученый кот очки наденет
И речь под дубом поведет.

Но кто поймет, что в этих дивах
Заговорившего холста —
Родных полей, туманов сивых
Живет и светит красота?

Кто в дубе сказочном узнает
Тень от ольхи на берегу,
А в лукоморья угадает
Студеной Палешки дугу?

С НОВОЙ ДУМОЙ

(Из Я. Купалы)

С новой думой, с новой песней
Выйдешь ты на нивы,
Выйдешь ты с весною вместе,
Брат мой терпеливый.

Будешь сеять новью всхожей,
Как янтарь, отборной,
И никто тебя не сможет
Сбить с дороги торной.

Мысль твоя помчится птицей
Через доли, горы.
Что считал ты небылицей, —
Въявь увидишь скоро.

Станет жизнь твоя веселой,
Ясной, бестревожной.
Не знавать тебе тяжелой
Маяты острожной.

Будешь гордо любоваться
За столом накрытым,
Как с тобой сидит богатство
Гостем именитым.

Черных дней боязнь отбросишь,
Нудную кручину.
В сундуки добра наносишь,
Пустишь в хлев скотину.

Из-за шапки, что не снял ты,
Пан — спесив, заносчив —
Бить тебя не будет палкой
Из твоей же рощи.

Ты навеки позабудешь
О житье постылом.
Человеком зваться будешь,
А не панским быдлом.

И довольный светлой долей,
Радостный, счастливый,
Заживешь на вольной воле,
Брат мой терпеливый.

СВОЕМУ НАРОДУ

(Из Я. Колоса)

Выходи на простор голубой,
Мой народ от велика до мала!
Много ясных дорог пред тобой
Обновленная жизнь начертала.

Доля новые зори зажгла.
Будешь жить ты без панской опеки,
Отошла их пора, отцвела,
И панам не вернуться вовеки.

Погляди, как просторно вокруг,
Как притихли дворцы и костелы.
Все твое: это поле и луг,
А дворцы пригодятся под школы.

Шествуй смело и честно вперед
С нами об руку к славным победам.
Мудрый Сталин ведет свой народ
Самым верным, испытанным следом.

Выходи на простор голубой,
Мой народ от велика до мала.
Сто счастливых дорог пред тобой
Обновленная жизнь разостлала.

И. ВОЙТЮК

СЕРАЯ ЛОШАДЬ

Я, знаете, по природе своей не хвастун. Как бы хорошо что я ни сделал, никогда не стараюсь показать товар лицом, не хвастаю. Но если отличился мой боец, — тут уж, простите, — не утерплю, чтоб не прихвастнуть.

Так и тогда с этим серым конем вышло, будь он не ладен. Однако — по порядку.

С Александром Николаевичем Шевченко я познакомился в 1930 году в Ленинграде. Он тогда учился на последнем курсе во Фрунзовке, а я заканчивал механический курс в Дзержинке. Мы с ним быстро сошлись и на Дальний Восток ехали уже друзьями.

Здесь наша дружба крепла с каждым годом. Мы попали служить даже в одно соединение. Прошлой осенью Сашу назначили командиром монитора, а я остался на старом месте, только получил повышение — меня назначили механиком соединения.

В эту зиму и произошла история с серой лошадю.

В Доме Военно-Морского Флота организовали выставку творчества краснофлотских художников. Мой боец, кочегар одного из кораблей, Павел Соловьев, написал к выставке картину — написал превосходно! Я, знаете, не художник и во всяких там тонкостях живописи плохо разбираюсь, но эту картину я, да и все, кто ее видел, сразу оценили по достоинству.

Я заранее был уверен в успехе произведения моего бойца. Вот тут-то и вышел случай с серым жеребцом. Однако — по порядку.

В день открытия выставки я зашел к Саше и приглашаю его на открытие. Он был у нас большим ценителем живописи и втихомолку сам малевал пейзажики.

— Я с удовольствием, — говорит он, — да Танюша моя что-то скисла.

— Ну, что вы, Татьяна Васильевна, — это я ей так, — сегодня такое, можно сказать, знаменательное событие у нас, а вы болеть вздумали.

— Голова что-то кружится, но я, пожалуй, пойду.

— В таком случае — вот ваше пальто... Саша, тащи шапочку, — скомандовал я. И мы пошли.

На выставке народу — не протолкаться. Ходим мы и смотрим. Здорово пишут ребята! Я, знаете, не художник, но если вижу хорошую картину, то всегда отличу ее от плохой.

И каких тут только картин нет! И Герои Советского Союза, и артисты, и пехотинцы, и ученые, а потом уж всякие там этюды и пейзажи. Я уже не говорю о линкорах, танках и самолетах — тут все роды войск представлены.

Вот бродим мы среди кораблей и самолетов, а я уже нащупал глазами картину Соловьева и, уклонившись от курса на два румба, продвигаюсь к ней.

— Ах, что это за прелесть! — воскликнула Татьяна Васильевна, когда мы подошли к картине Соловьева. У картины толпилось множество зрителей. Сам художник был тут же и не успевал отвечать на многочисленные вопросы.

Картина называлась «Прощание с конем». На ней Соловьев изобразил самого себя и своего любимого жеребца «Сыча». На полотне стоял дородный, изумительной красоты донец. Серый, в яблоках, конь был изображен «в профиль». Морду жеребца нежно обнимал молодой колхозный конюх Павел Соловьев — он им был в колхозе, — припав к ней щекой. Статный, с крутым широким крупом, тонконогий конь стоял спокойно, как бы прислушиваясь к ласке хозяина, а в добрых карих глазах животного залегла почти человеческая грусть. Этаким художественной силы я в жизни не видел!

Я, знаете, плохо разбираюсь во всех этих лошадиных тонкостях. Но тут меня покорило мастерство художника, покорили... лошадиные глаза. Парадокс, ей-богу, парадокс!

Я оглянулся на Сашу: глаза у него стали широкие-широкие, а лицо — белое, как чехол на бескозырке.

«Ага, — думаю, — колхозная твоя душа, взяло за сердце! Вот любуйся, как кочегары пишут». Тут я прервал охи да ахи Татьяны Васильевны и пустился пространно излагать историю создания этой картины. Уж не помню, сколь долго длилась моя лекция, но только, оглянувшись, я Саши не обнаружил.

— Наверное, к другой картине перешел, — сказала Татьяна Васильевна.

Меня взяла обида: как это можно уйти от такого творения, не сказав ни слова о нем.

— Разыщите его, Татьяна Васильевна, и волоките сюда живого или мертвого.

Через несколько минут она вернулась расстроенная, чуть не плача. — Нет, — говорит, — нигде, наверное, ушел домой.

После этого, знаете, пропал у меня интерес к выставке, я ломал голову, чем это я обидел Сашу? Уж не ошибся ли я в картине Соловьева...

Вскоре мы с Татьяной Васильевной тоже ушли. Всю дорогу мы угадывали причины загадочного бегства Саши. Заходим в квартиру. В прихожей висят шапка, шинель — значит дома. Мы тут же повесили свои одежды и ввалились в кабинет.

Саша лежал на кушетке с закрытыми глазами, зажав в углу рта потухшую папироску. На полу валялись окурки. Я молча присел к столу, а Татьяна Васильевна, укоризненно качая головой, стала подбирать окурки с пола. Откашлявшись, я приступил к допросу.

— Товарищ капитан-лейтенант, — начал я сугубо официальным тоном, — не будете ли вы так любезны дать объяснение некоторым вашим поступкам, выходящим за рамки приличия?

Лицо Саши болезненно поморщилось, и он глухо ответил:

— Не балагань, Петя. Мне тяжело. Эта картина вызвала тяжелые воспоминания...

— Изволь, Саша, иду навстречу запросам масс — балаган закрываю, но решительно отказываюсь понять связь серого, в яблоках, жеребца с твоей биографией.

Александр долго молчал. Выкурил еще одну папироску и только после этого ответил на мой недоуменный вопрос.

— Отец мой, Николай Архипович Шевченко, всю жизнь старался приобрести коня. Вы понимаете, крестьянин без коня — то же, что командир без войска. Вот таким командиром без войска и был мой отец. На Украине он работал у помещика и земли своей не имел. В Сибири, куда он переселился в 1903 году, отец получил клочок собственной земли, построил крохотную лачужку, коня только не было. А как он его хотел иметь! Ему по ночам снились кони, целые косяки коней...

Старик начал постепенно скупать сбрую. Старый хомут «дал» сосед Станислав Казимирович — за работу на его земле, седелко «подарил» — тоже за работу — другой сосед, Иван Сидорук, дугу я нашел у околицы — потерял кто-то. Даже ветхие розвальни появились в нашем хозяйстве, а коня все не было.

Если отец слышал, что где-нибудь продается лошадь, он обязательно приходил туда, долго торговался с владельцем, внимательно оглядывал и ошупывал коня, смотрел ему в зубы и каждый раз, глубоко вздохнув, уходил со словами: «Добрый кинь, та цина нэ пидходяща».

Сельские остряки зло подшучивали над стариком. Придет, бывало, такой озорник к отцу, сядут они на завалинку, свернут цыгарки и калякают обо всем. А под конец, между делом, гость и скажет, что ему говорил Мусий Никонович, будто у них в Юрьевке продается добрый конь — «ну зовсим-що задаром». Вот только он запомнил фамилию владельца этой сказочной лошадки, ну, да Мусий Никонович скажет.

— Вы ж знаите Мусия Никоновича? От вин вам и покаже.

С этой минуты отец уже не мог дожидаться, когда уйдет гость. И как только он, хихикая в бороду, уходил, старик, не глядя на погоду, в ночь, полночь, собирался и шел в Юрьевку за пятнадцать верст.

Потом оказывалось, что ничего Мусий Никонович никому не говорил и ни про каких коней ничего не слышал. Кляня свою судьбу, старик возвращался домой.

Так, в мечтах о коне, дожили мы до революции. Как-то осенью через наше село, от Колчака в тайгу, уходил знаменитый партизанский отряд Щетинкина. В неравном бою он оставил на поле брани почти две трети своих бойцов и уходил теперь в таежные дебри, — где партизаны были полными хозяевами, а колчаковцы туда боялись даже нос сунуть.

Колчаковцы прекратили преследование Щетинкина, и поэтому он в нашем селе дал первый отдых своему измотанному вконец войску. Стояли они у нас шесть дней.

Как-то вечером зашел к нам Станислав Казимирович и завел речь про белых, красных, про хозяйство, про коней.

Старик мой не разбирался в этой сложной путанице войск и правительств. Под конец беседы Станислав Казимирович сказал:

— Так ты и не пойдешь к Щетинкину? Вин же каже, що стоит за вас, за бидняков. Може вин и тоби коня даст? А може и золота одвалить с гарниць.

— Вы скажэтэ, — у него самого золота чорт ма.

— А куда вин див, що ему Ленин дав? — с этими словами сосед удалился.

Всю ночь мой старик кряхтел и ворочался на печке, а на утро не вытерпел, обул новые лапти, свитку поцелее и пошел в школу, где разместился Щетинкин со своим штабом.

Выслушав просьбу отца относительно коня и золота (в золото отец мало верил и запросил его побольше в расчете, что хоть коня, да все же дадут), Щетинкин страшно рассердился.

— Какой дурак тебе сбрыхал про золото и наговорил всякой гнуси про Ленина, — ты знаешь, кто такой Ленин? — гневно спросил партизанский вожак.

— Станислав Казимирович казав, — оправдывался перепуганный отец.

— Казав, казав, — передразнил Щетинкин. — Мошенник твой Станислав Казимирович, — скажи ему, пусть попридержит свой поганый язык за зубами, а не то потеряет его вместе с головой.

Щетинкин долго рассказывал отцу про большевиков, про советскую власть, а в заключение приказал своему адъютанту выдать старику коня.

Из всей речи партизана отец понял одно: Ленин хочет, чтобы не было богатых и бедных, чтобы все жили хорошо, а Станислав Казимирович не согласен с Лениным. Он понял, что ему дали коня только потому, что сам Ленин этого хочет. Щетинкина же отец принял за ближайшего друга Ленина и самого большого начальника, какого он когда-либо видел. В этом мнении старик еще больше утвердился, когда увидел, как Фотий Карпович Приходько еще за дверью снял шапку и все время кланялся, подходя к Щетинкину. Он пришел просить, чтоб скинули с него контрибуцию, которой партизаны обложили в селе всех богатых.

— Ваше сиятельство, — униженно тянул Приходько, — цеж прехня, що я богатый: грошей — нэма, хлиба — нэма, коней — нэма, ничего в мэнэ нэма.

«От бр-ше», — думал отец. Кто же не знает, что богаче Фотия Карповича во всей волости нет мужика. Но сказать это вслух отец побоялся, да и не было в том нужды, потому что сам Щетинкин, как дважды два — четыре, доказал Фотию Карповичу, сколько у него есть коней, сколько хлеба, «а грошей ваших нам не нужно», — утешал он Приходько.

Щетинкинский подарок был серой масти в яблоках. Это было страшно высокое и худое тягло. Таких по росту и упитанности коней в нашем селе ни у кого не было.

— Конь добрый, — говорил старику адъютант Щетинкина, хлопывая по спине этого достойного потомка Россинанта. — На нем наш начальник штаба ездил. Убили молодца, мерзавцы. Эх, и рубака был, старина, его колчаковцы боялись не меньше самого Щетинкина! А коня береги. Подкорми овсецом — он быстро в тело входит, тогда всему селу нос утрешь.

Ходили мы за Серым, как за родным ребенком. Сами того не ели, что давали ему: хлеб, сухари в молоке — овса у нас не было. И правда, через какой-нибудь месяц Серого не узнал бы и сам Щетинкин. Стал он сытый, резвый, бывало, как ведешь на водопой — все село любит. Станислав Казимирович чуть не лопнул от зависти и все говорил отцу, что если бы не он, — не иметь нам коня. А мой старик даже помолодел и всем хвастает, что дать ему этого коня велел сам Ленин через своего друга и помощника Щетинкина. Жалел отец коня больше сына. Запрягал он его в самых необходимых случаях: дров там или сена привезти, и то раньше сходит в лес, нарубит дров, а потом уж приходит за лошадью.

— Нащо вин будэ морозыцца, покы я дрова готовлю, — отвечал отец на насмешки соседей, — что вот, дескать, и конь есть, а ты все пешком ходишь... Если нужно было по делам в волость или еще куда, старик попрежнему ходил пешком.

Конь был действительно всех качеств. Сильный, спокойный такой, что даже дети к нему подходили, а в упряжке резвый. По вечерам мы всей семьей мечтали о той счастливой минуте, когда выедем пахать на собственном коне. Старик мой сумел где-то раздобыть плуг, сам смастерил телегу. Он чувствовал теперь себя настоящим хозяином. На сходках садился в первом ряду и заводил со стариками хозяйственные разговоры.

Дело близилось к весне. Уже прилетели грачи и прочие спутники весны. Поля запестрели проталинами. В один из таких дней старик ушел в лес рубить дрова, — дорога вот-вот готова была испортиться. Я задал Серому сена и пошел в школу.

На большой перемене, смотрим, по улице проскакало пять всадников на взмыленных конях и прямо к дому Станислава Казимировича. Пока мы думали да гадали — белые это или красные, — всадники по одному рассыпались по дворам. Оттуда вдруг раздались крики: голосили бабы, плакали дети, лаяли собаки. Во дворе вдовы Петровой грохнул выстрел, — это казак пристрелил ценную собаку. Над селом стоял такой дикий вой, какого мы еще не слышали.

Но белых не смущали вопли крестьян, казаки бродили по дворам, конюшням, отбирали лучших коней, уводили их к Станиславу Казимировичу. Вот прогарцовал на рослом сером коне казак. За ним бежали лошади, привязанные поводьями за хвосты друг к другу. Под казаком шел наш Серый.

Прибежав из школы домой, я увидел: мать, старшая сестра Ирина и вся детвора плакали по Серому, как по покойнику. Я тоже не удержался и заревел.

Так плакали мы, пока не вернулся отец из леса. Узнав, в чем дело, старик с кулаками пошел на мать.

— Що ты, стара кляча, дывылась? Сэрэдь дня мужика обкрады, а вона мовчыть! Так и тэбэ с дитьми и хату забрать можут.

Таким взъяренным отца я еще не видел. Он непристойно бранился, крушил все, что под руку попадало, грозился перебить «злodiив поганных», а потом, выбрав здоровенный кол, пошел на расправу к Станиславу Казимировичу.

— Дытыно, бижи за Петром, — взмолилась мать к Ирине. Она знала, что отец вступит в драку с казаками, и они его если не убьют, то покалечат. Сестра побежала на край села, к брату отца Петру, чтобы тот пришел утихомирить старика. Бедная Ирина, лучше бы она не возвращалась назад...

Собрав штук сорок лучших в селе коней, казаки согнали их в обширный двор Станислава Казимировича, а сами пьянствовали в его доме. Наш Серый стоял под роскошным седлом, привязанный к крыльцу, его облюбовал себе сам предводитель этой шайки казаков — есаул Дубинин.

Во дворе толпилось человек двадцать мужиков, чьи кони были взяты. Отец подошел к Серому, снял с него сбрую, бросил ее прямо у крыльца в грязь и стал отвязывать коня.

— Ой, Мыколай, ны шуткуй, — зловец предупредил Станислав Казимирович.

— Цыть, собака, — выкрикнул гневно отец, — мий кинь, мини его Ленин дав. Ось що твоим козакам, а не кинь! — При этих словах отец скрючил из пальцев подобие кукиша, покрутил им перед носом соседа и повел Серого в свой двор. Он всю дорогу бранился, что вот, дескать, везде нужен хозяйский глаз, чуть-чуть недосмотри, мигом добро растащат. Не прекращая ругани, старик начал запрягать Серого в розвальни — за дровами ехать.

В это время, оглашая воздух отборной бранью, во двор к нам ввалилась пьяная ватага казаков. Есаул шел впереди, широко ставя ноги в узких красных штанах. Он крутил над головой нагайкой, требуя немедленно подать ему «этого большевика Шевченко».

— Ну — я Шевченко, — выступил отец из-за коня.

— Ты? — изумился есаул. — Ах, мразь мужицкая... Кто тебе разрешил коня брать?

— Ленин, от хто, а дав начальник Щетинкин. — просто ответил старик. Отец наивно думал, что Щетинкин над всеми войсками начальник, и стоит только упомянуть его имя, как казаки оставят его в покое.

— А-а, Ленин? Сразу бы и говорил так, — издевался есаул. Тут он размахнулся, покрутил нагайкой в воздухе и вытянул отца по лицу. Конец нагайки раздваивался тонкими змеинными язычками, в которые был вплетен свинец. У старика от носа и до затылка легла тонкая, будто сабельная рана. Отец зашатался, прикрывая руками лицо, обвел помутневшими глазами людей и вдруг схватился за вилы. Казалось, этого только и ждали казаки. Как стая бешеных волков бросились они на отца, свалили на землю, топтали ногами, били, кто чем мог.

Кинувшуюся к отцу мать здоровенный казачище так пнул ногой в живот, что она на сажень отлетела в сторону, да так и осталась лежать. Мне было тогда 10 лет. Я тоже хотел вступить за отца и тоже получил нагайку — вот след (грудь Александра была перехвачена розовым рубцом).

— Стой, казаки, — командовал есаул, вспотевший от усердия, — Ивановов, тащи чересседельник. Так, вяжи эту пададь за ноги. Полещук, помоги Ивановову волоочь этого пса. Так, сюда, к Серому. Вяжи его, хлопцы, к конскому хвосту, да покрепче. Вот так. А ну, Ивановов, сними-ка узду и хомут с коня да всполошь его малость...

— А-а-а... — вскрикнула Ирина. Она только что вернулась от Петра. Увидя приготовления казаков, сестра поняла их подлый замысел, не выдержала, бедняжка, ноги у нее подкосились, и она упала прямо на отца. Старик лежал в беспамятстве.

— Полещук, тащи за ноги эту... Откуда она взялась? Так. Ну, действуй, хлопцы.

Ивановов подошел к Серому и возле самого его уха выстрелил из нагана. Конь только повел длинными ушами. Он оглядывался на людей, не понимая, чего они от него хотят.

— Ах, бандит, он тоже за большевиков. А ну еще пугни!

Тогда вперед выступил маленький, прыщеватый казачишка. Он медленно достал из деревянного футляра маузер, прицелился коню в кончик уха и выстрелил.

Серый от боли высоко взвился на дыбы, прошелся по двору на задних ногах, но, почувствовав на хвосте необычный груз, взглянул и поскакал со двора. Тело отца летело за ним, почти не касаясь земли. Конь скрылся за околицей... Больше мы его не видели. Петро нашел его через два дня в лесу, где обычно отец рубил дрова. Серый лежал мертвым, на хвосте болтался обрывок чересседельника, которым казаки привязали отца. Тело отца нигде не нашли.

Очевидцы жуткой казни — мужики — поспешили скрыться в своих норах. Улица и двор наш мигом опустели.

Отгикав вслед Серому, казаки обратили внимание на мать и Ирину.

— А ну, хлопцы, поухаживай за дамами, им, кажется, немножко дурно, — командовал есаул. — Снегу им на морды, быстро очухаются. Так-так. Молодец, Чалый, и тут отличился, — это он говорил прыщеватому, который привел в чувство Ирину.

Минут десять спустя казаки уехали, ведя привязанных за хвосты коней.

Когда они скрылись за селом, соседи собрали расплзшихся по селу, словно муравьи, детей — моих братьев и сестер — и привели их в дом. Мать внесли в избу и положили на топчан, где лежала опозоренная Иринка. Сестра не плакала и ни с кем не разговаривала. Она лежала с открытыми глазами, глядела в потолок и повторяла только одно слово: боже, боже... и так без конца.

Мать к вечеру поднялась. Она не отходила от Иринки, утешала ее, просила вымолвить хоть слово, нежно целовала и гладила ее лицо, голову, а у самой бесконечным потоком текли слезы. Мы, перепуганные и притихшие, сидели на печке, не смея пикнуть или высунуть нос.

Утром, на второй день, Ирину сняли мертвой в сених с петли.

Выйдя утром в сени, мать охнула и тут же села на пол. А потом, показывая пальцем на висевшую Иринку, громко рассмеялась, приговаривая:

— А Яринка што робыть, дывысь, ха-ха-ха...

Петро в тот же день отвез ее в город. Матери мы тоже больше никогда не увидели, через два года она умерла в психиатрической лечебнице.

...Саша отвернулся в сторону, вытер глаза, тяжело вздохнул. Я сидел, совершенно подавленный горем, которое пережил этот сильный, дорогой мне человек. Взглянул на Татьяну Васильевну, — она беззвучно рыдала. Носовой платок ее был мокрым, как кормовой флаг в штормовую погоду.

Я, знаете, человек крепкий, слезу из меня прессом не выжмешь. Но, сознаюсь, меня тоже душило за горло что-то такое, как клещи, я тоже часто прикладывался рукавом кителя к переносице.

— Саша, я тебя знаю восемь лет, почему ты мне раньше не рассказал?

— А мне, — всхлипнула Татьяна Васильевна, — я твоя жена, кажется?

— Второй раз в жизни я предался воспоминаниям публично. Первый раз — на партийном собрании, когда вступал в партию, и — сегодня... этот соловьевский серый конь... Увидев картину, я подумал, что это наш Серый. Я не мог больше смотреть. Там, у картины, я вновь пережил тот далекий предвесенний день.

А. БЛАГОВ

САД

Поэма в миниатюрах

I

Много дней работал я на славу,
Песни пел, мечтая и любя:
Зацветет смородиной кудрявой
Этот скромный садик для тебя.
Будет солнце, будет ветер юга
Молодые нежить деревца...
Выходи, любимая подруга,
Прямо в зелень свежую с крыльца.

II

Мы с тобой одногодки, мы вместе росли.
Молодые лета, как минуты, прошли.
Наша юность за временем еле видна:
Точно иней блестит в волосах седина.
Сколько раз расцветали деревья в саду,
Желтый лист осыпали у нас на виду,
А сегодня — от жизни такой молодой —
Забываются годы и волос седой.

III

Почернели влажные пригорки.
Завладел слободкою апрель.
За стеной колес скороговорки
И скворцов веселая свирель.
Дни бегут, работа на пороге:
Над землей опять возьму права,
Чтобы в сад забыла все дороги
Злая гостья — сорная трава.

IV

Солнце, птицы, день такой хороший.
 Теплой влагой тянет от реки.
 На тропинку свежую порошей
 Облетают вишен лепестки.
 Нужен срок, нужна пора цветенья,
 Чтобы завязь вызрела плодом.
 Так живут в поэте размышленья,
 Чтобы песней вылиться потом.

V

Мичуринских яблонь красавицы-кроны
 Цветут в доморощенном нашем саду
 И ласковым голосом веток зеленых
 Поют благодарную песню труду.
 Пускай мы с тобою стареем годами,
 Но в жизни счастливой еще поживем
 И с яблонь кудрявых своими руками
 Не раз и не два урожай соберем.

VI

— Отчего я весел? — ты спросила.
 Я без слов смотрел в твои глаза.
 Над слободкой тучу проносила
 Первая весенняя гроза.
 Многоцветной радугой играя,
 Солнце выходило на поля,
 И дышала, будто бы живая,
 Ливнем освеженная земля.

VII

В вечер майский ворочусь с работы,
 Распахну окошко в белый сад,
 На страницу чистую блокнота
 Запишу, что мысли говорят.
 Нелегко найти слова и звуки,
 Знаю — песня родине нужна
 Только та, что спета не от скуки,
 Не холодным сердцем рождена.

VIII

Приходите, друзья, в знойный полдень ко мне,
 Хорошо в эту пору в моей тишине:
 По зеленому садику тени легли,
 Голоса городские заснули вдали.

Усажу я гостей под вишневым шатром,
Чтобы ветки шептались над полным столом,
Чтобы спелые вишни смотрели на вас
Огоньками веселых девических глаз.

IX

Привет тебе жаркий, родная швея!
Стучит за стеною машинка твоя,
Ивановский ситец шуршит под руками...
Я той же порою сажу за стихами.
Я крепко уверен в успехе твоём,
Но счастья, удачи хочу я вдвоём:
Пусть будут, как сестры, красивые строчки,
Мои — на бумаге, твои — на сорочке.

X

Знаю жизнь от самого начала,
Вижу всю до нынешнего дня —
И не помню, чтобы ты встречала
Взглядом неприветливым меня.
Есть в душе сравнение такое,
Для тебя другого не найду:
Я — садовник, ты передо мною —
Яблонька весенняя в саду.

XI

На небе ни облачка. День — благодать.
В кудрявой малине тебя не видать.
На ветках пунцовые виснут сережки,
И песенка тихая льется с дорожки.
Пой громче, подруга любимая, пой!
За пройденный путь нам не стыдно с тобой:
Бесчестным трудом никогда мы не жили —
Мы право на отдых себе заслужили.

XII

Ты выбрал путь широкий и счастливый —
Оценят люди плодотворный труд:
Твои питомцы — яблони и сливы —
В любом саду привет себе найдут.
Желал бы я, чтобы в сердца людские
Входили так питомцы дум моих
И пробуждали чувства молодые,
И братский отклик находили в них.

XIII

Жила ты, помнишь, на Садовой, —
 Умчались годы, как вода, —
 С тобой, ткачихой образцовой,
 Я познакомился тогда.
 В знакомстве не было ошибки —
 Довольны счастьем мы своим,
 И о Садовой без улыбки
 Мы никогда не говорим.

XIV

Я знаю, что яблоньки эти
 Недаром я буду растить —
 В мой садик веселые дети
 Охотно придут погостить;
 Осыплют улыбками деда
 В кудрявой душистой тени
 И, яблочек румяных отведав,
 Мне скажут спасибо они.

XV

Бокалы ждут веселых рук.
 За что же выпьем, милый друг?
 За наш родной, чудесный сад,
 Что так обширен и богат, —
 Где небо ясно, воздух чист,
 Где каждый кустик, каждый лист
 Согрел теплом своих забот
 Мудрейший в мире садовод.

XVI

Пылает день под небом голубым,
 Горячей лаской землю обливая.
 А я домашним солнышком моим
 Тебя не в шутку часто называю.
 Настанет время — вьюга запоет,
 Пойдет мороз по снежному простору...
 Ты — солнышко домашнее мое —
 Не охладеешь ни в какую пору.

XVII

Мы идем — за городом далеко —
 По тропинке, солнцем залитой,
 А кругом раскинулся широко
 Океан пшеницы золотой.

Все затихло в зное ароматном,
Замерли колосья и цветы:
Кажется, что в мире необъятном
Никого нет — только я и ты.

XVIII

Хлопочет осень в садике моем.
Рабочий шаг ее совсем не слышен,
Но яблони охвачены огнем,
И золото блестит на ветках вишен.
Она хозяйкой будет до конца:
Заботливо разденет деревца,
Чтобы заснули сном они здоровым
Под снеговым, сверкающим покровом.

XIX

Седые тучи хлопьями летят.
Задернут город пеленой тумана.
Пропой мне песню про зеленый сад,
Что рано цвел и осыпался рано.
Или — оставь, не трогай старины:
Пусть этот день лицом похож на вечер,
Но ведь и он дыхание весны
На целый день подвинет нам навстречу.

XX

Золотая пора не прошла стороной,
Не забудутся ласки природы родной.
Мы досуг отдавали речным берегам,
Васильки придорожные кланялись нам,
Под ногами трава осыпала росу,
Мы аукались звонко в далеком лесу,
Мы от солнца, от ветра, от синей волны
Запасли себе силу до новой весны.

XXI

Ненастный ноябрь в половине дороги,
Снега и морозы уже на пороге,
Туман под окошко приходит с утра, —
Но нравится скромная эта пора!
Ее вечерам я товарищ всегдашний:
Часы отзвучат над кремлевскою башней,
За стеклами полночь, как черная шаль, —
А с книгой да с песней расстаться все жаль.

XXII

Неделями улица мокла.
Сегодня ударил мороз
И влажные, тусклые стекла
Украсил гирляндами роз.
Пускай разыграется вьюга —
Жизнь будет все той же весной:
Со мной дорогая подруга
И песня родная со мной.

XXIII

Мы с тобой навек не одиноки,
Вся страна — сплоченная семья,
И богатства родины широкой
Охраняют наши сыновья.
Будут ярче сталинские весны:
От морей до Красного кремля,
Вся до края — садом плодоносным
Зацветет Советская земля!

Б. ГОРБУНОВ

РАССТАВАНЬЕ

В это утро пришел Кузьма Федорович на работу задолго до гудка. Он обошел весь цех вдоль и поперек, ходил, смотрел и как будто впервые все видел.

Проходя мимо крайней печи, старик заметил незнакомого ему молодого рабочего. Он был невысок ростом, широкоплеч, статен. Белые волосы вихрами спадали на лоб.

«Видимо, новичок на смену мне пришел», — подумал Кузьма Федорович и решительно свернул к нему.

Готовясь принять плавку, молодой человек измерял температуру в печи.

— Задачки решаешь? — спросил Кузьма Федорович.

— Подсчетами занимаюсь.

— Чего ж тут считать? Это тебе не магазин, а цех. Здесь нутром понимать надо. Металл опытного глазу больше всего боится. Ну-ка, пусти, я сам посмотрю.

Кузьма Федорович отодвинул плечом молодого человека от контрольного щита. Лицо старика, темнокрасное, с синими пятнами, без слов говорило о том, что он долгие годы провел в литейном.

— Напрасно медлишь, — сказал Кузьма Федорович, — лить пора. К слову пришлось, на каком заводе до прихода сюда работал?

— Я учился в техникуме, — ответил молодой человек.

— Учился? Значит завтра снова учиться начнешь. Если смекалка в голове есть, через месяц золотые руки иметь будешь, а сейчас нечего на меня любоваться. Начинай плавку.

Когда плавка окончилась и металл послушно улегся в формы, молодой человек, подойдя к Кузьме Федоровичу, нерешительно встал рядом. В эту минуту он, видимо, чувствовал себя так же, как в техникуме, перед столом самого строгого преподавателя в ожидании отметки.

— Металл тебя слушается неплохо, — сказал Кузьма Федорович, — только нежен ты очень. Металлы людей смелых, решитель-

ных любит, а вот решительности у тебя пока и маловато. Смелей надо. Только ты мои слова сейчас сильно к сердцу не принимай. Поработаешь в моей бригаде годок, орлом станешь. Много бывших моих подручных сейчас инженерами работают. Да еще где? На хороших заводах. И все пишут мне, не забывают, спасибо, старика. Иные даже в гости порой зовут. «Приезжай, мол, Кузьма Федорович, посмотришь, как твой ученик заводом правит, может, стариковским глазом какие неполадки заметишь, пожурить за них, как прежде в бригаде поругивал». Оно, конечно, может, и льстят старику, только мне все равно приятно. Старый человек любит, когда про него хорошее говорят.

Кузьма Федорович добродушно улыбнулся, кивнул на прощанье головой и, заложив руки за спину, спокойной размеренной походкой пошел по цеху.

Просторный, высокий корпус жил будничной жизнью. Около электропечей спокойно стояли литейщики. Временами цех озарялся ярким светом: шла плавка. По цвету пламени и брызгам искр Кузьма Федорович определял сорт металла. Высоко, у самой стеклянной крыши цеха, на черных перекрытиях сидели сизые голуби.

Кузьма Федорович еще раз, не торопясь, прошел вдоль всего цеха. Временами он останавливался у печей, вглядывался в знакомые лица литейщиков, как бы запоминая их надолго, а может быть, и навсегда. За гулом расплавленного беснующегося металла он не слышал напутственных слов друзей, но зато и без очков хорошо видел широкие, прямые улыбки на потных раскрасневшихся лицах. Старик снимал картуз и низко раскланывался.

«А техник, с которым я сейчас разговаривал, видать, толковый парень», — почему-то подумал вдруг Кузьма Федорович и тотчас же поймал себя на мысли, что он завидует ему. Да, завидует его молодости, жизни, которая во-время началась. «При такой-то жизни он к моим годам кем станет? — думал Кузьма Федорович. — А меня в его годы и за человека, помню, не считали. Имени — и того не было». Ходил с тачкой да с метлой по заводскому двору, опоясанному, словно обручами, железнодорожными линиями, а девки-поденщицы кричали вдогонку:

— Эй, ты, «бери — больше, тащи — дальше», заверни-ка к нам, мусору много обнаружили.

Долго ходил «по двору» Кузьма Федорович, прежде чем правдами и неправдами попал, наконец, в ученье к токарям, мальчишком. Как сейчас, помнит Кузьма Федорович первый болт, изготовленный собственноручно. Сколько он положил труда, прежде чем болт был показан мастеру Солодову, а тот посмотрел его бегло, а потом написал что-то на листке бумаги, завернул в нее болт и сказал:

— Вот с этой бумажкой крой, Кузьма, до заводской свалки, а там развернешь ее и узнаешь мою оценку твоей первой работы. Ну, живо...

Путь до свалки оказался длинным. Хотелось скорее добежать до мусорных куч, а там развернуть бумажку с оценкой своего

труда. Руки дрожали, вот на ладонь выскользнул болт. Корявыми буквами в бумажке было написано: «Брось его здесь».

Со злобой швырнул Кузьма Федорович болт в грудку ржавой запутанной проволоки. Годом позже ходил Кузьма Федорович в подручных у токаря Сдобнова. Крикнет, бывало, Сдобнов:

— Эй, ты, шкет. Поди-ка резец закали, да живей, а испортишь, — смотри...

Осторожно совал Кузьма Федорович кончик резца в горно, а он, вместо того чтобы румяниться, плавился.

— Ну, что, дурень, — сердито спрашивал Сдобнов, — скоро ли?

— Сейчас, — улыбаясь, отвечал Кузьма Федорович.

— Дубина, — говорил в ответ Сдобнов, — пошутил я. Видишь, резец свинцовый, — и, видимо, в знак дружбы Сдобнов больно бил кулаком по шее подручного.

А когда попал, наконец, Кузьма Федорович к станку, годами маялся, секреты станочные познавал от старых токарей, неразговорчивых и скрытных даже за бутылкой водки.

Шли года. Раскрывались тайны станочные, но с годами чувствовал Кузьма Федорович, как становился он таким же скрытным и неразговорчивым, как и все в токарной. И был он весел, когда у соседа работа не паилась, и зол, когда обгонял его стоящий за ближним станком. Казалось, были все в токарной отгорожены друг от друга стенами плотными, непроницаемыми, и доносились из-за них одни слова: сколько зашиб за день? Долетали слова глухо, когда сосед меньше «зашибал», и отчетливо, — когда больше...

Войдя в кабинет, Кузьма Федорович осторожно закрыл за собою дверь, поздоровался. Начальник цеха Терентьев встал из-за стола и крепко обнял старика.

— Я думал и не зайдешь проститься, — сказал Терентьев, усаживая Кузьму Федоровича в мягкое кресло.

— Откровенно тебе сказать, товарищ Терентьев, и не хотел заходить. Страсть как не люблю прощаться, обожаю лучше здороваться.

Кузьма Федорович снял картуз, подставив седины под ровный свет абажура. Разговор не клеился. Молчал старик, не находил нужных слов Терентьев. На голубой стене электрические часы неохотно перебросили тяжелую стрелку вверх. В открытую форточку ворвался ветер, по порядку шевельнув листки настольного календаря. Пахнуло весной, нефтью и паром.

— Уходишь, значит, от нас?... — сказал Терентьев.

— Выходит так, — утвердительно ответил старик. — Против медицины никуда не попрушь в наших условиях. Пришлось подчиниться...

Кузьма Федорович посмотрел в окно. На электростанции ярко вспыхнул голубой прожектор. Из низу котельной подымался пар, он был густ и бел, он полз до лучей прожектора и, попадая в них, клубился. Было слышно, как урчала турбина, где-то близко звенели вагонетки, шипел пар.

— Жалко с цехом расставаться? — спросил Терентьев.

Старик удивленно посмотрел на него, а потом ответил:

— Жалко! Скажет же человек...

— Должен я тебе, Кузьма Федорович, вынести большое спасибо за помощь, за обучение наших рабочих. Ведь не мастер ты был, а университет. Учился и я когда-то в этом университете. Помню, пришел я в цех, одна силища страшная во мне была, а куда ее приложить — не знал. Ну, попал к тебе...

Старик нахмурился, поднял руку, остановил Терентьева.

— Это ты напрасно, Павел. Я еще покуда жив, здоров, а ты по мне надгробную речь произносишь. Вот помру, тогда хвали, вытерплю как-нибудь... А сейчас лучше прикажи принести чайку китайского да с лимончиком. Дельнее будет. А то заладил — университет. Эка, куда махнул!..

Раскрасневшись от чая, Кузьма Федорович сидел веселый и довольный. Он выслушал уже все напутственные слова и похвалы Терентьева, которые где-то в глубине души оседали приятным осадком. Он собирался уходить, но уходить в то же время и не хотелось. Кузьма Федорович ощущал потребность сказать Терентьеву что-то хорошее, но нужные слова, как при всяком расставании, опаздывали.

— Должен я тебе, товарищ Терентьев, или, как попржнему, назвать — Павлуша, от чиста сердца признаться, что обучил ты меня на старости лет тоже многому. Ты не смотри на то, что я на всех собраниях на последнем ряду сижу и все молча. Думаю я! А ты мои думы рабочему люду в головы вкладываешь, потому как от партии большевиков ты любую речь держишь, а у партии — думы наши, рабочие...

Кузьма Федорович ходил по кабинету из угла в угол, изредка поглядывая на витрину с портретами лучших людей цеха. В середине был его портрет. «Героем выгляжу. Бодро снялся, кто подумает, что мне седьмой десяток идет», — думал старик.

Терентьев вынул что-то из-за стола.

— Решил я тебе подарок, старик, преподнести. Думал, думал — чего, да вот и додумался. На, получай.

Терентьев протянул Кузьме Федоровичу блестящую никелированную трость с замысловатым набалдашником. Старик взял трость, прикинул ее рукой на вес, стукнул концом об пол. Крепкая, тяжелая трость.

— По вкусу ли? — поинтересовался Терентьев.

— Ничего, добротная. А главное как раз мне по положению. От безделья хоть собак теперь по утрам будет чем гонять.

— Не потрафил, значит?..

— Нет, почему же... Порядочному старику без тросточки плохо. Трость солидность придает. Только знаешь, Павлуша, о молодости я стал часто думать. И до того иной раз додумаясь, что и не пойму: то ли у меня борода от старости редеет, то ли от молодости, которая вместе с сединой пришла. А трость — одно загляденье. Лучшего подарка и не ждал. Благодарствую. А я было опасался, — вдруг, думаю, опять патефон преподнесешь...

Перед самым уходом старик о чем-то долго думал, порой порывался сказать что-то Терентьеву и, наконец, тихо произнес:

— Вот уйду я сегодня из цеха и завтра уже больше не приду к вам. Сяду я со своей Евлампией Григорьевной и буду с ней с утра до ночи о курах, картошке, огурцах в огороде беседовать. А ведь в душе-то я все равно до гроба литейщиком останусь. Так вот и попрошу я вас: пока мирно будет, одни, без меня, в цехе управляйтесь. Разве лишь какой совет иногда потребуется, ну, тогда придете, конечно. А если что серьезное случится, тогда прошу, уважьте: ночь, за полночь, — все равно. Присылайте за мной.

До проходной конторы Кузьма Федорович шел долго. Он вспоминал, все ли сказал на прощание, со всеми ли простился. Почему-то снова вспомнился техник — молодой и вихрастый. Стоит он сейчас, плавку готовит, может, в совете нуждается, а совет-то Кузьма Федорович с собой домой уносит, а дома он не нужен никому. Старик быстро поворачивается и спешит снова в цех. Шаги его быстры, торопливы.

А. ЗУТИКОВ

МАРЬИНО ЖИТЬЕ

(Из рассказов о прошлом)

Родители-те мои, и дедушки и прадедушки, коренные федосовские жители — крестьяне испокон веку. Дедушка-то Иван Васильевич был старик умной, рассужой. Занимался ремеслом — кожи выделывал. Звали его все Буслай да Буслайко, больно он был делен, да проят и на речи-то был гораздый, такой был укладень. Я мало его помню, чуть застала, небольшая была, коли он умер. И умер он не спроста — люди говорили, что его бог наказал. А дело было такое. Делили они землю в лесу, дедушко-то и вклепался в чужую кулигу и заспорил о меже. Мужики-те говорят ему: «Смотриай, Буслайко, зря спорил — не твоя кулига-то», а он твердит: «моя и моя». «Побожись, говорят ему, сыми крицу на голову, если думаешь, что твоя». «Давайте, — говорит, — сыму». Вырезали из земли крицу¹, начертили на ней крест, взял дедушко эту крицу, поднял на голову и побожился: «не взвидеть бы, говорит, мне больше краснова солнышка, если кулига не моя». И вот, батюшко ты мой, как только поднял крицу-ту, так тут же и захворал на месте, ровно его что ударило. Хворать да хворать, хуже да хуже, так и умер. А все оттого, што не по правде сделал. Земля-та ведь дело великое, шутить этим нельзя, она к себе возьмет за неправду-ту.

Тятя-то мой, Василий Иванович Богатков, был один сын и жил после дедушки хорошо. Неглупой был мужик, смирной, сроду ни с кем не ругивался, матерного слова отродясь никто от него не слыхивал, рассужой был, богобоязненной. Зимой и летом все к заутрене и к обеденке ходил каждой праздник, кажное воскресенье, и все босичком. Возьмет сапожки под пазуху и покатит. Придет в церковь, обуется, отстоит заутреню и обедню, разуется и домой опять босичком.

Всякое дело начинал с молитвой да с крестом. Бывало, вечером, как станет солнышко садиться, выйдет на задворки на зад-

¹ Кусок дерна с землей.

ною улицу и все молится вслух, все в землю кланяется. Молитву он читал на закате солнышка и нам наказывал:

„Красно солнышко на закате,
Полетел ангел ко господу со добрым делом,
А мне грешнику нечего послать;
Отсеки, господи, все худые помыслы мои,
Запиши в животну книгу добрые мои дела“.

А спать, бывало, станет ложиться — все везде заминит, закрестит, и тоже молитва была особливая:

„Благослови, господи, все щели и двери,
Трубу и окошки,
Все наше строение,
От верхнева коня
До исподнева бревна,
Весь наш дом
И всех живущих в нем“.

Родилась я еще при господах. Мы были крепостные за барином князем Хованским, оброк ему платили.

Семья у тяти была большая — нас пять сестер в живых осталось да три брата. А всего мама-та покойница двадцати четырех робенков принесла — шестеро двойников было, восемнадцать брюхов выносила, да все умирали маненькие. Принесла мама одново робеночка-недоноска — семи месяцев, мертвенькова, ни волосков, ни ноготков еще у него не было. Дело-то было великим постом, в самую росторопъ. Схоронить не успели, завернули его в тряпочки да в холодной горнице за шкаф сунули и попрizaбыли. Вспомнили, поглядели, а его почти совсем мыши съели. Каялась тогда мама попу в этом грехе. Поп отказался хоронить некрещеное дите.

Дом у нас был хорош, строено все по-старинному. Лес толстущий, старинный и ни единова сучочка. А дерева-те толщиной — прямо удивье: в охват ни за что не ухватишь. Высокой был дом — до окошек, ежели постучать, так надо было падог долгой брать либо грабельник. Лестница была в сенях приступков пятнадцать. Под избой была подызбица, под сеньми — подсенье, а под горницей — подклеть.

Была я еще маленькая, годков двух по третьему. И вот случилось со мной несчастье, из-за его я навек хромая осталась. Косили наши в лесу всей семьей и меня взяли, дома-то не с кем было оставить. Гребут сено да навивают, разошлись по лугу, а меня посадили на кошанине-то. Я, видно, ползти хотела, да рожницей-то и сунулась в землю, ножка-то у меня в ледве и вывихнулась, — из места вышла. Я еще мала была — не могла сказать, что болит, а все редела. Так я и осталась навек хромая.

Нам у тяти-то жилось хорошо, рядил он нас, все справлял, даром что нас пять девок было, не ругал и не обижал, работой не нудил. Тягло-то у нас хоть и невелико — мало земли-то было в Федосове, — так он сымал пустыри кое у кого, лен сеял и нам каждый год сеял собину — по мере льна на каждую сестру. Мы все сами обделаем: и ленок вытаскаем, изомнем, спрядем, холстов

изнаткем. В запас холсты берегли, клали в короби — замуж, мол, пойдем, так в приданое, замужем-то понадобится много — и себя, и мужа, и детей одеть надо, а тогда все в своем домашнем ходили. Не зря говорят: кабы в прядке-то бабий задор, да на девичий простор. А руководелью всякому и домашнему порядку нас матушка обучила — и прядь, и ткать, и кросна собирать, и всякому делу по крестьянству, шить и скроить — все мы умели. Мама-то была на все горазда. А по веснам мы все ткали на хозяев, на фабрикантов из Вичуги, на дом точку брали. Нас хвалили за работу — гоже мы ткали, уж не было нашей точки лучше: что бела, что ровна, что тонка — как писчая бумага — ни близны, ни помех нет. Только уж больно усидчива работа эта. Ровно бы не тяжелая и в тепле, и в светле, и в чистоте, а вот как, бывало, перепадешь да истомисься, так заметно похудеешь и побледнеешь, не зря говорят: кросенцы — сушильцы.

Я была в девках-то мастерица на все и веселая была — бывало, песни ли петь, хороводы ли водить. Ну, а все же был замечен изъян. Было мне уж двадцать два года, теперешной мой хозяин, Иван-от Егорыч, за меня посватался. Вдовцом он был, только пожил с первой женой мало — несколько недель всего, умерла она от оспы. Он и посватался ко мне. Я гляжу: уж года-то уходят (в ту пору рано замуж выдавали), скоро перестарок буду. Иван Егорыч мне был по мысли, человек хороший, друг друга мы знали, мужик был работающий и умной, срушен был ко всякому делу.

Так я за дедушку-то и вышла замуж, и прожили век не на смех людям. Любили мы друг друга, до самой старости на одной постели рядом спали, обнявшись.

Как сейчас помню: венчаться-то мы поехали, так Ивану Егорычу первую рубашку ситцевую сшили, и то было на редкость: только в богатых домах в ситцевом ходили. Жить мне было хорошо, муж не обижал, золовка была одна, с ней жили мы душа в душу, ровно мед вешали. Свекор был старик умной и ни во что не вмешивался — он был примаком у свекрови-то, а пословица старая: «три невольника на белом свете — пастух в поле, зять в доме, да собака на цепи». Домом всем правила свекровь, Авдотья Васильевна. Ее все звали Чижиха. Боевая была баба, уж такая деловая, дотошная на всякое дело и на язык была бойкая. Работница была хоть и старая, а здоровая собой, могутная. Забарывала покойного свекра-то. Он иной раз, выпивши или осердясь, побранится на нее, так она схватит его в охапку да и положит на лавку. Но от нее я не видала большой обиды, хоть и горяча она была, а отходчива. Свекровь любила моего-то хозяина, он был любимой сын, никогда ей не поперечит. Она под горячую руку и сыновей била: да за вольсья драла. А мой-то хозяин не ответит руки, только скажет: «Ну, ну, бей, потешься». Вот она его за это и любила. Отжила я замужем годов пять, двое ребятишек уже было, и захворала моя бабинька, тятиня мать. Старая она была, около девяти десятков. А мы знали, что у ней деньжонки были, и все спрашивали: «Бабинька, скажи, мол, где у тебя деньги, не скажешь — умрешь, пропадут». А она все не признавалась: «Полноте,

говорит, пустыяницы, какие у меня деньги?». Перед смертью у ней язык отнялся, и ни рукой, ни ногой двинуть не могла. Пришла я к ней перед смертью: «Что, мол, бабынька, плохо тебе?». А она простонула, а сама на меня глядит, ровно что молвить хочет, а языка уже нет. Нагнулась я к ней, а она мою руку взяла себе на грудь положила да грудь все себе царапает: «али, мол, тошно, бабынька?». Так она ничего не молвила. Свет из глазышек выкатился, и поскорости умерла. Схоронивши ее, в коробейках все перерыли, а денег не нашли. Примета верная: у кого деньги есть схоронены, да не скажет, тот человек завсегда без языка умирает.

Вскоре после смерти бабыньки мама дает мне старой сарафан, в котором бабынька умерла: «Возьми, говорит, Маша, ребятам на постельное пригодится». Поглядела я — сарафанишко-то больно плох, старой, крашеной выносок, да еще человек в нем умер. «Куда мне, мама, у меня такого-то худья что хошь валяется». После-то стала его пороть и нашла в грудинке деньги, зашиты — сто шестнадцать целковых. А я с дури от своего счастья отказалась.

Мы вместе-то в семье долго жили, годов больше десяти. Потом уж стало тесно, дети стали копиться. Стали поругиваться мужики-те, грешить. У Сергея был парнек старшой, Иван, звали его все Кочешок, баушка Чижиха сама его так прозвала — любила его без памяти, все на усобицу кормила, и спал он с ней, и в бане, бывало, его вымоет, выпарит, до десяти годов все на руках носила и кокурки сдобные пекла, и сметану соберет, и пенки с молока, и мед. Ульи у нас были, за пчелами мой дедушко ходил. А медом-ту баушка распорядилась — все съедят сами с Кочешком. А мы полижем, в онбар, живучи, ни одна сноха не хаживала, не допускала баушка, ключи держала у себя. Однава дедушко-то вырезал мед и дал нам украдкой. В бане на дворе я схоронила соты, в печь, — мы в бане летом спали от тесноты.

А Федяшко — у меня небольшой тогда был, неразумен — разыскал мед в печи, нализался, рожу всю упачкал да и пришел в избу. Спросили его, где взял, а — детское дело, — и сказал все. Мед нашли. Вот грехов было. Вот было! Баушка поднялась, деверь — Сергей, сноха, шум поднялся — верх с избы схватывают. Тут мы и стали делиться. Отделили нам с дедушко, дом купили, хоть и не новой, лошадь дали и корову. Дали толчею да маслину. Распорядилась всем свекровь, и деньги были у ней. Но баушка-то, свекровь, по правде разделила — хорошую нам дала, дедушко-то мой был у ней любимый сын, не стала его обижать. Только просил он пчел хоть два улейка — не дала. Ну и сама-то не попользовалась ульями, — тем же годом пчелы перевелись: дедушко-то с собой счастье унес. Без него ходить за пчелами стало некому. А пчела уход любит.

На новом месте нам было обживаться не так трудно. Дедушко был работающей, заботливой, ко всякому делу срушной, и крестьянин был хорошей, и плотник был первой. У кого толчею поставить, вал сделать, на мельнице колеса сделать али насад сменить, камень выковать, за все он брался, все умел, золотые были руки.

Без дела-то он не любил сидеть, всё что-нито делает, либо придумывает: больно уж замысловат был, да и память у него была удивленная. Грамоте не знал, а, бывало, на мельницу леса стает делать — одним топором и прямо на лугу без всякого пристройства и размеры всякие все в памяти держал, запоминал. Бывало спросишь его: «Что ты, отец, все выдумываешь?». А он заругается: «Дура старая, разве можно без думы жить?». На всякое дело у него была выдумка. Была у нас в лесу большая кулига. Он взял выжег сучья и насеял репы. А когда репа поспела, так он кругом огородом обнес, а чтобы не воровали, так пристроил жерди на козлах, да с какими-то хитростями: где ни полезай — везде заденешь, и тебя жердь по горбу — раз! Отучил — не стали лазать, а все задорились на репу, больно хороша была — желтая, чистая, с голову величиной, уродилась в тот год не одна сотня мер.

Перед японской-то войной мы погорели. Тяжело нам было: ребятишки малы, работать в поле надо и строиться. В лес ездили все с дедушкой двое. Ну он был смекалистой, выстроились мы скоро и дом поставили. Стал он по зимам на толчее дуранду толочь да по базарам торговать. А то извозом займовался, держал двух лошадей, и жили мы без нужды. У нас Федяню приучался к крестьянству и к топору коло отца сызмалетства. И хорошо ему дело далось, он был понятливый, троем за ним не угоняться работать. В день, бывало, срубы на баню срубал, в день вал на толчею делал, а за это цена была — три рубля.

Детей я наносила немного — шестерых, трое в живых остались. Все у меня были роговики — водиться было некому, я их всех коровьим молоком выкормила. Уйдем в поле с утра до вечера — и робенка с собой да в коровий рог молока нальешь, сунешь дитю сосок в рот — оно и лежит да сосет.

Дедушко-то одинова и говорит: что эта за работа — дуранду толчки да под извозом ездить. Поставлю-ко я меленку, буду потихоньку хлеб молоть — ремесло-то дома, на печи, и под старость нам кусок хлеба.

Поставил живой рукой меленку-столбянку, да не такую, как у всех, а какую-то особливую — на низеньком ряже, как на голяшке, онбарчик высокой двухэтажной. И умудрился два постава устроить — одни камни большие семерики — внизу, а другие полегче — пятерики — вверху. В маленький ветерок пустит в пятерики молоть, посильнее подует — он семерики привалит, а коли буря найдет, люди мельницы своротят — он в оба постава мелет. У его всегда молото. Помолу к нему возили страсть — из дальних деревень со всей округи. Молот он хорошо, мелко, не воровал, брал что за помол положено, а на упыл полфунта с меры. Принимал и отпускал с весу и веса были на мельнице. И книжка была помсл записывать, хоть неграмотной он, а записывал. На каждом листике была деревня записана с клеточками, и клеточки-те были дома — он все дома на память знал по всей округе и ставил заметочки против каждого дома: кому сколько смолото, с кого за помол получено, с кого — нет.

Дедушко-то больно оржаной хлеб любил. Бывало, в гостях али на свадьбе, али в христов день разговляться станет, — всегда сначала оржанова хлебца поест. «Дай-ко, говорит, мать, мне годовчика, он поплотнее ляжет, круглой год кормит, его забывать нельзя». Без хлеба оржанова, без щей да без каши он никакой обед и за*еду не считал.

Федяно рос больно озорной да отчаянной. А вино любил пуще отца. Глядим с дедушкоком — беда! Женить надо, а то и до греха недолго. Да как его женить-то... А вот судьба-та и нашлась. Гулял он у Серпионовых в дому, у хозяйки дочь была невеста — хорошая девка. Ее-то и усватали. Сказала мать на сватовстве: «Только вам, Иван Егорыч, и отдаю! Люди вы умные, известны по всей стороне. Може, Федор остепенится, да и вы невестку не обидите!»

Семья-то у нас скопилась большая, у Федорка четверо детей, а всего восемь человек. Нужды большой не было, хоть нехватало хлеба своего, так мужики добывали. Дедушко хлеб молот, дуранду толк да продавал, то под извозом ездили.

Со снохой и мне стало жить полегче. Тягло было небольшое, а нас две бабы. Мне стало повольнее и в гости куда сходить и к родным побывать: две дочери замуж выданы, да четыре сестры, да*свояченица. Что мне дома-то сидеть в четырех стенах да молчать, как в монастыре? Налезусь еще на том свете. Я людской человек — любила на людях быть, поговорить, послушать и повеселиться, даром что старая. Меня, бывало, не только родные, а и чужие все в гости да на поседки звали: «Приходи, к нам, тетя Марья, с тобой весело».

Где я бывала, там дым коромыслом: любила повеселиться, потешить добрых людей. И песенку попеть, и поплясать, и почудить, и посмешить. Дедушко-то выпьет, бывало, так разоидется — только гляди! «Гуляй, говорит, Маша! Гуляй веселее!» И я гуляю, песни запеваю, чудить что-нито начну, насмешу всех до упаду. А то нарядимся с дедушкой-то на свадьбе каким-нибудь чудышкоком да начнем притворять всякие штуки, все со смеху катаются.

Дедушко-то покойник больно до детей раденок был. Сохрани, господи, бывало, робенка пальцем тронуть. Никакого у него зла на детей не было. Что бы они ни наделали: «Играйте, матушки мои, бегайте, кричите прытче!» Только и скажет, а уж они раздурятся да шум подымут. Внучат накопилось больше десятка, все у нас жили, он и возился с ними. Тот лезет на колени: «Старенькой, я к тебе», другой на шее висит: «Возьми меня», третий на спину залезет: «Дедушко, повози меня», четвертой на ногу висит: «Дедушко, покатай» — всего облепят, а он с ними, как старой козел, трясет бородой. А борода у него большая, темнорусая с рыжинкой, густая да окладистая, в полгруды. Он собой-то был хорош смолоду и под старость мало состарился — большой был, здоровой, глаза серые, волосы русые, только нос был большой, горбатой. А зубы до смерти все уцелели, белые, как репа.

Надумал дедушко мельницу продать. «Велика, — говорит, — мне она да и не по мысли устроена». Так и сделал. Старую мель-

ницу продал, выстроил новую, лучше той, устроил все, как ему хотелось, живой рукой и молоть начал. У него, бывало, все, что ни задумает, скоро испечется. Помолот он года с два, дела шли ничего, но стал он на здоровье обижаться, прихварывать. Только и лекарства, бывало, — на печь да горшок накладывать, — этим и пользовали. Как-то осенью, перед покровом незадолго, ухватило его эдак. Я накинула горшок, а сама ушла в Столбово: там Катерина, дочь, — только что родила. А на всяк случай наказала: «Ежели что будет, то повестите мне». И ему не велела ничего делать. А разве его удержишь: ведь он рьяной был на работу, его не прижмешь лежать-то. Время в ту осень стояло плохое, ненастное, сырое, дожди шли, ветра дули страшные. Насилу с молотбой управились, льны околотили, а вороха не росхожены были. Как-то выглянул красной денек, дедушке получше стало, — он и давай мешки из анбара таскать, развезать вороха хотел. Поворочался с мешками и насадил живот. Его опять ухватило. Домой-то он насилу дошел. Как пришел, так и слег. На другой день он начал тосковать, велел за попом послать, да за мной. Только стала я подходить к деревне, версты полторы не дошла до дому, а навстречу-то мне бегут: «умер, говорят, дедушко, все ждал тебя, проститься хотел». У меня ноженьки, ровно косою, подрезало, так и села, и голосу нет. Отошла маленько и давай выть. Потом пошла кое-как, а ноги-то не идут. Подхожу к краю и видно: у нашего дома стоит крышка гробовая, белеется. Тут мне в сердце ровно кто пож воткнул, — не помню, как и в избу взошла. Погляжу, а уж он, батюшко мой, в гробу лежит. Уж выла я, выла, причитала-причитала, да ведь не воротись. Хоронили мы его перед саватьевым днем, и вот какая в тот день была бурюшка — свету вольного не знать. Дождь, снег, а ветрище прямо хоромы ломит. Насилу донесли до кладбища, думали покойника-то из гроба выбросит.

Без дедушка-то мне жить стало хуже: и сноха стала обижать, от печи совсем отбила, и Федяно стал уж не такой. Вот когда я дедушка-то хватилась. Дома-то жить, гляжу, я лишняя, что ни скажу — моему слову места нет: и прошла не так, и села не тут, и молвила не к делу да не к месту, и съела много.

Поехал как-то зимой Федор под извозом, напился пьяной без памяти и отморозил руку. Домой ночью лошадь его привезла, а он спит — ни рукой, ни ногой не двигает. Втащили мы его на печь, глядим: рука-то замерзла, как кочень. Ревели мы день и ночь все и ребятишки малые. А рука-то у его почернела, вонь пошла. Но он резать не дал. Рука-то не зажила, из пальцев долгое время текло, болели они, и нельзя было ничего поделывать: чуть поломают али постудит — и подыметя ломотушка несусветная.

Семья-то большая — пить, есть каждой день надо, семь ртов, а добышник один, без руки сидит. Упал духом. Мельницу продал — прожили, потом и за толчеей черед пришел — и ее проели. Больше продавать-то нечего: — скотину, так уж что за крестьянин без скотины-то — надевай суму да собирать поди. Тут я и стала

по родным да по чужим людям ходить. Дома-то мало жила. Поживешь у кого, поработаешь — и хлеб-от есть. Под самую-то старость у меня глазок один окривел. Да и сама-то я стала плоха...

**
*

Лет двадцать вела бабушка Марья скитальческую жизнь, переходя из дома в дом, из деревни в деревню. До самой смерти была она легкая на ногу, веселая, разговорчивая, добродушная старушка.

И. ДРУЖИНИН

ВСТУПЛЕНИЕ К ПОЭМЕ

Я раскрою окошки и двери:
Свежий ветер, в квартиру влечай!
Мне сегодня не хочется верить,
Что мы юности скажем «прощай».
Мы оставим лихие проказы,
Станет строгим мальчишеский взгляд,
Опустеет скамейка под вязом,
И затихнет малиновый сад.
Сад затихнет, между ветвями
Заблестит паутиная нить...
Только матери будут утрами
На крыльце о мальчишках грустить.
Позабитые связки тетрадок,
Уже выцветший детский портрет,
На столе, как всегда, беспорядок, —
Но хозяина комнаты нет.
Вырос он и уехал далеко,
Где теперь его песня слышна:
Под мерцающим небом Востока,
Где Амурская плещет волна?
Или там, где холодная вьюга
Над простором бескрайным летит?
От пустынь до полярного круга
Пролегли молодые пути.
Но какие бы бури ни выли,
Разрывая палатку в куски,
Не разлюбим, кого полюбили,
Не забудем, с кем были близки.
После долгих скитаний суровых
Мы, покрытые пылью дорог,
Знаю я, повстречаемся снова,
Возвратившись в родной городок.
Стол поставим под дремлющим вязом,

Раскупорим бутылку вина,
До утра не утихнут рассказы,
До утра будет песня слышна.
Пусть летит беспощадное время,
Мы останемся юны всегда.
Это — только вступление к поэме,
А поэму напишут года.

ЕВ. БАРАНОВ

ВЕЧЕР

Не уследил, не устерег:
Закат сегодня как-то разом
Погас, и вечер синим глазом
Глядит на первый огонек.
Протянет к тополиу луна
Серебряную паутину, —
И тени тихо у окна
Под ветви лягут и застынут.
Нежнее песен и стихов
Ласкают, звезды синим светом, —
Я снова просидеть готов
У иалисада до рассвета.

НОЧЬ

Уже погас закат багровый,
И вот опять встречаю я
Луну, и ночь, и туч лиловых
Посеребрённые края.
И снова медленные тени
Легли на теплый след зари.
На все дороги, все ступени
Выносит полночь фонари.
Я чувствую ее дыханье, —
В нем тонкий аромат цветов.
О, если бы ее сиянье
Блеснуло в пламени стихов!..
А звуки тонут, угасая
В мерцаньи звезд, — и до зари
Ночные бабочки мелькают,
Во тьме мигают фонари...

ДМ. СЕМЕНОВСКИЙ

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

I

За несколько дней до появления в газетах сообщений о смерти писателя Якова Евдокимовича Коробова, в темный осенний вечер, я получил от него открытку, — несколько прощальных слов. Среди них было — одно, страшное:

«Умираю».

Написанные карандашом неровные буквы наполовину стерлись. Дрожащий почерк говорил о том, с каким усилием выводила их слабеющая рука.

Я ходил по лесным дорогам, глядел на багряные костры осин и думал о судьбе Якова Евдокимовича. Осенние листья вспыхивают пред концом. Он вспыхнул творческим огнем тоже на исходе жизни. Главные его произведения — повести и воспоминания — написаны им в три последних года жизни, в Москве, когда возраст и болезнь уже грозили ему гибелью. А до переезда в Москву — житье во Владимире, газетная работа, заботы о подрастающей семье.

Я встретил Якова Евдокимовича в 1912 году. К тому времени он уже издал сборник стихов «Песни вечерние». Эта книга мелькала в витринах владимирских писчебумажных магазинов. А скоро я увидал и самого поэта. В тусклый день поздней осени я пришел в редакцию газеты «Старый владимирец», впервые напечатанной мои стихи. В комнате стояли сумерки. За столом склонился над корректурами какой-то человек.

— Что нужно? — отрывисто спросил он меня.

Я ответил, что хочу получить номер газеты, в котором помещена моя поэма.

И незнакомец, Яков Евдокимович Коробов, сразу потеплел, усадил меня, заговорил о поэме, о стихах других владимирских поэтов. Мое восемнадцатилетнее сердце радостно билось. Я с восторгом смотрел на немолодое лицо Якова Евдокимовича, на его голый череп, на серый в полоску костюм с красной лентой

галстука. Мне казалось, что такой именно галстук и должен носить человек, написавший строки:

„За священную свободу угнетенного народа
Мы восстали грозной силой на жестоких палачей...“

— Заходите ко мне, потолкуем, поьем чайку, — говорил Яков Евдокимович, между тем как его красный карандаш бегал по узким полосам корректурных оттисков. Он весь лучился добротой. Даже его рыжеватые волосы напоминали лучи. Сквозь будничные черты газетного поденщика, издерганного посетителями, работой, телефонными звонками, проступил обаятельный облик хорошего, женственно-нежного человека.

Чтобы прокормить семью, Якову Евдокимовичу приходилось много работать. Свой газетный труд он совмещал со службой в городской управе. А жил Яков Евдокимович в двух тесных комнатках. Здесь, держа в правой руке карандаш, а левой обнимая засыпающего ребенка, он и писал свои стихи. Жена его умерла. Сестра, Прасковья Евдокимовна, заменяла троим маленьким сиротам мать и вела хозяйство.

Но каким уютным казалось мне это скромное жилище после казарменных стен духовной семинарии, где я в то время учился. Как легко дышалось здесь, как славно мечталось. Не иссякал кипяток в самоваре, не иссякали и темы наших бесед.

Туго набитая книгами этажерка всегда таила какие-нибудь заманчивые новинки, в ящиках стола тоже было немало интересного: письма поэтессы Галиной и В. Г. Короленко, рукописи самого Якова Евдокимовича.

Сидя возле грамофонной трубы, он показывал свои изуродованные цензурой фельетоны, читал рассказы или вспоминал разные случаи, относившиеся к той романтической поре, когда он юношей с артелью сезонников штукатурил московские дома.

Незадолго до рождественских каникул в семинарии произошла забастовка. Начальство жестоко расправилось с забастовщиками. Было исключено много народу. Приятно вспомнить, как близко к сердцу принял Яков Евдокимович беду, постигшую меня и моих товарищей. Бесприютные находили в его игрушечной квартирке временное пристанище, растерявшиеся — нравственную поддержку. Стараясь облегчить нашу участь, Яков Евдокимович рисковал заработком, а может быть и большим, чем заработок. В глазах властей предрержащих он был «неблагонадежным» и, кажется, находился под тайным надзором полиции.

«Мне, возможно, не усидеть в управе, а скорее всего даже во Владимире, — писал он мне в Александровский уезд: — будто бы приняты меры по отношению ко мне в связи с вашей забастовкой...»

Зловещие слухи и предчувствия не помешали ему, однако, и дальше согревать теплом своего участия всех гонимых, доверчиво тянувшихся к нему. Делал он это просто, без рисовки.

«Голубчик, — писал он, — я делаю для вас только то, что сделал бы каждый ваш знакомый... Милый мой, иной раз у меня

прямо-таки руки опускаются, когда подумаю, что нас так много, старых людей, более или менее опытных, а между тем мы ничем не облегчим ваши условия... Обидно тогда становится и на себя и на весь белый свет...»

Было в нем что-то, вызывавшее даже в малознакомых людях глубокое доверие к нему. А при всем этом чувствовался в нем человек очень одинокий. Недаром одним из любимых его стихотворений было «Силенциум» Тютчева. Чтобы иметь эти строки пред глазами, он сам переписал их на машинке и, как картину, повесил над своим рабочим столом:

„Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои...“

Да и с кем было делить эти мечты и чувства в дореволюционном Владимире, городе чиновников и мещан? С благонамеренными отцами семейств? С «бледными тенями», порождениями глухой реакции? Об этих тенях и о времени, вызвавшем их к бытию, Коробов сказал в «Песнях вечерних».

„Сумрак не сумрак, рассвет не рассвет...
Бледные тени, вам имени нет...
... Света бояться, ликуют в ночи,
Молятся богу, не прочь в палачи...“

Куда ближе была ему нерасчетливая, пылкая молодежь, так непохожая на добропорядочных солидных обывателей.

В теплый весенний денек мы сидели на горе под старинной стеной архиерейского монастыря. К ногам льнули светлозеленые шелковинки новорожденной травы. Внизу разноцветными заплатами рассыпались кровли, за ними жарко горела Клязьма, а вдалеке синели поля и леса, вероятно, такие же, какими они были при Андрее Боголюбском.

Глядя в эту даль, Яков Евдокимович говорил мне:

— Милый друг, только с вами, молодыми энтузиастами, мне хорошо. Вот мы с тобой рассуждаем о стихах, фантазируем. А с людьми моего возраста я молчу, не знаю, о чем говорить. Скучны мне они...

Обществу чиновников, певчих и подрядчиков Коробов предпочитал общество деревьев, цветов и трав.

В конце лета мы с Яковом Евдокимовичем ходили на его родину, в село Ущер. В качестве спутницы и музы с нами была племянница Коробова, гимназистка Рая. Редко я видел Якова Евдокимовича таким довольным и бодрым. Легко шагая по дороге, он мечтал:

— Поселиться бы нам втроем в лесной сторожке, захватить с собой книг и жить...

К Ущеру подходили в темноте. В траве зажигались зеленые фонарики светляков. в небе — звезды.

— Ах, какая красота! — говорил Яков Евдокимович.

Село Ущер затерялось в лесах. Здесь, возле Клязьмы, в лесных караулках прошло детство Коробова. На всю жизнь сохранил он любовь к лесной жизни среди шума ветвей и птичьего

щебета. Но часто манил его и другой лес, человеческий. Манил большой город с театрами, библиотеками, музеями.

— В Москву бы уехать, — вздыхал Яков Евдокимович: — Ах, как бы это хорошо было!..

Но еще не исполнились сроки, еще мещанское захоlustье крепко держало его в своих цепких лапах, мучая убожеством духовной жизни и непониманием. И чаще всего я видел Якова Евдокимовича грустным, подавленным, озбоченным.

Умерла его старшая дочь, синеглазая Аня, уже ходившая в школу. Яков Евдокимович молча носил в себе это горе. И только иногда жаловался:

— Милый друг, у меня опять мелянхлюндия...

Мы шли в трактир. Подняв воротник потертого драпового пальто, служившего ему и в дожди и в морозы, он быстро шагнул по улице и вздыхал глубоко, прерывисто, как вздыхают маленькие дети после долгого и сильного плача.

Но, большой и одинокий, Коробов все же не стал пессимистом. Крепко был он привязан к земле, к людям, к жизни.

«Убилась гимназистка Новлянская. Странно. А мне так жить хочется», — писал он в 1913 году.

«А жить как хочется, как работать охота и даже сочинительствовать», — повторил он в 1924 году, за три года до кончины.

Однажды я прочитал ему строки, в которых осень изображалась так:

„Какое золотое увяданье,
Какая ласковая смерть“.

— Смерть не может быть ласковой, — убежденно сказал он. — Она во всех формах жестока и отвратительна.

Ему нравилось только здоровое искусство. Иногда мне казалось, что в этом выходе из деревенской бедноты есть что-то от древнего эллина. Недаром его восхищала греческая мифология. Он тонко чувствовал красоту во всех ее проявлениях: будь то поэма, картина или изваяние. На его этажерке стояла статуэтка Венеры Милосской. Он подолгу останавливал на ней свой взгляд, это успокаивало его уставшие за день нервы.

Мы поехали в Москву «покорять твердыни редакций». Твердынь не покорили, но зато побывали в Румянцевском музее и Третьяковке.

— Живопись я люблю даже больше литературы, — сказал мне Яков Евдокимович. А я уже знал, как безгранично его преклонение пред такими писателями, как Лев Толстой, Некрасов, Тютчев. Сын безземельного крестьянина, окончивший только сельскую школу, Яков Коробов был интеллигентом в лучшем значении этого слова. Несмотря на свой «легион болезней», он интересовался решительно всем и не уставал учиться. Даже на смертном одре он все еще следил за политическими событиями и ежедневно прочитывал несколько газет. В период своей владимирской жизни Яков Евдокимович на последние деньги выписывал книжные новости. В его домашней библиотечке я находил

и нарядно изданные томики поэтов-символистов и тоненькие брошюры только что появившихся футуристов. Но сердце Якова Евдокимовича лежало к классикам. Все манерное, изломанное, ходульное претило его вкусу. Он знал, чего стоят жрецы литературной моды. Глубокое отвращение вызывали в нем те эстетствующие самовлюбленные литераторы, которые, по его словам, «не ходят, а шествуют, не говорят, а прорицают». Он отлично видел, что за внешним блеском таких людей скрывается духовная нищета.

— Голубчик, — говорил он, — нет у них ничего своего, все взято напрокат. Они носят платье с чужого плеча.

Будущий бытописатель революционной деревни, сам поднявшийся из крестьянских низов, он прекрасно понимал свое превосходство перед литераторами, изучавшими крестьянскую жизнь лишь из окна вагона.

Часто Яков Евдокимович мечтал:

— Если бы можно было издать книжку деревенских рассказов!..

Но, увы, мы в ту пору, в 1913 году, могли издавать только тощие тетрадки «футуристических» стихов-пародий с ошеломляющим заглавием: «Сребролунный орнамент».

Странный то был «футуризм». В сущности под этим названием таился протест против беспросветных будней мещанского захолустья. Наш «футуризм» был издевательством над модным тогда эстетизмом. Наши «гимнопевы» были бесконечно далеки от напудренных поэт Игоря Северянина об ананасах в шампанском и прочих деликатесах. Мы шли своей дорогой: воспевали то, что видели. Мы изображали, как

„В корыте грязная свинья харчуется,
Помойнолейная зияет щель.
Две крысы серые на дне брачуются.
В полях узывчиво поет свирель“.

Не был обойден и вредитель бумаги, чиновник-бюрократ:

„Он весь — порыв. Он весь — движенье.
Чело в морщинах. Хмуровид.
Строчит на номер отношенье.
Перо усиленно скрипит“.

И городской:

„Фуражка. Номер. На мундире
Повис ременный чреслохват.
Напротив в маленькой квартирке
Мелькают локти и ухват.
В кобуре дремлет огнепультник.
На крыше грезит мартокот.
На площади — людской огульник.
— Ах, скоро ль смены час придет?..“

Рецензент «Приложений к «Ниве» назвал эти стихи «остроумными гротесками», а «Гном» в московских «Вечерних известиях» шутивно восклицал:

«Разве пред этими ультрареалистическими стихами не бледнеют лавры «самого» Игоря Северянина? Нет, положительно будущее футуризма, если оно есть, — в провинции. И в самой глухой, затхлой провинции. Только там...»

Два-три рассказа Якова Евдокимовича, из тех, что печатались во «Владимирце», летом 1916 г. я послал А. М. Горькому. Вот что ответил Алексей Максимович:

«Коробов — интересен. Предложите ему написать несколько маленьких рассказиков и пускай пришлет мне, может-быть годятся для «Летописи».

Обратите его внимание: пишет он небрежно и, порою, неправильно, — «гнездов» вместо «гнезд». Не нужно злоупотреблять местными речениями. Наиболее меткие — это хорошо, но надобно пользоваться ими умело...»

Отдельно Горький написал Якову Евдокимовичу. Но, занятый газетной работой ради хлеба насущного, Коробов, должно-быть, так и не смог воспользоваться горьковским предложением.

А писать ему хотелось. Несколько раз принимался он в то время за повесть «Васюткино детство». Позднее в письме Яков Евдокимович упоминал о другой своей повести «Сын плотника».

«Идет очень плохо на бумаге, а в голове — чудные картины. Что выйдет из моей работы? Но, думаю, не скоро ее кончу».

Он так и не кончил ее. Чехов, по словам одного из его современников, любил повторять, что если писатель «не живет постоянно в той художественной атмосфере, которая так раскрывает глаза художника, то будь он хоть Соломон премудрый, все будет чувствовать себя пустым, бездарным». Мудрено было взрастить такой художественный оазис на Мало-Гончарной улице среди персонажей «Сребролунного орнамента», да еще при полной неуверенности в завтрашнем дне...

Только после революции, войдя в семью советских писателей, Яков Евдокимович смог по-настоящему погрузиться в ту художественную атмосферу, о которой говорил Чехов.

«У меня есть комната сырая, но хорошая, — извещал он меня из Москвы, — попытаюсь дотянуть до весны».

Комната была, в самом деле, сырой и холодной, — без печки. Со стен текло, пахло погребом. Чтобы не замерзнуть, приходилось постоянно жечь керосиновую грелку. Все же это была настоящая, отдельная комната. В ней можно было сидеть и писать без помех.

За окнами гремела возами ломовиков и вагонами трамвая Большая Тульская. Мимо летящих трамваев, мимо магазинных витрин по праздникам гуляли парни — сезонники с гармониками. И это сочетание городского с деревенским так подходит к характеру тех повестей, которые написал Яков Евдокимович, живя здесь. В этих повестях советская деревня тоже братается с рабочим городом, и город ведет ее по своим путям.

Прибрав комнату, приготовив на примусе обед, Яков Евдокимович садился к столу, к рукописям. Последние годы своей

жизни он, несмотря на страдания от тяжелой болезни, работал много и производительно. Он сознавал, что силы уходят, и горючил сказать свое слово. Книга «На утренней заре», по свидетельству его сына, написана им со сказочной быстротой: в несколько дней.

Вспоминается моя последняя встреча с Яковом Евдокимовичем, года за полтора до его смерти. Болезнь очень изменила его внешность. Меньше и желтее стало лицо, сильнее забелели виски и рыжеватые подстриженные усы, глубже запали глаза, сосредоточенные затаенным страданием.

Кутая в пальто свое иссохшее тело, Яков Евдокимович лежал на постели. Голову его покрывала узорчатая тюбетейка. Искушавшая рука держала томик Добролюбова.

Был вечер ранней весны. Где-то гудел самолет. Мы потолковали о болезни Якова Евдокимовича, о его работе. Он с грустью говорил о недавних днях, когда мог регулярно писать:

— Каждый день прибавлял по несколько страниц. А теперь вот все остановилось...

Но болезнь еще дала Якову Евдокимовичу передышку. Он воспользовался ею для того, чтобы на вечерней своей заре вернуться к утренней: написать прекрасные, глубоко-правдивые воспоминания, пленяющие задушевной искренностью, простотой и трогательным лиризмом.

Когда я уходил, Яков Евдокимович сказал:

— Ну, давай простимся. Может быть, больше не увидимся. Он стоял среди комнаты, худой, немного сутулый, с печальным и задумчивым взглядом.

Мы поцеловались...

Я. Е. Коробов был своеобразным, талантливым писателем и человеком неповторимого личного обаяния.

II

В большую прокуренную комнату редакции «Рабочего края» вошел очень молодой и скромный человек, почти мальчик. Теплые карие глаза на круглом лунообразном лице светились доверчиво и ласково.

Гость оказался начинающим поэтом Серафимом Огурцовым. Стихи его были еще не совсем самостоятельны, но — яркие, цветисты, жизнерадостны. И талантливы. Они выгодно выделялись из потока стихов других начинающих авторов, — того потока, который ежедневно приносила в «Рабочий край» почта.

С этого дня Серафим Огурцов вступил в содружество поэтов, объединившихся вокруг ивановской газеты. То было в суровую пору гражданской войны, борьбы с разрухой и голодом. Но стихи были нужны людям, как и всегда. Их «Рабочий край» печатал охотно и много. Кроме того, они выходили отдельными сборниками, альманахами. Непременным участником этих сборников, сотрудником «Рабочего края» стал и Серафим Огурцов.

Он рос быстро. Пятнадцатилетний подросток становится ре-

дактором первой в Иванове комсомольской газеты. Издает книгу стихов. Книга была тоненькая, стихи по форме еще слабы, но свежи, радостны по своему тону.

Огурцов окреп, развернулся в Москве, куда приехал учиться. Здесь он сблизился с Жаровым и другими комсомольскими поэтами. Был замечен Валерием Брюсовым, принявшим его без экзамена в литературный институт. Позднее, когда Огурцов вернулся в Иваново, Валерий Яковлевич через студентов-ивановцев, приезжавших на каникулы в родной город, посылал Серафиму «поклоны».

После Москвы Серафим Огурцов начинает печататься в толстых журналах. Он помещает в «Рабочем крае» цикл поэм «Ленинский призыв». Издательство «Основа» выпускает их отдельной книгой. Серафим старается откликаться стихами на общественные события, стремится окупиться в самую гущу жизни. Его можно увидеть и на митинге, и на красноармейском празднике, и на юбилейном торжестве общественного работника. Его голова полна планами, творческие силы кипят, ищут выхода. Он пишет пьесу «Стенька Разин». Хочет поставить ее не в театре, а под голубым весенним небом на Уводи. В загородном парке, излюбленном месте ивановских гуляний, стучат топоры плотников, сооружающих какие-то деревянные башни и скамьи для зрителей. Художник Самыгин готовит декорации. Артист Дробинин разучивает роль Разина. Афиши на заборах возвещают о предстоящем спектакле. Постановка не осуществилась, но этот эпизод хорошо рисует характер творчества Огурцова, смелость и широту его художественных замыслов.

Чувствовалась в Серафиме большая душевная теплота. Была у него способность быстро и легко сходитьсь с людьми, опрокидывая разделяющие их перегородки. И смотришь — редактор «Рабочего края» Владимир Николаевич Павлов, старый большевик-краснознаменец, для него уже — «Володя», а рассыльная Варвара Ивановна, женщина степенная и пожилая, без гнева отзывается на огурцовское обращение: «Варечка». И со всеми он — на «ты». И всех оделяет семечками из кармана, папиросами, печеньем из бумажного свертка:

— Больше бери, я аванс получил.

Сердечность как-то хорошо уживалась в нем с легкой примесью наивного лукавства. И стихи и весь человеческий облик Огурцова сделали его имя необыкновенно популярным. Кажется, Серафима знали все ивановцы: и рабочие на фабриках, шумно одобрявшие его стихотворение «Пожарная кишка», и продавцы семечек, и крестьяне на базаре.

И вот эту солнечную веселую молодость омрачили тени неизлечимой болезни. Произошло изменение каких-то клеточек мозгового вещества, случилось что-то такое, что нельзя было поправить средствами медицины. Не помогли ни поездка на курорт, ни больница. Предвестники вечного сна, признаки сонной болезни, становились заметнее, грознее. Серафим засыпал походя:

в редакции, в вагоне, на улице. Начала изменять способность речи, — и когда поэт читал стихи, нередко чтение обрывалось на полуслове. Пауза заполнялась нечленораздельным мычанием. Дергалась голова. Не слушались ноги. Походка становилась волочащейся, подпрыгивающей. Кажется, Серафим знал, что вылететь нельзя, но едва ли кто-нибудь слышал от него хоть одну жалобу.

Он сознательно и упрямо сопротивлялся темной силе страшной болезни. На его лице попрежнему светилась широкая улыбка. Попрежнему он писал стихи и злободневные частушки — как Серафим Огурцов и как Херувим Редькин (его псевдоним). И даже играл в футбол. Помню прозрачный осенний день, густосинее небо, желтые березы. По двору, позолоченному теплым солнцем, летает большой черный мяч, со звоном ударяясь о твердую землю. Играют комсомольцы, молодые сотрудники «Рабочего края». Тут же и Серафим. Волоча парализованную ногу, он пытается бегать вместе с другими, удало взвизгивает. Но движения его — связанные, замедленные, словно он борется с невидимым врагом.

В те дни один писатель сказал об Огурцове:

— Замечательна эта его неистребимая жизнестойкость. Другой на месте Серафима ходил бы темный, как ночь, а он весь светится смехом, пишет солнечные стихи. Оседлал солнце и скачет на нем по жизни!

Уже прикованный болезнью к постели, Серафим Огурцов продолжал работать. В этом он походил на другого писателя-комсомольца, на Николая Островского. Старушка в ситцевом платочке, мать Серафима, приносила в Ивановский союз советских писателей стихи сына. Кривые карандашные строки говорили о строительстве новой жизни, о радости труда. Огурцову хотелось написать роман об ивановских текстильщиках. Этот замысел остался неосуществленным. Серафим умер 3 августа 1934 года.

Три книжки стихов, ряд очерков, рассыпанных по газетным страницам — вот его литературное наследие. Стихи Огурцова оригинальны, как он сам. Там, где у другого — грусть, у Огурцова — радость жизнеутверждения.

„Снова осень на березах косит
Золотой и запоздалый лист.
Сыпь дождем, тоскующая осень, —
Все равно я радостью цветист“.

Герои его поэм — старая ткачиха, идущая учиться грамоте, комсомолец на фронте, рабочий за станком. Его сердце с теми, кто трудится в гремящих корпусах. О них он не забывает и среди весенней природы.

„Выйду рано я на поле, на луг,
В синий сумрак, в сырую росу,
Соберу я букет из фиалок
И в каменный город снесу.“

Я отдам их на звонкой панели
У железных фабричных ворот
Тем, чьи взоры в поля не смотрели,
Кто радость в фиалках найдет».

Серафим Огурцов умеет почувствовать и тепло передать переживания работницы, которую фабрика посылает на курорт, в «Крым кипарисовый».

«Верхом на солнце» проскакав по жизни, Огурцов оставил прочную и хорошую память о себе. И не только в Иванове. До сих пор многие московские писатели вспоминают его широкую улыбку и яркие, как кумач, стихи. Он — один из наиболее самобытных представителей отряда писателей-ивановцев.

III

Ефим Вихрев вошел в литературу своими очерками о Палехе, открыв тысячам читателей «село-академию», как некую неизвестную страну. До этого о Палехе писали только специалисты-искусствоведы. Их статьи были статьями ученых. Нужно было, чтобы о палехских художниках написал тоже художник. Вихрев сделал это. В своих очерках, похожих на поэмы в прозе, он с любовью показал читателю содружество художников-крестьян, — показал живой, многоцветный, своеобразный мир народного искусства, созданный советской действительностью.

Вспоминается, как однажды Ефим Федорович сказал:

— Палешане нравятся мне не тем, что они — от земли, от деревни, а тем, что они — вдохновенные искатели и мечтатели. Все они — маленькие Колумбы...

Зачинателям нового искусства, его носителям и искателям Вихрев отдал свои лучшие страницы. С большим изобразительным мастерством рассказал он о мастерах Палеха, о поэте-самоучке Балденкове, об овчиннике Капитоне Воробьеве, вырезавшем из бумаги обыкновенными ножницами необыкновенные по изяществу рисунки. Все это — люди, поднявшиеся к искусству из глубины разбуженного народного моря.

Революция выявила и пробудила целые коллективы талантливых самоучек. Это она превращает бывших иконописцев из простых ремесленников в удивительных художников. В социальных бурях совершилось возрождение древнерусского живописного мастерства, совершилось обновление его дыханием жизни.

В очерках о Палехе Ефим Вихрев нашел себя как писателя. Его последующие рассказы — естественное продолжение темы, вскрытой в книге о Палехе.

Революция освобождает всякое, не только палехское искусство. Эта мысль является стержнем рассказа «Освобождение раба». Рассказ переносит читателя к событиям двадцатого года, к временам ущемления недобитой буржуазии. В одной из буржуазных квартир, среди прочих вещей, найдено мраморное изваяние — копия статуи Микель-Анджело «Скованный раб». Его решают реквизируют, освободить из плена чуждых ему людей.

«Поздно ночью мы перевозили на грузовиках имущество, — рассказывает Вихрев: — мы увезли «Скованного раба». Он поднимался выше всех вещей. Над ним ревели осенние ветры двадцатого года. Вокруг его мраморной головы мерцали звезды далеких сфер. Подвижной моторный пьедестал уносил его в наше грядущее к прекрасному созвездию Геркулеса».

«Скованный раб» становится «Освобожденным рабом», символом будущего свободного искусства. Оно должно быть освобождено от цепей капиталистического общества, для того чтобы стать доступным каждому трудящемуся человеку. Расцвет социалистического искусства представлялся Вихреву как торжество искусства народного. Поэтому-то он так и интересуется поэтами и художниками, вышедшими из народных глубин.

Вихрев жил искусством, светился им. Для того чтобы так чувствовать прекрасное, как он его чувствовал, нужно быть человеком особого душевного склада. Разглядывание палехской росписи или узорчатого топорика, сделанного златоустовским литейщиком, доставляло ему почти детскую радость. Он любил рисовать. Его богатая память хранила множество стихов. Он читал их всюду и всем: на улице, на товарищеской вечеринке, в лесу возле костра, в деловой суеде редакционных комнат. Стихи были необходимыми и обычными его спутниками.

Непрестанное горение прекрасным в соединении с отчетливым пониманием роли искусства в социалистическом строительстве определило писательский облик Ефима Вихрева и характер его литературной работы.

К своей теме освобожденного искусства Вихрев пришел через фронты гражданской войны, через годы учебы и газетной работы. В его дневнике есть строки:

«За гранью Палеха — юность. Я готовился к Палеху двенадцать лет. Я искал его всю жизнь, хотя он находился совсем рядом — в тридцати верстах от города Шуи, где я рос и юношествовал. Чтобы найти его, мне потребовалось отмахать тысячи верст, пройти сквозь гул гражданских битв, виснуть на буферах, с винтовкой в руке появляться в квартирах буржуазии. Вместе с моей страной я мчался к будущему. Мне нужно было писать сотни плохих поэм. Я рвал их, мужая. Я негодовал и свирепствовал. И, пройдя сквозь все испытания юности, на грани ее, я нашел эту чудесную страну...»

В 1922 году застенчивый и восторженный юноша в просвещенной степными ветрами шинели, в разбитых буцах и истрепанных обмотках пришел в редакцию «Рабочего края» и стал активным работником газеты. Он руководил отделом «Рабочая жизнь», занимался с рабкорами, писал статьи, очерки, стихи и в то же время учился в Ивановском политехническом институте.

Не забыть, с каким восхищением говорил Ефим о впервые узнанном им Палехе, об Иване Голикове, написавшем на крышке шкапулки иллюстрацию к его стихотворению «Курган».

Ефим бережно вынимал из картонного футляра драгоценную

шкатулку, — роспись на ней была шедевром миниатюрной живописи. Вихрев сразу оценил прелесть искусства, творимого бывшими «богомазами», не окончившими никаких академий. С тех пор, где бы он ни был, что бы ни делал, в центре его внимания всегда находился любимый им Палех. Секретарствуя в редакциях московских журналов, работая в издательствах, директорствуя в совхозе «Ясная поляна», Ефим Федорович вел с художниками Палеха большую переписку, помогал им советами, писал о них в журналах и газетах. Его книга «Палех», напечатанная в 1930 году издательством «Недра», имела успех. Отрывки из нее в переводе на французский язык появились в каком-то парижском журнале. Книга завоевала советскому Палеху десятки тысяч почитателей и сделала известным имя автора.

Из любви к Палеху Ефим Федорович пускался в кропотливейшие подсчеты количества вариаций, сделанных тем или другим художником на данную тему. Составлял карточки, складывал их, высчитывая, сколько раз и кем иллюстрирована «Сказка о царе Салтане» или «Песня о купце Калашникове». Писал для союзкино объяснительный текст к киноплёночным диапозитивам о Палехе. Он был не только поэтом палехского искусства, но и организатором. По его мысли, под его руководством, при его помощи была написана художником, а затем и издана книга «Палешане». Его работу приветствовал в письмах и личных беседах А. М. Горький.

В декабре 1934 года Ефим Федорович по поручению Горького поехал в Палех, чтобы организовать посвященный народному искусству номер журнала «Наши достижения». Во время этой поездки он заболел, — и случилось так, что Палех, раскрывший его творческие силы, стал его могилой. Жизнь Ефима Вихрева оборвалась на 33 году. Умирая, он в бреду говорил о палехских миниатюрах.

Прирожденный художник, — человек, который должен видеть с особенной остротой, замечая то, мимо чего проходят другие, — Ефим Федорович обладал только половиной физического зрения. Его правый глаз пропал в раннем детстве после скарлатины. Может быть, поэтому Вихрев смотрел всегда таким напряженно-внимательным взглядом, будто хотел как можно тщательнее разглядеть окружающее, как можно больше увидеть и запомнить.

С детства для него большое значение имели зрительные — цветные и световые — впечатления. Для Вихрева-мальчика «мир наполнен забавными игрушками, вкусными яствами, звуками, запахами. И красками», — добавляет Вихрев-писатель, вспоминая свое детство в маленьком рассказе «Мир».

Для него «события жизни запечатлеваются в цвете» («Прозрение»).

Даже слуховые впечатления он часто переводил на зрительные. В своих рассказах он говорит о «хрусткой звукописи кузнециков», о том, как гармошка «зачертила в темной тишине прихотливые линии звуков».

Элементы искусства даны нам в природе. Нужно собрать их, привести в порядок, оформить. Художник — прежде всего организатор, строитель. И наоборот: строитель должен быть художником. Поэтому о будущем Вихрев говорит, как о создании «прекрасной композиции социализма». Для него социалистическое строительство — это одновременно и художественное творчество. Художник — участник общего великого дела. Таким художником Ефим Вихрев чувствовал себя.

„Да, я не изменюсь и буду тверд душой
Художника и коммуниста“, —

сказал он в одном из своих стихотворений.

Основным свойством Ефима Федоровича было теплое внимание к людям, привлекавшее к нему всех, кто встречался с ним. В двери его московской квартиры стучался и юный рабкор, и друг Джона Рида, американский журналист Альберт Рис Вильямс, и старый товарищ по фронтам. Бывали здесь и степенные, обходительные мастера Палеха. И читались ли стихи, рассматривались ли новые работы Ивана Голикова, — как горячо отзывался на все это Ефим, как умел он восторгаться прихотливым изгибом линии или неожиданной строкой поэта!

Абжур настольной лампы бросал тень на его впалые щеки. Небольшой тонкой рукой Ефим Федорович отбрасывал назад спадавшие на лоб волосы, смотрел на гостей своим пристальным взглядом, улыбался, ходил по комнате. Он казался маленьким и непрочным, но в его некрепком теле жил бодрый, деятельный дух. Был Ефим полон жадного интереса к жизни, к литературе, к живописи. Он тянулся ко всему красивому. Он стремился раскрыть в словах, в ритмах, в образах свои заветные мысли и чувства, свою даровитую личность.

На полках покоились любимые книги, на стенах — в рамках и под стеклом — драгоценно мерцали миниатюры палехских мастеров, на письменном столе лежали рукописи. Ефим подходил к столу. Смущенно улыбаясь, читал свой новый рассказ, а прочитав, ждал, что скажут слушатели. Критические замечания не обижали его, а похвалы окрыляли. Возбужденный одобрением, он начинал рассказывать содержание будущих своих произведений. Замыслами он был богат, но только небольшую часть их успел осуществить за свою так рано оборвавшуюся жизнь. Как писатель Ефим Вихрев непрерывно совершенствовался. Его изобразительное мастерство крепло с каждой новой вещью.

Палех сделался духовной родиной Вихрева, Палех питал своими соками его творческие силы. Ефим любил бывать в селе художников. По пути в Палех он заезжал в Иваново повидаться с товарищами по работе в «Рабочем крае». В эти свои заезды он производил впечатление человека, живущего бурно и радостно — каждым нервом, каждым мускулом.

Он клал на стол свой желтый кожаный портфель. Не раздеваясь, присаживался на краешке стула, готовый в любую минуту встать и пойти дальше. Торопился рассказать московские и палех-

ские новости, расспрашивал об ивановской жизни, весело — от всего сердца — смеялся. Смотрел на карманные часы, говорил:

— Пора итти, а то опоздаю.

Уходил быстрыми молодыми шагами, слегка наклонившись вперед и размахивая портфелем. Казалось, он хотел поспеть в несколько мест разом, все видеть, во всем участвовать.

А в летние дни в Палехе, у истоков прекрасного, Ефим в свои тридцать лет казался юношей, проказливым подростком.

Обожженный солнцем, улыбающийся, в светлой рубашке с распахнутым воротом, он шел в сопровождении пятилетнего сына Шурика к заросшей ольхою Палешке купаться, — и ветер трепал его мягкие русые волосы. Ефим шутил с молодыми палешанками, пел, пускался бежать наперегонки с сыном по зеленой траве. Бросался с берега в холодную воду Палешки, — бьют на дне ее студеные родники, и солнце нагревает только верхние струи речки.

Молодым, счастливым казался он и на празднике выпуска учеников художественной школы. Сидел в президиуме собрания на высокой пахучей эстраде, украшенной березками. Перед эстрадой, на поляне лесной опушки, собрались палешане-художники и колхозники. Пришли матери с детьми на руках, молодежь с гармоникой. Ефим Федорович говорил речь, а в литературно-художественном отделении праздника читал стихи. И уже вне программы, взяв за руку Шурика, двигался с палешанами по поляне в живом венке пестрого хоровода.

Вот таким вдохновенным энтузиастом украшающего и перестраивающего жизнь искусства Ефим Вихрев и запомнился тем, кто знал его при жизни.

Он похоронен в Палехе, у живых родников красоты. Посредине села к каменной ограде церкви-музея прислонилась другая, деревянная ограда, окружив могильный холмик. На могиле стоит памятник с портретом Ефима и пушкинским двустижием.

Проходя мимо, мастера читают выведенные золотом строки:

„В темной могиле почил художников друг и советник.

Как бы он обнял тебя, как бы гордился тобой!“

А Бутырская улица в Шуге, где прошло детство Ефима, теперь называется улицей Вихрева. Имя писателя стало дорогим десяткам тысяч людей, его слово нашло в их сердцах живой и трепетный отклик.

ДМ. ПРОКОФЬЕВ

В. А. РЯЗАНЦЕВ

7 ноября 1866 г. в с. Иваново умер никому неизвестный писатель Василий Алексеевич Рязанцев. Умер скоропостижно, загадочно, еще совсем молодым — тридцати семи лет. Сейчас нет возможности восстановить ужасающую, полную драматизма картину последних дней писателя, как и вообще нельзя более или менее подробно рассказать о всей жизни Рязанцева, этого несомненно талантливого и весьма интересного человека. Кроме некролога, опубликованного в журнале «Развлечение» Нефедовым, тоже ивановским писателем и хорошо знавшим Василия Алексеевича, никаких воспоминаний о Рязанцеве не осталось. Но представление о нем, как о писателе, о человеке, дают его собственные, правда немногочисленные, произведения, которые в той или иной степени являются биографическими. И люди, изображенные в них, не только близки к своим прототипам, но нередко они называются почти собственными фамилиями, лишь слегка зашифрованными.

Отец писателя, Алексей Васильевич Рязанцев, был «дворовым человеком» графа Шереметева, кому принадлежало с. Иваново, известное многочисленностью текстильных фабрик. К сожалению, мы не можем сказать, был ли Алексей Васильевич «коренным» ивановцем и как долго он служил управляющим. Есть только предположение, что он находился сначала в Останкине, в имении Шереметева, был «замечен» графом и за выслугу послан в Иваново. Может быть это и не соответствует истине, однако уже само назначение Рязанцева управляющим такой богатой вотчиной, частью которой являлось шумное, больше похожее на город, чем на село, фабричное Иваново, свидетельствует о том, что «дворовый человек» Алексей Васильевич был человеком, несомненно, умным и предприимчивым. Не следует забывать, что в то время, т. е. в первой половине 19 века, многие фабриканты еще числились крепостными, хотя бы и формально. Поэтому нет никакого преувеличения в словах Нефедова, когда он пишет о том, что «местное общество» обивало пороги у Рязанцева. Несом-

ненно, он чувствовал себя «князьком», даже несмотря на то, что фактическими хозяевами села Иванова, а затем и Вознесенского посада были крупнейшие фабриканты Гарелины, Зубковы, Полушины...

Время настолько тщательно зализало следы прошлого, что сейчас невозможно сказать, где находился дом управляющего вотчиной, каков он, чтобы можно было определить внешнюю сторону жизни Рязанцевых. Тем не менее нельзя сомневаться, что «дворовый человек» жил достаточно широко, поскольку он «водил хлеб-соль» с фабрикантами. Мне часто придется ссылаться на произведения Василия Алексеевича, поскольку они, как я сказал выше, достаточно биографичны. В частности, в найденной и до сих пор неопубликованной повести «Тихий омут» в образе Ивана Гавриловича Прыщова писатель довольно близко нарисовал себя, а в семье Прыщовых — собственную семью. Рассказывая о жизни Ивана Гавриловича, вынужденного влачить жалкое, невыносимо тяжелое существование, добывая семье кусок хлеба дешевой и случайной починкой обуви, Рязанцев пишет: «...этот старый, почерневший от времени большой деревянный дом может навести каждого на грустное раздумье. Его наружность ясно указывает — как прежде жилось в нем и как теперь живет. Обширность постройки, хорошее достоинство строительных материалов и тщательная работа, — все напоминает, что прежде в нем жило полное довольство».

В той же повести «Тихий омут» писатель говорит о Прыщове. «Он и жена его родились не в нужде, а в неге, не приучены с детства ни к какой работе, привыкли к сладкому куску, носили все чистую и дорогую одежду...». Окончив начальную школу, Рязанцев поехал учиться в Первую Московскую гимназию. Как он учился там, в каком окружении находился, чем увлекался — об этом не осталось никаких свидетельств. В рассказе «Горе от книжного учения», недавно найденном и еще нигде не опубликованном, Иван Иванович Тепохин, от имени которого ведется рассказ, говорит о себе: «учился книжной премудрости вдалеке от моих родных, почему и виделся с ними только раза три в год — в продолжительные отпуска на большие праздники и vacationное время, и когда меня отпускали для свидания с ними, и, следовательно, когда я освобождался от придирчиво-строгого надзора моих наставников. Действительно, и тогда для меня было слишком приятно освобождение от посторонней зависимости». Несомненно, что еще в юности своей, уходя в гимназии, Василий Алексеевич не любил «придирчиво-строгого надзора», и ему всегда «было слишком приятно освобождение от посторонней зависимости». Уж тогда он был, как можно догадываться, человеком прямым, свободолюбивым, не терпящим унижения своей личности, своего достоинства. Не по этому ли свойству своего характера он и не смог закончить гимназию? Нефедов, оставивший о Рязанцеве некролог, писал, что Василий Алексеевич должен был выйти из гимназии «по разным обстоятельствам», «не

окончивши курса (тогда еще существовало у нас крепостное право)». Разумеется, что отцу писателя пришлось приложить немало усилий и, конечно, средств, чтобы устроить сына учиться в гимназии, поскольку, несмотря на свое положение, он оставался все же крепостным графа Шереметева. Но объяснять выход из гимназии только тем, что отец был крепостным, нельзя, да и Нефедов прямо говорит, что Василий Алексеевич «принужден был выйти» из гимназии «по разным обстоятельствам».

Вернувшись домой, в Иваново, Рязанцев по настоянию отца, желавшего как-то устроить судьбу сына, приобрел на свое имя маленькую фабричку, внес гильдейский капитал и получил звание купца третьей гильдии. Тут же вскоре женился. В книге бывшей крестовоздвиженской церкви, что находилась на площади городского Совета, имеется об этом запись. Приводим ее полностью: «8/X 1850 г. шуйский 3-й гильдии купец Василий Алексеевич Рязанцев, 21 года, женился на вольноотпущенной от графа Шереметева села Иванова крестьянской девице Анне Васильевне Бубновой, 21 года». Анна Васильевна была дочерью одного из братьев Бубновых, владельцев небольшой текстильной фабрики. По обнаруженным письмам явствует, что она была женщина малограмотная, недалекая, совсем не интересовавшаяся литературными делами своего мужа. Больше того, ее, видимо, огорчало, что Василий Алексеевич подвижнически, ночами занимался творчеством, непонятным для нее. Забегая несколько вперед, можно сказать, что после смерти Рязанцева она разметала по некоторым журнальным редакциям его литературное наследство, из которого многое теперь пропало вовсе, как, например, повесть «Борьба». По найденному начальному листу, четко испisanному с двух сторон, можно сказать с уверенностью, что эта повесть была закончена писателем и, возможно, вместе с повестью «Тихий омут» побывала в руках Нефедова, вернувшего рукописи Рязанцеву без надежды напечатать их по цензурным условиям.

**

Однако «не по душе и не по наклонностям Василия Алексеевича была мануфактурная деятельность!.. По природе живой, впечатлительный и в высшей степени прямой, он не обладал тем практическим тактом и тою коммерческой сметливостью, которыми характеризуется наш коммерсант вообще и в с. Иваново в особенности, — и потому совершенно естественно, что в какие-нибудь два-три года Василий Алексеевич разорился, или, как говорили в Иваново, «вылетел в трубу» (Нефедов). Надо думать, что из гимназии он ушел с очень скромными знаниями, и ему пришлось восполнять свой пробел усиленным чтением книг. Он читает жадно и много. Причем интерес его достаточно широк. Наряду с изучением политико-экономов он изучает и труды физиологов, как, например, Карла Рудольфа, основателя гельминтологии. «Я познакомился с Василием Алексеевичем, — пишет Нефедов, — в 1859 г. Несмотря на значительную разность в годах (Рязанцев был старше Нефедова на 9 лет)... мы скоро сошлись, и между

нами завязались дружеские отношения: связующим звеном для обоих служила любовь к литературе. Часто, бывало, мы просиживали с ним далеко за полночь, читая новые книжки журналов, или толкуя о разных вопросах, какие в то время ежедневно почти возникали в нашей общественной жизни».

Мы не можем сказать достоверно, что это были за журналы, какие обсуждались вопросы «общественной жизни», но можно предположить, что одним из журналов, за которым внимательно следил Рязанцев, был «Современник» Чернышевского — Добролюбова — Некрасова. Об этом свидетельствуют произведения писателя. Рязанцев был, несомненно, человеком принципиальным, со своими взглядами на жизнь, на литературу, на призвание и задачи писателя. Он довольно остро высмеивал писателей, изображавших жизнь «простых людей», за их незнание этой жизни. Иван Гаврилович Прыцов говорит: «...Если бы вы почитали, как описывают в книжках разговор нашего брата неуча-купца и крестьянина, просто — смех и зло берет. Думаешь про писаку, где он, вражий сын, такую речь слышал? Наберет кучу разных грубых и неудобопонятных слов, расположит их по порядку и думает, что верно изобразил простонародную речь». Перед собой, как перед писателем, Рязанцев ставил большие задачи. Он «взял на себя труд говорить откровенно о всех многообразных явлениях общественной жизни». Это последнее обстоятельство роднит его с Помяловским, который говорил: «Я хочу узнать жизнь во всех ее видах, хочу видеть наши общественные язвы, наш забытый, изможденный нуждою люд, на который никто смотреть не хочет. У меня хватит присутствия духа...».

У Рязанцева также хватило «присутствия духа». Он со всей беспощадностью изображает лицемерие, ханжество и волчью жадность фабрикантов, их дикое человеконенавистничество. Так же, как и Помяловский, он видит все «общественные язвы». Он пишет о них с ненавистью, с беспощадностью. Отводя поклеп от рабочих, он с негодованием говорит: «В отношении рабочего класса бессмысленна избитая фраза Нестора, часто появляющаяся у нас в печати: «веселье Руси есть пити». Это господа, смотрящие на Русь в подзорные трубки из кабинетных окошек столиц и иногда выезжающие поразмяться по ней от геморроя, пишут такую бестолковщину о родной земле...». Рассказывая о семье шинкаря, в прошлом человека трезвого и трудолюбивого, писатель говорит: «В этой избе копошится та самая гнилая жизнь, которая служит резким укором бестолковой общественной благотворительности, безрассудной частной милостыни и достаточным примером совершенного невнимания общества к своим собственным язвам». И еще: «Склад нашего общества уж такой, что каждое общественное полезное учреждение имеет только начало доброе, а результат со временем выходит плохой, потому что заботятся только о внешности, что может в глаза броситься, чем можно похвалиться, а главное-то — сущность-то дела, внутреннее-то содержание, достижение-то настоящей цели остаются без внимания».

В феврале 1861 г. умер от горячки Алексей Васильевич Рязанцев, отец писателя. Это «окончательно лишило» Василия Алексеевича «средств в жизни». Нефедов пишет: «Местное общество, обивавшее пороги у отца и распростирившее дружественные объятия ему самому, теперь грубо отвернулось от него и заклеямило его презрением. Все домашнее имущество, какое только оставалось от прежнего времени, было продано и прожито, между тем как семейство Василия Алексеевича с каждым годом увеличивалось. Он силился выйти из горького положения, искал себе занять место у какого-нибудь из местных капиталистов и... и не находил. А нужда и голод громко вопияли о необходимости труда. И вот Василий Алексеевич принимается за сапожное мастерство, учится ему и потом начинает зарабатывать какие-то жалкие гривенники. Сапожное мастерство он меняет на столярное, делает столы, стулья и т. п. Последнее оказывается выгоднее первого, и он продолжает им заниматься до самой смерти. Во все эти годы, исполненные страшной борьбы с нуждой и голодом — с одной стороны, и невежеством окружающей среды — с другой, Василий Алексеевич не выдерживал и падал.. И чем сильнее давил его гнет жизненной обстановки, тем чаще и чаще повторялись эти падения. Незадолго до смерти бедному страдальцу показался было впереди светлый луч, но он показался слишком уж поздно...»



Окружение писателя было чрезвычайно тяжелым. Он жил в Иванове одинокий, почти всем чужой. Ему не с кем было обменяться мыслями, поговорить о литературе, которую он так искренне любил. Рязанцев не имел возможности даже разделить с кем-нибудь свой короткий досуг. Это было тем более тяжело, что в семье его не понимали, а его, преимущественно ночное, занятие литературой считали не стоящей внимания затеей. Чтобы дать некоторое представление об Иванове тех лет, мы позволим себе привести выписку из рассказа Нефедова «Чортово болото», напечатанного в журнале «Развлечение» в 1864 г. «В настоящее время Чортово болото, по своему характеру и организации, представляет что-то особенное, самобытное: это ни город, ни село... Тут на одном берегу реки в широких и красивых улицах встречаются здания с надписями: «женская гимназия», «чортоболотовская дума», «больница», на другом берегу в целом хаосе избенок и фабричных зданий, раскинутых где и как попало, выглядывают дома и также с надписями: «волостное правление», «квартира пристава 2-го стана», «дом управляющего Чортовым болотом» и пр. Жители тоже представляют какое-то разношерстное стадо: тут видишь и гордого сына Альбиона, с рыжими баками, идущего величаво с сигарою в зубах, заламя немного голову и засунув руки в карманы пальто или штанов; натыкаешься и на сына Франции, который куда-то торопится и бежит вприпрыжку, напевая что-то из Беранже; встречаешь и поляка, прозелитата-татарина, — да что тут перебирать: все национальности земного

шара имеют здесь по несколько экземпляров своих представителей. Но господствующими элементами, составляющими массу населения, являются два сословия и оба наши русские: одно — капиталисты, местные фабриканты и торговцы; другое — рабочий и мастеровой люд. Есть и еще одно сословие — чиновничество. Но я забыл, что в Чортовом болоте существует особый класс людей, нечто в роде древних париев, класс различного рода оборванцев и гольтепы, который стонет и воет по ночам, как голодная стая волков зимою в лесу».

Это внешний облик Иванова. А теперь обратимся к собственно окружению Рязанцева. В его рассказе «Горе от книжного учения» Тепохин говорит: «Осмотрите-ка около себя, что вас окружает? Чорт знает, что такое, — одного шага ступить нельзя без отвращения. Везде дрянь и мерзость. Сумбур какой-то делается в голове, если станешь попристальнее размышлять о нашей общественной жизни?..» «Взгляните на наших чреватых телом и всеми отрицательными достоинствами богачей, на их всеосвершеннейших подурух-сожительниц, на их полуграмотных кутил-сынков и, наконец, на их не-тронь-меня дочек: какое безобразное скопище нравственного уродства! И все это беспощадно тяготеет своими материальными преимуществами над нами, бедняками, и с высоты своего ничтожества смотрит на нас гордо, презрительно и безучастно до бесчеловечия. В особенности же, если кто-нибудь из нас, бедняков, вздумает хотя мало-мальски научно образовать себя и сделаться человечнее, а стало быть, отрешиться от окружающего его уродства, — горе ему: не только никто из этих представителей уродов не захочет иметь с ним никакого дела, а даже каждый из них отвернется от него с грубым пренебрежением и при случае постарается наделать ему всевозможных пакостей».

Яков Петрович Гарелин был известен не только как фабрикант-миллионер, но и как «литератор-краевед». По поводу последнего немало говорилось и писалось либеральствующими сочинителями, которые награждали фабриканта лестными для него эпитетами, никак не заслуженными. Здесь уместно вспомнить замечательное утверждение Алексея Максимовича Горького о том, что «роль буржуазии в процессе культурного творчества сильно преувеличена». Рассказ Рязанцева «Горе от книжного учения» прямо соответствует этому горьковскому утверждению. В нем изображены три фабриканта, типичные для своего времени, — Гарелин, Полушин и Зубков. Последний по недоразумению был когда-то зачислен даже в «революционеры». И вот этих «литераторов» и «революционеров» поневоле с беспощадной правдивостью разоблачает Рязанцев. «Видите ли в чем дело: Крелин (т. е. Гарелин), несмотря на то, что в простонародьи его величают попросту Яшей-дурачком, слывет в здешнем буржуазно-аристократическом кругу человеком передовым, отлично образованным и чуть ли не гениальным, вот ему и не хочется, чтобы кто-нибудь затмил его популярность, он и старается преследовать и ловить каждого, кто

имеет хотя малую склонность к научному образованию. Кроме азбуки, псалтири, часовника и четырех арифметических правил, он считает великим преступлением для человека бедного дальнейшее образование».

Отзываясь о Тепохине в кругу фабрикантов, Крепин-Гарелин гсворит: «Вбил себе в голову глупую идею сделаться человеком образованным, развитым, — разве это можно в его низком общественном положении и с его нищенскими материальными средствами? Это свойственно только нам, людям высокопоставленным в обществе и с большими денежными средствами. А то эти голыши-выскочки туда же лезут в гору и после станут задирать нос перед заслуженными и почетными людьми да, пожалуй, еще будут и смеяться над нами, как, например, Зарянец и Фенедов (т. е. Рязанцев и Нефедов). Нет, таких непрошенных и дерзких выскочек надо избегать и даже стараться всячески преграждать им дорогу к дальнейшему их научному развитию, как несвойственному их званию и состоянию занятию. По праву образования подобный выскочка как раз и со мной вздумает равняться, а? Червяку, ничтожной молявке равняться со мной!!! Нет, пока мы живы и имеем возможность, мы до этого не допустим. Мы будем стараться с корнем вырывать эти злые зелья. Да чтобы я принял подобного выскочку к себе в услужение? Никогда! Никогда!».

Гарелин — этот «привилегированный представитель своего общества, честолюбец, увешанный регалиями», «поразительно ясно... выразил своей дикой речью загрубелый в невежестве склад общественного направления». «После этого человек, как человек, а не скот в образе человеческом, и поживи спокойно, безобидно и без нужды в среде таких отпетых олухов и дожидайся от них чего-нибудь доброго! Нет, скорей солнце сдвинется с места и пойдет кружиться кубарем около земли и даже по земле, чем эти кривотолпки разубедятся в своих закоренелых предрассудках и поймут, что не материальное богатство составляет истинное достоинство человека, а его духовное развитие — умственная обработка, чистота нравственная и теплое сочувствие ко всему окружающему».

В таких условиях жил и работал Рязанцев. Не легче была и домашняя обстановка. Распродав все, что можно было, из вещей, писатель должен был кормить семью на грошовые заработки сапожным, а затем столярным ремеслом. В личной жизни Василия Алексеевича назревала буквально драма. Потом «она с каждым днем с неумолимо-жестоким постепенностью» развивалась все злее и злее и, наконец, обратилась хотя в ничтожно-мелочную, бесстрастную, почти безмолвную, но постоянную нестерпимо-мучительную борьбу. Домашняя наша жизнь сделалась хуже ада. Неумолкаемые сетования семейных на свою горькую участь, их беспричинная злоба на все и на всех, их отрывчатые, глухие речи, угрюмые вздохи — все это жестоко терзало меня и вооружало на борьбу без борьбы. Мне решительно нельзя было ничем заняться — ни почитать книги, ни пописать, ни сходить к кому-нибудь из знакомых, чтобы я не слышал от них едкой укоризны и горького

упрека». Только надо удивляться, с каким упорством и любовью относился Рязанцев к литературе, чтобы, живя в совершенно невыносимых условиях, найти в себе душевные силы и время для творчества.

*
**

О последних днях писателя Нефедов рассказывает:

«Летом н. г. (т. е. 1866 г.) я посетил с. Иваново, и мы снова увиделись. До своего отъезда из Москвы я получил от Василия Алексеевича его повесть «Добрый человек», которую и передал в редакцию «Развлечения». При свидании я сказал ему, что повесть будет напечатана. Он был очень рад этому известию и тут же мне заявил, что у него приготовлены еще кое-какие вещицы.

Положение его в это время было печальное: во всем доме не было пятачка, на который можно было бы купить хлеба... Я прожил в Иваново месяц и перед отъездом зашел к Василию Алексеевичу проститься. Все семейство я застал на дворе, за самоваром.

— А, вот и он, — приветствовал меня Рязанцев. — Садись, брат!

Я сел. Кругом меня сидели его жена и дети, на грустных лицах которых злая судьба успела наложить свою печать.

— Что Митя? — спросил я у Василия Алексеевича об его сыне, мальчике лет семи: — Учится?

— Как же, учится, — отвечал отец. — Он, брат, у меня такой молодец, — люблю глядеть! Только уж очень сосредоточен...

Я взглянул на Митю, который сидел в стороне и как-то не по-детски серьезно глядел на меня...

После чаю Василий Алексеевич взял меня за руку и повел в садик.

— Знаешь, что я тебе скажу, — начал он: — я, брат, должно быть скоро умру. Грудь все что-то болит... нынче со мной часто припадки делаются... Я только не говорю домашним, а больно страдаю.

— Нехорошо, — сказал я, — ты бы посоветовался с кем-нибудь из докторов.

— Э-эх, друг! С ними советоваться нужны деньги, а без денег к ним и ходить нечего... Вот Митя очень меня сокрушает, что с ним будет, если я умру?.. Теперь я с ним сам занимаюсь... Не хочется, чтобы семья после на меня жаловалась.

Признаюсь, с глубокой тоскою я расстался с Василием Алексеевичем, который проводил меня за ворота и желал мне успеха, счастья... А я... я ничего не мог желать и только крепко жал его руку и с грустью глядел на его лицо.

«Это было последнее наше свидание».

После смерти Рязанцева осталось довольно значительное литературное наследство. Причем большая и самая интересная часть этого наследства до сих пор не увидела света. При жизни писателя были напечатаны только рассказ «Хороший человек» (журнал «Сын отечества», 1861 г., № 12) да повесть «Добрый человек» (журнал «Развлечение», 1866 г., №№ 25 — 29). После смерти

были напечатаны еще, тоже в журнале «Развлечение» за 1866 г. и 1867 г., «Знахарь» и «Божьи люди», которые до последнего времени считались самостоятельными очерками. Но обнаруженная большая повесть,¹ которую мы условно называем «Тихий омут», показала, что и «Знахарь» и «Божьи люди» являются главами этой повести, посланными в журнал по совету Нефедова и под влиянием страшной нужды самим Рязанцевым. Сейчас невозможно выяснить, почему именно повесть «Тихий омут» осталась ненапечатанной, какие были вокруг нее суждения и была ли она вообще в чьих-нибудь руках в Москве, кроме Нефедова. Одно достоверно, что сам Нефедов читал эту повесть и, возможно, не предлагая в редакции журналов, вернул ее Рязанцеву. Здесь могли сказаться и характер времени (начало цензурной реакции) и воззрения самого Нефедова, никогда не отличавшегося ясностью убеждений. Больше того, он всегда страдал боязнью высказать даже те свои убеждения, которые были у него, хотя и являлись они по существу довольно безобидными. В одном из своих писем член так называемого демидовского кружка, который одно время существовал в Иванове и активным участником которого был Нефедов, писал последнему: «Мне не понравилась в тебе одна черта. Это — боязнь своих убеждений. Помнишь вечер у Самариных, разговор о Каракозове, поджогах и проч. Относись... нежнее к своему высшему и главному сокровищу — любви к народу. Зачем это полусоглашение с нашими недругами? Зачем, хотя и самая невинная, лезть их помещичьим поползновеньицам?».

Эта «боязнь своих убеждений», это «полусоглашение» и заставили, несомненно, дать отрицательный отзыв о повести «Тихий омут». Впрочем, иначе и не могло быть. Напуганный покушением Каракозова на царя, опасаясь общей репрессии со стороны правительства, Нефедов остерегался резких выпадов по адресу общественного строя. Полунамеками он об этом, видимо, сказал Рязанцеву, возвращая ему «рукопись в трех тетрадах» (из письма Рязанцева Богомолу Н. М.). Писем Нефедова о повести «Тихий омут» в нашем распоряжении нет. Да они едва ли и сохранились. Но мы располагаем ответным письмом самого Василия Алексеевича. По ответу можно составить себе представление о том, насколько далеко зашли разногласия между Рязанцевым и Нефедовым. И это неудивительно. В то время, как Василий Алексеевич писал преимущественно о фабрикантах, о фабричных рабочих, о людях городских, Нефедов все свое внимание обращал на деревню. О «мужицких» настроениях Нефедову писал один из членов демидовского кружка: «Нас интересуют, как вы выразились, человеческие интересы (преимущественно мужицкие). Не знаю, откуда в вас человеческое отношение к мужицким невзгодам». Поэтому он, подобно всем народникам, глядел на рабочих, как на «разновидность крестьян». Вполне возможно, что Нефедов не только не разделял

¹ Оригиналы повести «Тихий омут» и рассказа «Горе от книжного учения» находятся у владимирского краеведа Л. С. Богданова.

в последнее время взглядов Рязанцева на общественные отношения на всю машину самодержавного строя, но и не понимал необходимости с такой ненавистью изображать фабрикантов и с любовью, сочувствием — рабочих, к которым Рязанцев питает самые лучшие и светлые чувства. Он видит в рабочих, людях труда, совершенно иных людей, у которых свои интересы, привычки.

19 августа 1866 г. Рязанцев писал упомянутому выше Богомолу: «Покорнейше благодарю вас, что вы доставили мне от Ф. Д. Нефедова 25 рублей и рукопись в трех тетрадах. Также я получил еще от Д. В. Нефедова (отца Нефедова) 25 рублей, значит, всего 50 рублей. Об этом я уведомя Ф. Д. Нефедова с первою же почтой». Но, получив рукопись, надо думать, повесть «Тихий омут», Рязанцев ответил Нефедову не сразу. Видимо, ему было очень тяжело то, что Нефедов, тоже писатель, так легкомысленно и трусливо отнесся к повести. Несомненно, Рязанцев рассчитывал сделать много упреков по адресу «господ, сидящих в столице». Наконец, только 7 сентября он послал ответ Нефедову, очень ядовитый и официальный по тону. Приводим это письмо полностью:

«Село Иваново, 7 сентября 1866 года.

Ваше высокоблагородие,
Милостивый Государь,
Филипп Дномидович!

Я получил 25 рублей от Д. В. Нефедова и от г. Богомолова тоже 25 рублей и рукопись в трех тетрадах: благодарю Вас за тяжелый труд и потерю драгоценного времени. Побеспокойтесь и последние деньги, если возможно, поскорее выслать, потому что у нас подходит ярмарка.

Я долго не отвечал на последнее ваше письмо оттого, что отвечать на него в своем роде тоже очень тяжелый труд и нужно было прежде собраться с силами, чем принять на себя такую неприятную обязанность. В настоящее время в Москве, должно полагать, вошло в моду играть в загадки; но мы — люди до того плохо развитые, что находимся решительно несостоятельными загадывать весьма многие загадки.

В двух прежних письмах вы намекали мне что-то, но я не счел за нужное принять это за что-нибудь серьезное. В последнем своем письме вы бросаете мне перчатку совершенно беспричинного разрыва, основанного, кажется, только на одних ивановских сплетнях. Если подобное занятие доставляет вам удовольствие, то это — ваше дело. Но для меня удивительно то, что вы через этот пасквиль уже обращаетесь ко мне с мезтью: впрочем, это тоже шаг вперед на пути развития. Может быть, вы и на будущее время захотите затормозить мне дело. Если вам и это доставляет удовольствие, то о вкусах не спорят.

Сначала в этой глупой сплетне я исключительно обвинял ваших сродных; но вчера я узнал, что этому причиной какая-то Марья Куваева. Что это за личность — совершенно не знаю и думаю, что в жизнь свою ни разу с ней не встречался.

Далее в этом вопросе распространяться считаю излишним: остальное может дополнить ваше благоразумие.

Сильно удивляюсь я только тому, что вы меня так мало знаете.

Прошу вас, вышлите деньги, если можно, поскорее.

С почтением к Вам имею честь быть

В. Рязанцев».

Писатель решительный, принципиальный, со своими взглядами на жизнь, Рязанцев, конечно, понимал «что делается в столице». Но его «сильно удивило» то, что Нефедов, слывший до сих пор «литературным другом», «так мало знал» его. Это больно отразилось на Рязанцеве. Тем более, что близких и вообще друзей у него не было. Он рассчитывал напечатать повесть «Добрый человек», увидеть напечатанной и другую повесть «Тихий омут», которая дала бы ему хотя некоторую материальную поддержку. Он готовил, как видно из некролога Нефедова, и другие вещи. Кроме мелких рассказов — неопубликованного «Горя от книжного учения» и затерянных «Кто кого надул», «Сон Федосьи», — им была закончена, надо полагать, большая повесть с характерным названием «Борьба».

Все творчество Рязанцева посвящено изображению миллионеров-фабрикантов, так сказать, второго поколения, отцы которых в большинстве своем были крепостными, но всеми неправдами сумели составить капиталы. И хотя «второе поколение» фабрикантов, не исключая и Якова Гарелина и Александра Зубкова, внешне преобразовалось, но сквозь наведенный лоск «все еще пахло от них мужицкой сермягой, нагольной овчиной, дегтярными сапогами и разным скотским пометом». Наряду с изображением отвратительной, циничной и прямо-таки звериной жизни капиталистов (Щетин — из повести «Добрый человек», Свинорылов и Релин — из повести «Тихий омут» и др.), Рязанцев один из первых среди русских писателей очень сочувственно и даже с любовью рисовал образы фабричных людей, потомственных рабочих. Он хорошо понимал, что это два совершенно противоположных мира, между ними лежит непроходимая пропасть.

К сожалению, мы не можем точно сказать, под влиянием кого складывалось мировоззрение писателя, но одно несомненно, что глядел он на жизнь, окружающую его, довольно ясно. Возьмем хотя бы образ Щетина. Как сильно и верно нарисовал его моральный облик Рязанцев. Это — циничный ханжа и дикий эксплуататор, прикрывающийся именем «доброго человека». Ради приумножения своего и без того огромного капитала он обманывает даже бога. Умиравший мелкий фабрикант Кузьма Петрович, легкомысленно поверивший в доброту Щетина, оставляет ему несколько десятков тысяч рублей на достройку церкви и украшение ее. Получив деньги, «добрый человек» кое-как достраивает церковь, но ради тщеславия распустил молву, что сделал это на свои деньги. В Щетине была настолько чрезмерно развита сила стяжания, что «ему недосуг было заниматься никакими глубокими чувствами, не

приносящими пользы его карману и чести его имени». Лишь одно приводило его в состояние восторга, когда удавалось ему подмять под себя какого-нибудь фабриканта помельче его самого. «Ловко обделал я дельце. Теперь Лукаше я закинул петлю на шею, не вывернется скоро из моих рук». Да что там! Он даже собственную дочь начинает обучать грамоте не ради каких-то высоких целей, как человек, понявший облагораживающее значение культуры, знаний, а привозит из Москвы «мадаму» только за тем, чтобы дочь превратить в товар подороже ценой. «Вот что, брат Кузьма Павлыч, — говорит Щетин своему приказчику, — я хочу, чтобы у меня Саша не отстала от других... Смотри-ка, нынче все пустились в ученье, особенно больше все девчонок обучают, чтобы, знаешь, способнее было товар лицом с рук сбыть».

Стремясь поддерживать имя «добротолюбца», Щетин, по примеру других фабрикантов, разбрасывает по праздничным дням большие деньги «отребью общества» — нищим. Больше того, он в некотором роде соревнуется с другими «благодетелями», — вместо гривенников он велит раздавать по двугривенному. А чтобы знали его «доброту», он посылает специальных людей кричать по базарам о предстоящей раздаче милостыни. Дескать, пусть знает вся округа! И молва летит, множится, а полученные затем двугривенные пропиваются тут же в кабаках нищими. Но это мелкое торжество фабриканта ложится тяжелым бременем на плечи рабочих. Никто не знает, что Щетин разбрасывает не свои деньги. Нет. Милостыню оплачивали всегда из своих карманов рабочие.

«Подобные дележи, — пишет Рязанцев, — приносили Николаю Антоновичу большую славу, как доброму человеку. Несмотря на это, Щетин после каждого дележа несколько времени чем-то тяготился, казался чем-то серьезно озабочен и делался сердито угрюмым. В этом тревожном состоянии он почти не выпускал из рук счета и все что-то на них выкладывал, покусывая концы своей бороды. При таких случаях в доме ничем не нарушалась глубокая тишина; домашние ходили на цыпочках, говорили между собой шопотом, и только издали бросали они на главу семейства робкие взгляды. Наконец, Николай Антонович, надумавшись досыта и все сообразив и высчитав, откладывал счета в сторону, выпускал бороду из зубов, степенно растягивал ее рукой и, не изменяя серьезного выражения своего лица, призывал к себе главного приказчика своего Кузьму Павловича и, когда этот являлся перед его хозяйственными очами, говорил ему:

— Павлыч! Много, брат, мы с тобой денег по пустякам растравили: то дележи, то погоревшим вспомоществования — много денег вышло. Надоть, брат, енту протарь как-нито навестать, а?

— Что же-с, Миколай Антоныч, енту протарь можно навестать-с».

И «протарь» навестывается. Механика тут проста: «...Уменьшить плату за сдельную работу, сбавить цену месячным и годовым рабочим и больше штрафовать их». Вот цена добродетели

фабрикантов. Они могут быть и добрыми, и щедрыми, и прикидываться людьми культуры, но только за счет рабочих.

С каким негодованием обрушивается Рязанцев на эту «добродетель» капиталистов, которая плодит лишь туеядцев, бездельников, няниц, словом — все «отребье общества». «Смотри-ка ты, — говорит Прасковья Матвеевна (повесть «Тихий омут»), — нынче сколько нищих развелось — страсть. Другому бы али другой бы еще работать бы, да работать, а знают, што и без работы могут прокормиться, да еще как прокормиться-то! Каждый день и сыт по горло и пьян до повалки, вот и идут собирать по окошкам, — и бездельничают, и пьянствуют, да уж и воруют кстати. А все богачи виноваты: они их набаловали». Эта губительная благотворительность иногда захлестывает и некоторые семьи рабочих. В повести «Тихий омут» Рязанцев рассказывает о Прокофьиче, его семье, отравленной милостынями.

«Прокофьич прежде был мужик работающий, жил исправно, поведения был хорошего, пока семья его была невелика. Жена его почти каждогодно родила детей. Некоторые из его детей умирали, но со временем немало накопилось их и живых. С увеличением семейства заработка не стало хватать на безбедное прокормление большой семьи, помощи получить было неоткуда, и — в доме поселилась суровая нужда. Чем больше подрастали дети, тем более требовалось на их содержание, тем более нужда возрастала. Жена Прокофья беспрестанно охала да жаловалась на свою горькую долю и не имела времени, по постоянной возне с детьми, принести подспорье хозяйству какой-нибудь работой. Таким образом они колотились год или два, кое-как перенося все горькие лишения. Наконец терпение лопнуло у жены Прокофьича.

Однажды она предложила мужу посылать своих детей-подростков собирать трешники и семишники под окнами богачей. На первый раз Прокофьич крепко выругал свою жену и не поддался ее искушению. То же случилось и во второй раз, и в третий раз. Но жена не отступала от него, беспрестанно докучала ему, говоря слезно: «Вон, ведь, другие не хуже нас, да посылают же ребят-то собирать милостыню и живут без нужды». А нужда их возрастала с каждым днем все больше и больше. Наконец Прокофьич махнул рукой... Трое из его ребятишек пошли собирать под окнами трешники и семишники и куски хлеба, протяжно и заунывно голая обычную фразу: «Милостынку ради Христа!». В этот же день пришел Прокофьич домой с работы подвыпившим.

Нужда в его семействе поуменьшилась: это подстрекнуло итти на легкую добычу и мать Прокофьича и жену его. В пятерых руках дело шло отлично: хлеба покупать уже было не нужно, его с избытком хватало на все семейство и даже оставалось немало на продажу. Завелись и деньжонки в семье. Настал для всех истинный праздник. Между тем Прокофьич с каждым днем все больше и больше втягивался в пьянство. Потом он совершенно бросил работу и сам стал ходить на дележки, где подавали гривенники и двугривенные. К тому же подрастали дети и увеличивалась добыча.

Всякое дело в доме было заброшено: за большой труд стало считаться истопить печь и сварить горшок щей. Зато вино в нем никогда не стало переводиться: и муж и жена стали считать его необходимой приправой своей легкой жизни. Кстати, они завели у себя в доме шинок. Наконец подросла одна из дочерей их — ее продали... Подросла другая — и другую продали. Теперь ждет та же участь еще двух девочек, из которых одиннадцатилетняя через год, много через полтора тоже поступит в продажу... Какая участь ждет двух мальчиков? Пьянство, воровство... известно уж что!

Кажется, очень ясно — отчего погибло это семейство: от беспотковой милостыни и от общего невнимания к истинным нуждам. Если бы Прокофьичу было оказано во-время разумное пособие, то не погибли бы ни он, ни его семейство».

В другом месте повести о другой подобной же семье Рязанцев говорит: «В этой избе копошится та самая гнилая жизнь, которая служит резким укором бестолковой общественной благотворительности, безрассудной частной милостыни и достаточным примером совершенного невнимания общества к своим собственным язвам».

**

Разбрасывая деньги нищим, фабриканты совершенно были не склонны оказывать истинную и необходимую помощь рабочим своих фабрик, тем самым рабочим, которые создавали им колоссальные богатства, потому что капиталистам «недосуг было заниматься никакими глубокими чувствами, не приносящими пользы их карману и чести их имени». Как бы ни была остра и чрезвычайна нужда трудового человека, хозяин все равно не окажет ему помощи, не проникнется к нему состраданием. «Низашто не помогут, — говорит Прасковья Ивановна, — хошь умирай ты... Говорят, ведь ты не нищий, сам добудешь себе кусок хлеба. Они разве смотрят, что у рабочего человека семья велика, што не под силу ему справиться с ней, што хворость его взяла аль несчастье какое посетило... они этого не понимают и не обращают на это даже никакого внимания. Другой раз и за своими-то трудовыми деньгами ходишь-ходишь — насилу получишь, — то не время, то недосуг, даже горе возьмет». А Прыщов, в образе которого много биографических черт самого Рязанцева, говорит об этом еще определеннее: «Они как привыкли делать: покачнулся человек — норовят уронить его, а упал — уж вовсе втопчут в грязь».

В этом отношении очень интересен рассказ Гаврилы из повести «Тихий омут». «Я вот, братцы, вам про сея скажу, — продолжал шустрый рабочий. — Я работаю у дяди Платона с хвостиком двадцать годков—и-да! Мальчишкой пошел к нему работать-то. Н-ну, хорошо. Ладно. Живу у ёво столько времени, а вот ни макового зернушка от ёво сее помочи никакой не видал! Ужели я в евти годы так ничего и не выслужил? А? Кабы я дурной был человек, вить он не стал бы держать меня столь времени — правда? Ладно. Погодь, што я скажу. А коли я не пустяшник какой, стало, што-нито да выслужил? Ничего не видел я от ево добра сее. А кажинный божий день страх сколько нищих он обделит по семишнику,

по гривне, а в праздники и того больше. Вот нынче, чай, страсть што он деньжищев разбросал! А все даром вить деньги-то бросает, кабаки награждает... А положи-ка он мне в прибавку к заработку по копейке в день: в году триста шестьдесят пять дней, служил я у ёво двадцать лет, — смекни-ка ты, маха вить денег-то выдет!.. А я просил у ёво не ахти сколько. Мне всего-то навсе нужно было каких-нито целковых двадцать. Вишь ты, братцы, какое дело-то вышло! В ту пору домишко мой стал больно плошать, надоть было ёво поправить, а то совсем развалится, а денег сколотить никак не мог... ребятишки были мал-мала меньше. Ладно. Хорошо. Думали-думали мы с женой да так и удумали итти к хозяину, попросить, мол, у ево целковых десятков, да за конторой зажитых у меня было семь рублей серебром, ну, мол, и хватит, как-нито справим избенку-то. Покули я сбирался — все робость брала, — а тут, нагрех, корова и пади, мы с женой так руки и опустили!.. Да, братцы, нелегко в ту пору было! Што делать? Как быть? Опять думали-думали мы с женой, да опять то же и удумали, што надоть, мол, итти к хозяину. Была ни была — пошел я. Прихожу в контору, встал у двери, жду, коли он выйдет, а у самого сердце так и щемит! Больше часу стоял я. Выходит. Я, ни словечка не промолвив, да ему прямо и бух в ноги. «Што ты валяешься, дурак? — закричал он. — Встань». Ваше степенство, — промолвил я, не приподнимаясь с колен, — Платон Миколаич! Будьте милостивы, как бог, так и вы, помогите, коровка, мол, пала у меня, пришел помочи просить у вашего степенства, купить надоть, ребятишек с голоду поморишь, не откажите, помилосердствуйте, в счет заработка денег пожалуйста. А он мне и говорит с усмешкой: «У тея, говорит, там ошо жона падет, ты то же, говорит, придешь ко мне-ка просить, штоб я тее, говорит, и жону-то купил?» — Да и спрошал меня: «А много ли, говорит, тее-ка денеі-то надоть?» Я ему и говорю: двадцать целковых, мол, ваше степенство. «На корову-то двадцать целковых?» — крикнул. Избенка, говорю, ваше степенство, плоха стала, надоть поправить, ребятишек зимой поморозишь, не даром, мол, прошу — под заработок, я двадцать годков с лишком, мол, у вашего степенства работаю, ни в каких, мол, шалостях замечен не был, как вашему степенству самим известно, и прикащики то же, мол, заверят. Говорю я евдак, а сам все кланяюсь ему в ноги, а сам все кланяюсь. Нельзя, братцы, одна надежа, сами знаете... Ну, ладно, хорошо. Кланяюсь я... што-то, мол, будет? А он опять и говорит мне-ка: «У тея портки, говорит, будут плохи, так ты, говорит, и портки-то заставишь меня тее покупать?» Да как зыкнет на меня, словно зверь какой лютый: «Вон, скотина!» Я было опять в ноги ёму, помилосердствуйте, мол, ваше степенство, — нет, куда!.. Закричал, затопал. «С места, говорит, сгону! И другим, говорит, закажу, штоб не брали тея, мошенника, плута, вора!..» Лаялся, лаялся, хуже всякой злощей собаки облаял... Я и не помню, как выбрался из конторы.

Помог Гавриле в этом несчастьи сосед, Кузьма Трифонич, то же рабочий фабрики, причем помог «без всякой заруки, аль заклада,

аль роста». Мы сказали уже, что Рязанцев изображает рабочих не только сочувственно, но даже любовно, восхищаясь их трудовым героизмом. Особенно интересна фигура Семена Кочнева, резчика. Это — человек, который всю свою жизнь провел в изнурительном труде, пытаясь вырваться из тяжелой нужды. «Все больше и больше старается Семен: днем работает на фабрике, придет домой вечером, перехватит черного хлебца с серыми пустыми щами и садится за верстак и работает до глубокой ночи, пока неодолимая дремота не сомкнет ему глаза. Только что соснул маленько — свисток: вскочил, умылся, помолился немного на закоптелый образок, схватил краюшку хлеба на завтрак и опять побежал на фабрику. Иногда в часы ночной работы заплачет сынишка: Семен тихо подойдет к зыбке, даст соску или сосок, привяжет себе на ногу веревку — и качает и работает! «Пускай спит себе жена. — думает он. — Я все равно не сплю же — покачаю». «Крепкая была натура у Семена: много силы душевной и телесной заключала она в себе, но туго сложившаяся жизнь и чрезмерный труд надломили эту двойную силу». Рассказ о жизни резчика писатель заканчивает следующими словами: «Вечная память тебе, честная душа: сам ты был трудовым человеком и подготовил обществу тоже трудового человека в своем сыне...». И — «прямая, торная и открытая дорога жизни лежала перед Петром Семенычем; он уже твердой стопой стоял на ней; ему только следовало неуклонно идти по этой дороге, опираясь на надежную опору — труд».

Жену Петра Семеновича Кочнева писатель рисует совершенно в некрасовских тонах. «Паша — чистая русская, крепкая натура, переносливая во всех невзгодах, твердая в своем собственном горе и чуткая к чужой беде, спокойная в счастье и нужде, верная в любви, неумная в работе, не поддается любому мужчине: носит — и пашет или верхом боронит, мучается — и жнет и тут же на полосе родит, а через три-четыре дня едет в лес за дровами или везет на базар жито, одна ворочаясь с пятипудовыми мешками. Натура — трудом, нуждой вспоенная, вскормленная и ими закаленная; но только натура суеверная, боящаяся людского глаза и людского оговора».



Писатели-народники изображали фабричных рабочих предвзято, сознательно подчеркивая в них отрицательные стороны, порожденные развивающимся капитализмом, а часто и приписывая рабочим те пороки, которых они не имели. Это делалось ими для того, чтобы представить крестьянскую общину «земным раем», чтобы оправдать свои идиллические взгляды на деревню. Но Рязанцев далек был от этих убеждений, потому что сама жизнь, сама действительность подсказывали ему совершенно обратное тому, что исповедовали писатели-народники. Василий Алексеевич трезво глядел на окружающее, он «взял на себя труд говорить откровенно о всех многообразных явлениях общественной жизни».

Он сам был по своему происхождению крестьянином, сам жил в общине. Но писатель видел, как эта община разваливается под

ударами развивающегося капитализма, как вчерашние крестьяне с. Иванова все больше теряли связь с землей, становясь пролетариями. И если Семен Кочнев, резчик, еще приобретает «земельку», то эта земля уже не является ни для него самого, ни для его сына Петра, работающего на фабрике печатником, источником существования. Скорее всего «земелька» служила некоторой данью многовековой традиции. И — только. Основным и единственным источником существования была для подавляющего большинства ивановцев уже в то время работа на фабриках.

Отвернуться от происходящего процесса пролетаризации вчерашних крестьян Рязанцев не мог, как объективный бытописатель. И хотя он видел, что некоторые фабричные ведут беспорядочную жизнь, он не старался преувеличивать это, подобно писателям-народникам, не старался упрекать рабочих тем, что они пьют вино, скандалят по улицам. Он понимал, что не сами рабочие виноваты в этом. И в повести «Тихий омут» он дает отповедь тем писателям, которые, вместо борьбы с пороками в рабочем классе, пренебрежительно и слепо отворачивались от него, отказываясь даже вообще признавать рабочих как самостоятельный класс.

Вот с какой убежденностью говорит об этом Рязанцев в повести «Тихий омут»:

«Иные люди видят у забора свалившегося мужичка: «пьяница», — вертится у них на уме, и смотрят они на бедняка с презрением и отвращением: грубо ошибаются и жестоко оскорбляют достоинство человека в своей собственной личности подобные люди. Этот мужичок работал целую неделю до крайнего изнурения, вставая чем свет, ложился поздно, ел грубую, мало питательную пищу, пил одну воду — изнурился, отошал. Пришел праздник, встретился он с кумом или сватом, или с своим товарищем на базаре, слово за слово — потолковали, пошли в кабак — выпили: изнурительный труд, скудная пища, недостаточный сон и нечастое употребление вина обманули молодца, и — повалился мужичок с трех-четырёх стаканов. Всякий это видит, — вот и пьяница он! А вот купец: так и прыщёт от него здоровьем; если к его лицу приложить фосфорную спичку, — она вспыхнет. Он выпил втрое более мужичка, да ему это за привычку, ему это нипочем, потому что он приел множество всякой всячины: идет — только отдувается; или уж хмель сильно одолел, — для него экипаж готов. Он не прослышет пьяницей, а между тем пьёт каждодневно — и выпивает в одну неделю более, чем рабочий человек выпьёт в течение трех месяцев. Несмотря на это, вся слава горького пьяницы падает на последнего.

В отношении рабочего класса бессмысленна избитая фраза Нестора, часто появляющаяся у нас в печати: «веселие Руси есть питеи». Это господа, смотрящие на Русь в подозрительные трубки из кабинетных окошек столиц и иногда выезжающие поражаться по ней от геморроя, пишут такую бестолковщину о родной земле. Простой русский человек действительно пьёт, но не так пьёт, чтобы мог получить за это пальму первенства против прочих сословий. Вся беда его в том, что он пьёт редко, да метко, то есть до пова-

ду: вот каждый и указывает на него пальцем. Но ни условия быта, ни денежная достаточность, ни излишки времени и ни даже самый характер не допускают его пить постоянно и много. Если и встречаются личности, крепко пристрастившиеся к вину (да и в каком сословии они не встречаются?), втянувшиеся в пьянство, — это уж отребье общества, люди пропащие. По ним нельзя судить о целом обществе. Наконец, если для простого русского человека и немислимы без вина ни годовые праздники, ни свадьбы и прочие подобные случаи, вместе с могойчиками и литками, то это вовсе не исключительная его черта... Насчет этого можно бы многое кое-что сказать, опираясь на самые голые факты, но здесь не место распространяться об этом.

Пусть, как умеют, как знают, веселятся в праздники рабочие люди: прочие слои общества, лучше обеспеченные в жизненных средствах и тяготеющие своим довольством на бедном классе трудовых людей, оставляют последним весьма мало шансов для безукоризненных увеселений, присваивая себе преимущество на более приличные и утонченные удовольствия. Пусть веселятся рабочие люди: в каком бы виде ни проявился их разгул, порицать их за это несправедливо, жестоко до бесчеловечия. Они пользуются тем, что им досталось на долю по жребию жизни. Немного развлечений предоставлено им для выбора: их развлечения — чарка водки, громко раскатистая песня, игра на гармонике или на балалайке, безыскусственная пляска, кулачный бой, орлянка и три листика. Желать, чтобы они не пользовались и этими развлечениями — желать их совершенного отупения. У них без того жизнь идет — нынче, как вчера, завтра, как нынче. В будни они связаны трудом и заботами, терпят лишения. Ужели и в праздники не отдохнуть им и не потешиться? Пусть, как умеют, как знают, веселятся рабочие люди: если некоторые из них и слишком увлекаются доступными развлечениями, в особенности чарочками, то шестидневный тяжелый труд вполне искупает их увлечения. Рабочему человеку простительно заглушать праздничным разгулом ропот своей будничной, скудной жизни. Нараспашку, безбоязненно, среди улицы и среди народа, не укрываясь ни от божьего света, ни от людского взора, потешаются рабочие люди, потому что они потешаются на свою собственную кровную трудовую копейку.

Только одно нищество — это грязное отребье общества, это ясное доказательство плохой организации его, это очевидное свидетельство безрассудной общественной благотворительности, — укрывается с своим развратом в темных углах».

Как видим, это прямо противоположно мировоззрению писателей-народников, для которых фабричные рабочие не самостоятельный, наиболее прогрессивный и передовой класс, а всего лишь «разновидность крестьянства». Для Рязанцева понятие рабочего класса довольно определено, и он прямо говорит о рабочих «как людях фабричных, промышленных, особенных привычек и нрава». Совершенно убедительно показывая, как народившийся капитализм душит, мнет и высасывает из рабочих все лучшие силы, все зло-

ровье, ничего не давая взамен этого, Рязанцев бросает ядовитый упрек: «Склад нашего общества уж такой, что каждое общественное полезное учреждение имеет только начало доброе, а результат со временем выходит плохой, потому что заботятся только о внешности, что может в глаза броситься, чем можно похвалиться, а главное-то — сущность-то дела; внутреннее-то содержание, достижение-то настоящей цели — остаются без внимания». И несколько ниже автор говорит о фабрикантах, построивших убогую больницу, что этим «они только достигли своей эгоистической цели — получили... славу».



Не следует забывать, что все творчество Рязанцева относится к первой половине шестидесятых годов. Поэтому мы не можем найти в его рассказах и повестях сцен организованного протеста рабочих против фабрикантов. Но глухой внутренний протест, в частности в повести «Тихий омут», имеется. И как бы оговаривая это, Рязанцев в упомянутой повести говорит:

«В настоящее время, при не вполне сформировавшемся общественном складе, труд получает вознаграждение от капитала как милостыню, раблепствует перед капиталом. Поэтому представители труда покорно преклоняют выи пред представителями капитала и несут на своих плечах всю тяжесть кабального ига, почти безусловной зависимости, добывая потом и мозолями роскошное благосостояние последним, а сами только пользуются крупницами, милостиво выбрасываемыми им излишеством. Представители труда могут просительно предлагать условия; представители же капитала решительно определяют их. Через это первые нравственно и материально унижены пред последними до невозможности сравнения. Покуда еще такова наша общественная промышленная жизнь, таковы ее условия!»

Разумеется, в творчестве Рязанцева имеются наивности, обусловленные временем. Ему, например, кажется, что трудовой человек и в условиях самодержавно-капиталистического строя может устроить себе разумную и обеспеченную жизнь, только надо для этого выбрать с детства ремесло, много и усердно работать, не иметь излишеств, приучить себя к скромным потребностям и «думать о труде, как единственном средстве своего достаточного или скудного пропитания, то есть: как поработается, так и проживется». О сапожнике Прыщове, разорившемся торговце, автор прямо так и говорит: «Если бы не было у него столь большого семейства, если бы он сам и жена его были с малолетства приучены к скудной, суровой жизни, может быть он и поправился бы, сколотил бы деньжонки». Рязанцев фаталистически относился к судьбе людей. Об упомянутом Прыщове автор говорит: «Родился он торговым человеком — и будь торговым, и не за свое дело нечего и приниматься — проку не будет!» Раз выбрав с детства себе профессию, человек неизменно должен держаться за нее, как за источник существования.

Конечно, это представление было обусловлено тем, что капитализм только развивался, растущая промышленность поглощала свободные руки, и тогда еще около ворот фабрик не толпились в изобилии безработные люди, как это будет несколько позже. Но уже и тогда Рязанцев хорошо понимал, что «притеснениями, неправдой да плутнями — ведь богатство-то и наслаждаются люди». И Гаврила, обиженный хозяином в лучших своих чувствах, говорит по адресу фабриканта: «Он (рабочий) тее капитал наслаждает, а без ёво што ты один-то поделаешь? Пропал!» И под ударами этой суровой действительности рушится наивное представление писателя о возможности рабочих жить при самодержавно-капиталистическом строе довольно культурно, сносно, безбедно. Идеалом Рязанцева является изображенная им жизнь Петра Кочнева — честного, грамотного рабочего. Изобразив жизнь Кочневых, автор говорит: «Так уютно и отраднo в этом домике трудового человека, что невольно думается: как легко можно жить на свете!»

Но в этих словах чувствуется горечь, ибо такая жизнь для трудового человека в тех условиях была невозможной. И, как писатель очень правдивый, Рязанцев сам же вынужден признаться в обманчивости своих представлений. «Всегда светло и отраднo было бы в этом уютном уголке честного трудового человека (т. е. в доме Кочнева), если бы за стенами его не существовали — иные люди, иная жизнь». Вот в чем дело! За стенами дома Кочнева течет иная жизнь — тяжелая, капиталистическая. Она врывается в «уютные уголки» и разрушает их.

Но эта наивность писателя искупается его правдивым и любовным изображением рабочих, людей труда. Какой правдой и гуманностью веет от этих слов Рязанцева: «Какое бы маленькое, но честное дело ни делал человек — он не бесполезен, не лишний, — общество не имеет права исключать его из своей среды, он так же заслуживает полного уважения, как и тот, который мог бы ворочать архимедовым рычагом. Напротив, тунеядство и бездельничество, как язвы общественной жизни, хотя и растравленные самим же обществом, достойны полного презрения и горячего преследования».

Смятый условиями окружающей действительности, Рязанцев умер слишком рано, не успев осуществить всех своих замыслов. Но, к сожалению, и то, что сделано им, не может быть восстановлено и найдено полностью. Литературный архив никому неизвестного писателя потерян и, видимо, не будет разыскан, в частности его повесть «Борьба». И все же, то, что осталось от Рязанцева, представляет несомненный интерес как произведения одного из первых бытописателей Иванова.

В. А. РЯЗАНЦЕВ

ГОРЕ ОТ КНИЖНОГО УЧЕНИЯ

(Из рассказа моего знакомого)

Ученье горько, а плоды его сладки
(Из прописи)

На улице снег да ветер — холодно, а я сел себе у галанки да закурил трубку и задумал думушку заветную — тепло мне, очень тепло. Сел да и сижу, знать, этак с полчаса — надоело, скучно. Возьму книгу — не читается, примусь писать — не пишется, пошел бы куда — одеться лень, жаль расстаться с спокойным халатом. Такая одурь накинута на меня, что, кажется, от роду не бывало.

Но вот слышу — кто-то затопал в сенях, скидаются калоши: «Кто бы это?» — думаю я. Отворяется дверь — и тут уже я мог вполне удовлетворительно ответить себе на свой вопрос, что это является ко мне разделить со мной час-другой праздного времени Иван Иванович Тепохин, молодой человек, недавний мой знакомый. Я искренне обрадовался гостю.

Через две-три минуты у нас завязалась беседа, сначала, разумеется, пустая, бездельная — о том, о сем, о пятом, о десятом, а потом разговор исподволь перешел, говоря избитой фразой, и на предметы, вызывающие на размышление. Толковали мы о неоспоримой пользе научных познаний, как в частности, так и вообще для рода человеческого.

Но вдруг Иван Иванович прервал наш углубившийся в самую непроходимую глушь разговор о пользе научных познаний довольно оригинальным отрицанием:

— Науки юношей питают, а взрослым очень-очень часто куска насущного хлеба не дают, — сказал он с грустной усмешкой.

Я вопросительно посмотрел на него.

— Да, сударь ты мой, — продолжал он, — все хорошо на своем месте. Полезно быть ученым, да еще пока не в каждой общественной среде. Вот хотя бы, например, в той среде, в которой я нахожусь, нельзя принести никакой пользы ни себе, ни другим своими научными познаниями, а, напротив, только наживешь себе заклятых врагов. Осмотритесь-ка около себя, что вас окружает? Чорт знает,

что такое, — одного шага ступить нельзя без отвращения, — везде дрянь и мерзость. Сумбур какой-то делается в голове, если станешь попристальнее размышлять о нашей общественной жизни и, поразмыслив, непременно придешь к следующему заключению: вот оно родимое-то широкое раздолье со всеми своими дикими порослями!.. В самом деле, наша общественная жизнь — непроходимая глушь, где только и ширятся пни да коряги, между которыми могут прозябать лишь мелкие поползушки-растения, а чему-нибудь благотворно-развитому нет тут места — дичь заглушит...

Взгляните на наших чреватых телом и всеми отрицательными достоинствами богачей, на их всесовершеннейших подурых-сожительниц, на их полуграмотных кутил-сынков и, наконец, на их не-тронь-меня дочек: какое безобразное скопище нравственного уродства! И все это беспощадно тяготеет своими материальными преимуществами над нами, бедняками, и с высоты своего ничтожества смотрит на нас гордо, презрительно и безучастно до бесчеловечия. В особенности же если кто-нибудь из нас, бедняков, вздумает хотя мало-мальски научно образовать себя и сделаться человечнее, а стало быть, отрешиться от окружающего его уродства, — горе ему: не только никто из этих представительных уродов не захочет иметь с ним никакого дела, а даже каждый из них отвернется от него с грубым пренебрежением и при случае постарается наделать ему всевозможных пакостей.

В подтверждение моих слов я расскажу вам кое-что из моих грустных хождений к здешним дикообразам для приискания себе должности прикащика или конторщика на их фабриках. Прежде других я отправился к известному нашему меценату и дилетанту по всем отраслям человеческого развития, блюстителю общественного благосостояния и проч. и проч., к Якову Помпеичу Крелину. Со страхом и трепетом шел я предложить свои услуги этой привилегированной личности. В дом к нему итти с подобным предложением считается величайшею дерзостью и потому нужно прибегнуть к его милосердию, когда он бывает на фабрике.

Я так и распорядился. Прихожу на фабрику, спрашиваю караульного: где хозяин? Он отвечал, что его степенство там где-нибудь внутри фабрики. Робкой поступью, с замирающим сердцем отправился я дальше. Пройдя немного вдоль фабричного двора, я встретился с главным прикащиком Крелина, вежливо раскланялся с ним и попросил его сказать мне, где я могу удобнее видеть хозяина? Прикащик посоветовал мне дожидаться его степенства у конторы, а внутрь фабрики не ходить, потому, дескать, что хозяин этого терпеть не может. Выслушав с признательностью такой благой совет, я отправился вспять, то есть к конторе, находящейся при самом въезде или входе на фабрику и незамеченной пред этим мною.

Подойдя к конторе, я встал на часы в буквальном смысле этого слова, потому что мне пришлось не один час стоять до прихода моего предполагаемого благодетеля, у которого я надеялся честным трудом зарабатывать себе дневное пропитание. Время было очень холодное, ветер так и пронизывал всего меня до костей, так что

ломота в них сделалась, — невтерпеж уж мне становилось; подумывал было сходить погреться в караулке, да боялся прозевать чаемое солнышко моей будущей жизни, и остался коченеть от холода на открытом воздухе. В контору же войти я никак не решался: прикащик мне сказал, чтобы я дожидался у конторы, стало быть хозяин тоже не любит, если посторонние ходят в его контору.

Между тем мимо меня беспрестанно сновали из конторы и в контору фабричные прикащики и рабочие, бросая на мою съежившуюся, прозябшую фигуру любопытные взгляды. Каждый из этих взглядов пробирал меня хуже холода: что, дескать, голубчик, стоишь да мерзнешь — видно, места пришел просить? Ничего: постой вот тут на морозе-то, позябни хорошенько, а место-то получить еще как придется! — и подобная гиль лезла мне в голову и нестерпимой тоской сжимала мое сердце, так что несколько раз я готов был от всего отказаться, за чем пришел, чего ждал и чего желал выпросить и выклянчить; готов был бежать нивесть куда, только бы подальше от людей и, если бы было можно, даже подальше от самого себя...

Вообще все хорошие и худые ожидания тревожны, а большая часть из них неприятна, но ожидание ответа на просьбу о должности, как о насущном куске хлеба, самое мучительное из всех ожиданий, потому что с ним соединена неизвестность о необходимых средствах жизни. По-моему, самое худшее окончательно-определенное ожидание, даже ожидание смерти, гораздо сноснее ожидания загадочного. Притом же, какая низкая робость гнездится в душе человека, ожидающего поступить из-за насущного куска хлеба в полную, почти буквально рабскую зависимость какой-нибудь привилегированной личности, то-есть сильной своим материальным преимуществом пред ним и, следовательно, имеющей возможность дать ему необходимые средства к его существованию.

Как бы ни дорожил своим человеческим достоинством человек, но если будет поставлен силою внешних обстоятельств жизни в подобную зависимость, то непременно сподличает... Он признает крайне необходимым постараться понравиться тому, в ком ищет обеспечения своей жизни, угодить ему своим глубочайшим почтением к его особе, своими скромными и льстивыми речами пред ним и вообще всей своей сократившейся до ничтожества фигурой. Все это я испытал сам на себе.

Каждый раз, когда я ни отправлялся для приискания себе должности к кому-нибудь из сильных мира сего, поильцев и кормильцев людей трудовых, всегда приготавливался к предстоящему свиданию с моим предполагаемым будущим патроном: придумывал — как бы заискать в нем доброе расположение к себе, как бы помирнее настроить свою физику, попочтительнее поклониться, не сказать лишнего слова, не улыбнуться, не кашлянуть, не чихнуть, не поперхнуться, не отставить ногу, а с руками моими я уж никак не мог и придумать что делать: повесить ли их, как расшибленные параличом, по бокам, или ухватиться обеими ими за козырек фуражки, и, держа ее пред своим чревом, как на самом удобном и благовидном

месте, иметь уважительный предлог к настоящему их употреблению; засунуть же руку за борт сюртука или в карман — пуще всего я боялся: сразу, мол, срежешься!

Но вся эта подготовка совершенно исчезала из моей головы, когда я предстал пред лицо своего воображаемого будущего хозяина, и, вместо того, мною овладевало невольное смущение, и неизъяснимое тоскливое замирание сжимало мое сердце. Поэтому я являлся перед моим чаемым кормильцем не таким, каким желал, а в обыкновенном своем виде и, вдобавок, чтобы скрыть свое расстройство, еще с большей свободой в словах и поступках. Впрочем, мое обращение с этими благодетелями никогда не выходило из границ почтительной вежливости, но все-таки оно не имело даже и тени унижительного искательства и подлого раболепства, а потому, должно полагать, и портило все дело...

— Не наскучил ли я вам моими психологическими выводами? — прервав рассказ, спросил меня Иван Иванович.

— Нисколько, — отвечал я.

Он продолжал.

— Точно так же я старательно подготавливался, несмотря на знобивший меня холод и на томительно-грустное беспокойство, и к встрече с Крелиным: придумывал — какую принять на себя личину и какими словами предложить ему свои услуги. Хотя я очень серьезно был занят этим делом, однако, все-таки, долго тянулось для меня время ожидания. Наконец, вдали обширного фабричного двора между каменными двухэтажными корпусами, показался и его степенство Яков Помпеич Крелин, медленно шествующий в мою сторону во всеоружии своего хозяйского достоинства. Его окружало несколько человек прикащиков.

Главный прикащик шел с ним почти рядом, только на полшага поотставая ради субординации. Прочие же прикащики пресмыкались сзади хозяина и, казалось, с собачьим чутьем обнюхивали — чем можно угодить ему и в каком он расположении духа; если же к кому-нибудь из них он обращался, повидимому, с вопросом, то тот забегал сбоку, снимал картуз, наклонял и вытягивал вперед голову, заглядывал ему в лицо и изгибался и юлил мелким бесом. Шагах в десяти от хозяина и его свиты шло человек шесть или семь фабричных без шапок. Когда хозяин, приостановясь, обращался к фабричным, то эти приближались к нему, становились на колени, кланялись ему в ноги и, казалось, о чем-то убедительно его просили. Он же, неистово размахивая руками, топал ногой и, должно думать, беспощадно ругался, потому что и до меня доносились некоторые крепкие слова, произносимые им, видно, в порыве самого сильного негодования крикливым голосом. Все это не предвещало мне добра. Однако в то время я не обратил на это никакого внимания, потому что был чрезвычайно заинтересован предстоявшей предо мной живой картиной.

Покончив гневно-комическую сцену с фабричными, хозяин продолжал шествие к конторе. Это обстоятельство вывело меня из наблюдательного созерцания и заставило обратиться к своему соб-

ственному незавидному положению. Лишь только я почувствовал приближающийся кризис последнего, вся моя подготовка к свиданию с Крелиным исчезла мгновенно. Когда же он стал подходить ко мне, у меня в глазах словно туман какой встал, мысли спутались, и я почти бессознательно ступил несколько шагов к нему навстречу и поклонился... Вслед затем в ушах моих резко прозвучали два вопроса: — Кто ты? Что тебе надо?

Мне стало нетерпимо досадно... На первый вопрос я ответил вполне удовлетворительно, но сухо и почти гордо. На второй же — кое-как принудил себя сказать несколько пошло-льстивых слов, что, дескать, за большое счастье почту для себя служить в должности прикащика или конторщика на фабрике столь знаменитого, всеми уважаемого, великодушного и образованного хозяина, каков есть Яков Помпеич Крелин. Но в этих словах моих мне самому ясно слышалось больше насмешки, чем лесть, однако я закончил их довольно низким поклоном.

За всю мою вынужденную крайностью пошлость достославный хозяин велел мне понаведаться к нему через неделю, — и потом, взглянув на меня с насмешливой улыбкой, он ушел в контору. Улыбку эту, без сомнения, вызвало мое жалкое тогдашнее положение: я дрожал от холода, как в сильном лихорадочном припадке, так что зуб на зуб не мог попасть, а к тому же, я думаю, очень странный также имела вид и моя неестественно сократившаяся фигура. Мне сделалось отвратительно гадко, так что я почти опрометью, не помня себя, выбежал с фабричного двора...

Когда я очутился на воле, за фабричными воротами, мне сделалось так легко, я почувствовал такую отраду, словно освободился из-под ига тяжелого рабства, словно вырвался на свет божий и на чистый воздух из каких-то душных потемок. Я не мог досыта надышаться этим воздухом, не мог вдоволь насмотреться на окружающие меня предметы. Все казалось мне таким светлым, таким приятным, будто новым... Позади меня не было самодура-хозяина с тяжелым ярмом, впереди — не торчала постоянно пред моими глазами неизбежная нужда. Я жил одними настоящими минутами совершенной свободы, ребяческого счастья и теплой любви ко всему, без зависимости нравственной и материальной, без воспоминаний о прошедшем, без надежд и желаний в будущем. У меня было только одно желание: мне хотелось горячо обнять весь мир...

Точно такое же неизъяснимо-радостное ощущение я испытывал в моем детстве, когда учился книжной премудрости вдалеке от моих родных, почему и видался с ними только раза три в год — в продолжительные отпуска на большие праздники и вакационное время, и когда меня отпускали для свидания с ними и, следовательно, когда я освобождался от придирчиво-строгого надзора моих наставников. Действительно, и тогда для меня было слишком приятно освобождение от посторонней зависимости.

Теперь же, сознавая себя еще неподчиненным грубому произволу какого-нибудь богача-самодура, платящего за честный труд

только с таким бесчеловечным условием, когда производитель труда будет рабски подчинен ему и морально и физически, а с жадностью наслаждался своей свободой, своей еще незакабаленной самостоятельностью.

Но это было непродолжительно. Назойливая действительность вскоре заставила меня опомниться от минутного отрадного забвения и подумать о настоящем положении своих существенных дел. Пока ни хорошего, ни дурного в них не виделось. Крелин хотя и обещался положительно дать мне должность, но и не отказал мне в этом, стало быть, из этого нельзя было ничего заключить определенного. Но явилась на помощь надежда и пошла расписывать радужными красками темное, загадочное будущее.

Впрочем, для меня не было ничего особенно радостного — поступлю ли я в должность к Крелину или нет. В первом случае мне предстояло испытать жестокую нравственную пытку от унижений, каким я непременно должен был подвергнуться со стороны хозяина, и грубо насмешливое недоброжелательство со стороны прикащиков, с которыми я никак не мог бы сойтись ни понятиями, ни образом жизни. Во втором — передо мною неотстранимо вставала суровая нужда. Одно другого стоит!

Но все-таки я желал лучше поступить в должность и терпеть от этого всевозможные неприятности, чем впасть в крайнюю нужду и заставить переносить ее моих семейных, которые только от одного меня и могли ожидать обеспечения своего существования. Это меня ободряло и утешало. Порадую, мол, хотя их, сердечных, что Крелин, дескать, видно, намерен дать мне место, потому что чрез неделю велел опять побывать к нему: уж если бы ненужен я был ему, так он отказал бы сразу. Пусть их хотя надеждою потешатся. Прошла неделя. Я отправился к его степенству Якову Помпичу, надеясь получить от него решительный ответ на мою просьбу. Опять то же стояние на часах на открытом воздухе, опять то же тревожное ожидание, опять те же нахально-любопытные на меня взгляды и опять те же гневно-комические сцены у хозяина с фабричными пришлось мне испытать и видеть. В награду за это я получил от достоправного хозяина побывать к нему за решительным ответом еще через неделю.

Таким образом с лишком два месяца я бил униженно челою его степенству и, наконец, что же? В одно прекрасное утро он с обидным пренебрежением объявляет мне, что в настоящее время нет у него подходящей для меня должности. Я так был озадачен этим, что не нашелся ничего сказать ему и только выпучил на него глаза с бестолковым изумлением.

— Нет у меня для тебя должности, — повторил он громче прежнего, словно я не слышал первого его отказа, и ушел от меня.

Я, как шальной, постоял еще несколько минут на том же месте и потом, повеся голову, с тяжелой тоской тихо побрел к себе домой. Да и торопиться мне было некуда. Дома ожидали меня тоже нерадостные сцены: горькое сетование и скорбный плач семейных.

Действительно, когда я пришел домой и объявил им о своей неудаче, старуха-мать ударилась в неутешные слезы и отчаянно заголосила причитаниями о своей несчастной доле, о своем горьком житье-бытье. Это было только вступление начинавшейся драмы. Потом она с каждым днем с неумолимо-жестоким постепенностью развивалась все злее и злее и, наконец, обратилась хотя в ничтожно-мелочную, бесстрастную, почти безмольную, но постоянную, нестерпимо-мучительную борьбу. Домашняя наша жизнь сделалась хуже ада. Неумолкаемые сетования семейных на свою горькую участь, их беспричинная злоба на всё и на всех, их отрывчатые, глухие речи, угрюмые вздохи — все это жестоко терзало меня и вооружало на борьбу без борьбы. Мне решительно нельзя было ничем заняться — ни почитать книг, ни пописать, ни сходить к кому-нибудь из знакомых, чтобы я не слышал от них едкой укоризны и горького упрека.

— Чем пустяками-то заниматься, лучше бы место-то нашел себе поскорей! — беспрестанно грызли они меня. — А то вот оттого себе и места-то не найдешь, что всяким вздором набил себе голову! — и так каждый день...

Иван Иваныч грустно задумался.

— Узнали ли вы причину — почему Крелин не дал вам места? — спросил я его.

— Да, впоследствии я узнал странно-нелепую причину его отказа. Видите ли в чем дело: Крелин, несмотря на то, что в простонародьи его величают попросту Яшей-дурачком, слывет в здешнем буржуазно-аристократическом кругу человеком передовым, отлично образованным и чуть ли не гениальным, — вот ему и не хочется, чтобы кто-нибудь затмил его популярность, он и старается преследовать и давить каждого, кто имеет хотя малую склонность к научному образованию. Кроме азбуки, псалтыри, часовника и четырех арифметических правил, он считает великим преступлением для человека бедного дальнейшее образование. Передам вам его собственные слова относительно меня, сообщенные мне верным человеком.

— Я дал бы ему место, — говорил Крелин в своей конторе и в кругу своих прикащиков, — да он, как я достоверно узнал, слишком много думает о себе: вбил себе в голову глупую идею сделаться человеком образованным, развитым, — разве это можно в его низком общественном положении и с его нищенскими материальными средствами? Это свойственно только нам, людям высоко поставленным в обществе и с большими денежными средствами. А то эти голыши-выскочки туда же лезут в гору и после станут задирать нос перед заслуженными и почтенными людьми да, пожалуй, еще будут и смеяться над нами, как, например, Зарянов и Фенедов. Нет, таких непрошенных и дерзких выскочек надо избегать и даже стараться всячески преграждать им дорогу к дальнейшему их научному развитию как несвойственному их званию и состоянию занятию. По праву образования подобный выскочка как раз и со мной вздумает равняться, а? Червяку, нич-

тожной малявке равняться со мной!!! Нет, пока мы живы и имеем возможность, мы до этого не допустим. Мы будем стараться с корнем вырывать эти злые зелья! Да чтобы я принял подобного выскочку к себе в услужение? Никогда! Никогда!!!

— Вот какую курьезную штуку отмочил почтеннейший Крелин, привилегированный представитель своего общества, честолюбец, увешанный регалиями! И как поразительно ясно он выразил своей дикой речью загрубелый в невежестве склад общественного направления! После этого человек, как человек, а не скот в образе человеческом, и поживи спокойно, безобидно и без нужды в среде таких отпетых олухов и дожидайся от них чего-нибудь доброго! Нет, скорей солнце сдвинется с места и пойдет кружиться кубарем около земли и даже по земле, чем эти кривотолки разубеждаются в своих закоренелых предрассудках и поймут, что не материальное богатство составляет истинное достоинство человека, а его духовное развитие — умственная обработка, чистота нравственная и теплое сочувствие ко всему окружающему.

Гадкую штуку сыграл со мной Крелин, заставив меня даром потерять два месяца времени, но я на него не сержусь за это — чорт с ним! Он зато вдоволь распотешил меня уморительной причиной своего недоброжелательства ко мне. Впрочем и другие не отставали от него...

— Так вы ходили и к другим искать себе должности? — спросил я.

— Как же, обходил почти всех здешних вислоухих... Пожалуй, я расскажу вам еще случая два-три из моих невольных, страдательных сношений с нашими буржуази-аристократами. Слушайте и не скучайте. После неудачи у знаменитого Крелина я смекнул умом-разумом, что без протекции очень трудно добыть себе приличное место. Размышляя, к кому бы прибегнуть для успешного устройства этого дела, я вдруг вспомнил об общем нашем с вами знакомом Филиппе Дидимыче Фенедове. Вот, мол, сей и оный добродетельный муж коротко знаком с меньшим Зудковым, Александром Федотычем; напишу, мол, в Москву к Фенедову цидулку и попрошу его прислать мне рекомендательное письмо к Зудкову насчет моих способностей и нравственности, и чтобы он убедительно попросил письменно последнего дать мне должность. Я так и сделал.

В скором времени Филипп Дидимыч с своей всегдашней предупредительной готовностью прислал мне два письма: одно собственно ко мне, а другое для передачи Зудкову. Немедленно по получении писем я отправился для личной передачи с одним из них, на имя Зудкова, в великолепный по здешней местности дом последнего. Скромной поступью вошел я в переднюю или приемную братьев-миллионеров, этих жалких молодых людей, хотя счастливых баловней фортуны в материальном отношении, зато жестоко обиженных судьбой во всем прочем.

В приемной никого не было. Я стоял более получаса один-одинешенек и с любопытством рассматривал великолепно-безвкусное,

тяжелое, но дорогое украшение этой комнаты последнего разряда. Но вот откуда-то выбежала и куда-то пробежала молоденькая горничная, не обратив на меня никакого внимания, хотя я нарочно громко кашлянул, чтобы дать о себе знать. Потом проплелась, тяжело переваливаясь со стороны на сторону, заплывшая жиром от маковки до пяток и распространявшая около себя не очень-то ароматический запах, похожий на запах протухшей капусты, нянька или экономка. Эта только тупо посмотрела на меня своими отежшими и тусклыми глазами и тоже уползла куда-то.

Так мимо меня беспрестанно шныряла взад и вперед различная домашняя челядь и, не утомившая меня ни единым словом, проваливалась куда-то, словно сквозь землю. Наконец вышла нахально-спесивая личность лакейского происхождения и с дерзким пренебрежением спросила меня:

— Кого нужно?

— Александра Федотыча, — отвечал я скромно.

— Зачем? — и лакей нагло оглядывал меня всего с головы до ног.

— У меня письмо к нему есть.

— От кого?

— От Филиппа Дидимыча, Фенедова из Москвы.

— Хорошо, я передам, — и лакей, став ко мне вполоборота, протянул было руку за получением письма.

— Нет, — сказал я, — мне нужно самому лично передать Александру Федотычу письмо.

Лакей посмотрел на мою скромную личность с таким суровым изумлением, как будто услышал от меня самую непростительную дерзость.

— Ну, так ладно, стой тут и жди, — нагло проговорил он и ушел.

Потом, через несколько минут, он опять возвратился, но ко мне уж больше не обращался. Стало приходиться много различных индивидуумов, питающихся от крупниц, падающих со стола богатого, и почти каждый из них с почтительной дружбой и заискиванием раскланивался с лакеем и пожимал ему руку, любезно приветствуя его каким-нибудь изысканным бок-лю, вроде следующих:

— Как живете-можете — каково кости гложете? Как поживаете — хорошо ли наживаете? Наше вам-с нижайшее с хвостиком, — или: — Наше вам-с сто одно с кисточкой, — и т. п.

Со всеми этими индивидуумами лакей обращался с снисходительным покровительством и каждый из них был немедленно удовлетворен в своем желании. Только я один был лишен лестного лакейского покровительства — по неопытности, что везде должно с заискиванием начинать дела в низшей инстанции, чтобы иметь потом верный успех и в высших. Зато мне и пришлось очень долго дежурить в приемной Зудковых и ждать свидания с Александром Федотычем.

Но всему бывает конец. Пришел этот вожаделенный конец и моему ожиданию. Сверху по лестнице быстро сбежал в приемную

меньшой Зудков. Я пошел к нему навстречу, поклонился довольно низко и подал письмо, которое он взял от меня, не ответив на мой поклон даже кивком головы, и лениво спросил:

— От кого?

Я сказал ему. Зудков, не прочитав письма, хотел положить его в боковой карман своего пальто. Заметив это, я в самых вежливых выражениях попросил счастливого пестунчика фортуны обратить свое снисходительное внимание на это письмо и пожертвовать несколько минут из постоянного досуга на прочтение его, потому что оно касается собственно меня и от него зависит моя участь.

Выслушав мою просьбу, Зудков так же, как пред этим и лакей его, посмотрел на меня с серьезным изумлением, словно я сказал ему неслыханную дерзость. Однако письмо он распечатал и прочел. Когда он читал письмо, на его апатичном и мускулистом лице я решительно ничего не мог заметить, что бы надоумило меня, — какое впечатление произвело оно на него. Прочитав и скомкав письмо в руке, Зудков резко сказал мне:

— У нас для тебя должности нет! — и быстро вышел на крыльцо, сбежал с него, вскочил в коляску и умчался куда-то, вероятно, играть в карты или кутить с подобными же себе счастливыми, явившимися на свет божий в золотой сорочке, а уж никак не за каким-нибудь серьезным делом, потому что оба брата Зудковы совершенно не занимаются коммерцией, предоставляя это своим служащим, а сами только бьют баклуши, ездят за охотой с собаками да убивают вместе с здоровьем и деньгами лишние часы времени с своими любовницами.

Отказом Зудкова, так же как и отказом Крелина, я сильно был озадачен, потому что не мог отгадать причины — почему он не хотел дать мне должности.

«Вот тебе и протекция!» — думал я, идя с поникшей головой домой, где меня ожидало... Я не буду вам рассказывать об этом: нестерпимо-мучительно даже самое воспоминание о минувшей попытке...

«Вот тебе и протекция!» — беспрестанно повторял я сам про себя, разводя руками и качая головой.

Если бы со стороны кто-нибудь наблюдал за мной, непременно почел бы меня за помешанного: — человек, дескать, не пьяный идет среди бела дня по улице и вслух рассуждает! — Пожалуй, толкуй, а забота о насущном куске хлеба заставит забыть все приличия на свете: не только запоешь Лазаря, а как захочешь паны, так протянешь и лапы! Да, действительно, мне тогда было не до пересудов людских, а самому до себя...

Вот тебе и Зудков — ясная надежда пасмурных дней моих! А ведь как живут-то неприступно эти Зудковы, точно какие-нибудь китайские мандарины! Лакей-то их — так и тот смотрит гордым фон-бароном средних веков! Батюшки, какой варваризм!.. А родная русская-то серь-матушка, а наша суковатая-то дичь так и проглядывает в них самих и во всем окружающем их: миллионеры

Бедь, а все еще пахнет от них мужицкой сермягой, нагольной овчиной, дегтярными сапогами и разным скотским помётом...

И — удивительное дело — при всей возможности к образованию себя эти люди прозябают в совершенном невежестве. Мне случайно попала в руки записка меньшого Зудкова к своей любовнице; безграмотнее этого маражня ничего быть не может: знаков препинания — ни одного, даже на конце не поставлено точки, предлоги не разделяются от склоняемых частей речи, в глаголах второго лица везде поставлен *ъ*, все имена существительные начинаются заглавной буквой, как в немецком языке, а о складе изложения — и говорить уж нечего!

Вместе с этой курьезной цидулкой мне также попала в руки не менее курьезная цидулка отца любовницы Зудкова, прокислого пивника-немца. Я помню начало последней, вот оно: «Меньгер, Алегзанр Бедодыч, брыжлиде мене два дужина и один болдужин бусдых будылка дле бива».

Какой-нибудь прокопченной немчуре простительно коверкать русскую грамоту, и это отзовется только потешным смехом. Но для молодого поколения богачей-коммерсантов весьма непостижительно не знать русского правописания, даже непостижительно не знать и прочих наук, — это вовсе отзывается не потешным смехом, а печальным, нескладным общественным строем, загрубелым неразвитием. Зудковы, очень плохо зная русскую грамоту и не учась решительно ничему, между тем, ради модного шика, переняли, как попугаи, от немца, служащего у них на фабрике, несколько сот французских слов и, коверкая их на всевозможные лады, с владимирско-нижегородско-немецким жаргоном изъясняются на благозвучном языке потомков галлов. То-то наречие-то! Я думаю, при столпотворении вавилонском не было подобного наречия? Я думаю, сам чорт, лингвист уж, кажется, очень порядочный, да и тот иногда становится втупик, слыша такое необыкновенное наречие?.. И это молодое поколение наших коммерсантов! Жди от них после этого чего-нибудь доброго!..

Однако я еще не сказал вам — почему Зудков не дал мне места. Причину отказа я узнал уже по приезде Филиппа Дидимыча из Москвы, которому Зудков наплел на меня совершенную небылицу. Видите ли, будто бы я, передав ему письмо, упорно настаивал, чтобы он немедленно прочитал его, и при этом наговорил ему множество неуместных и даже обидных слов, ясно намекавших Зудкову, что он непременно обязан дать мне место. В дополнение к этой небылице Зудков выразил обо мне свое собственное такое мнение, что я переучился и зачитался, а потому моя голова не в порядке и, вероятно, я скоро совсем свихнусь с рассудка, что всегда случается с людьми, заразившимися наукой и чтением. А мы-де вот и ничему не учились и аза в глаза не знаем, да, слава богу, с миллионами-то живем припеваючи: все нас уважают, все нам кланяются, а мы-де только нос кверху дерем — знай, мол, наших!

Вот и здесь, как у Крелина, моя склонность к учению поме-

шала мне. Что будешь делать! С волками жить, так по-волчьи бы и выть, — статья-то вышла бы подходящая...

После Зудкова я отправился добывать себе место к Никите Маркельчу Лопушину, тоже очень молодому коммерсанту, горячо пристрастившемуся к этому делу, всецело отдавшемуся ему без малейшего внимания к прочим отраслям человеческих дел, знаний и занятий. На предполагаемый мною здравый смысл и практичность этого художника-коммерсанта я всего более и надеялся. К несчастью, я в первый раз пришел к нему в дом не во-время — у него были крестины. Прихожу дня через три в другой раз, тоже прямо к нему в дом. Мальчик доложил обо мне и потом, через несколько минут, возвратился с таким ответом, что хозяин теперь не может принять меня, а побывал бы я через час или полтора опять — или в дом, или уж на фабрику.

Чтобы как-нибудь незаметнее провести это время, я пошел в общественную библиотеку, в которой был годовым подписчиком, и занялся пока чтением вновь полученных журналов. Чтение, впрочем, плохо шло мне на ум, так что я одну и ту же страницу перечитывал пять и шесть раз и все-таки смысл текста неясно усваивал пониманию.

Наконец прошли эти несносно долго тянувшиеся полтора часа, и я пошел к Лопушину, сначала в дом — здесь уж не застал его, а потом — на фабрику, где и удостоился вскоре встретиться с ним лицом к лицу. Раскланявшись с ним по своему обыкновению довольно развязно, без всяких пошлых ужимок, я убедительно попросил его позволить мне служить на его фабрике в должности прикащика или конторщика. Лопушин выслушал меня с серьезной сосредоточенностью, потом подробно расспросил — где и чему я учился, чем до этого занимался и, наконец, резонно проговорил:

— Хорошо, я порасспрошу о тебе, а ты через неделик понаедайся ко мне. Может быть я и дам тебе место, потому что мне один молодец нужен.

Обстоятельней этого нельзя было и требовать. Начало было очень недурно, что-то скажет конец. Проходит неделя. Иду я к Лопушину с бодрым духом и в ус себе не дую! Прихожу к нему на фабрику, отыскиваю его и обращаюсь к нему — так и так, мол, по вашему приказанию имею честь и проч. Он с какой-то двусмысленной усмешкой посмотрел на меня и потом твердо и звучно проговорил:

— У меня свободной вакансии ни на какую должность теперь нет.

— Позвольте хотя в будущее время иметь надежду прибегнуть опять к вам с моей покорнейшей просьбой, — сказал я и поклонился.

— А на будущее время и подавно нечего надеяться! — прибавил он еще резче и звучнее и обратился с каким-то приказанием к проходившему мимо нас прикащику, который при этом снял картуз и раболепно выслушивал своего хозяина, беспрестанно вторяя приторно-сладким голосом: слушаю-с, слушаю-с.

«Что за чорт!—подумал я:—это чистое предупреждение против меня. Дай же, по крайней мере, я допытаюсь от этого молодчика — по какой причине он не хочет принять меня к себе в услужение».

— Позвольте узнать, Никита Маркелыч, — сказал я, когда он кончил свои приказания прикащику, — чем я заслужил ваше ко мне нерасположение и почему вам неугодно принять меня к себе в услужение?

— У меня нет теперь свободного места, — увертливо ответил он.

— Но неделю тому назад вы говорили, что вам нужен человек, и этим вы подали мне повод надеяться...

— Да, мне нужен человек, — сказал он резко, — да не такой... — и он не договорил.

— Помилуйте, чем же я-то не человек? Дело, какое вы мне дадите, надеюсь исправить не хуже других. Вор я, что ли, или пьяница? Этого обо мне никто не скажет. Воровать мне негде да и рано еще научиться, вина я не пью вовсе никакого, даже табаку не курю, в карты тоже не играю... Какой же после этого порок вы находите во мне?

— Я справлялся об тебе, — произнес художник-коммерсант протяжно, как бы с трудом выжимая из своей головы несвойственную ей мысль, — ты занимаешься только одними пустяками: учишься там каким-то разным книжным вздорам, читаешь всякие пустячные книжонки, даже деньги за это платишь в библиотеку, ну, одним словом, — слынешь человеком ученым. А ученый человек, по-нашему, — никуда негодный человек, хуже вора и пьяницы. Нам, брат, таких людей не нужно, в коммерции не нужна никакая наука. Это все — вздор! Была бы только сметка в голове да ловкость в руках. Нам нужно, чтобы прикащик умел написать счет, фактуру, вексель или расписку, вел бы аккуратно по исстари заведенному порядку торговые или фабричные книги да умел бы ловко разбраковывать товар, сложить его, увязать, запаковать, — вот и все. А ученый человек для нас — тьфу! Я своего неученого-то прикащика на десяток ученых-то не променяю: я того, куда захочу, туда и поворочу, он все снесет, а ученый-то, пожалуй, заартачится. Неученому-то прикащику я как прикажу, так он и делает всякое дело, — так ли, не так ли, да хозяин велит так — и стало быть, так; а ученый-то умничать будет: это, дескать, надо вот этак, а это вот так. Стало быть он человек вовсе негодный для нас. Смотри-ка вон ты: как взглянешь на тебя, так сразу и видишь, что ты не нашего поля ягода. И стоишь-то ты не так, как люди; и смотришь-то, и ходишь-то, и кланяешься-то, а заговоришь — так уж мое почтение! — Словно объявление по газетам читаешь... Да и весь ты, словно как разнузданный: того и жди — возьмешь волю, подхватишь да так понесешь, что тебя и не удержишь. Нет, брат, у нас прикащики перед хозяином тише воды, ниже травы и всегда в струнке, начеку: хозяин только взглянет, а он уж и наострил уши, мигнет — уж он весь вострепнулся, го-

тов и в огонь, и в воду лезть по первому его слову. А народ ученый — разгильдяй-разгильдяем: все смотрит вниз, как свинья, да о чем-то думает... Нет, брат, я тебе откровенно скажу: по-нашему, ученые люди — пропащие люди, для коммерции вовсе не годятся. Я дал бы тебе должность, если бы за тобой греха этого не было, если бы ты не испортил себя этими пустыми учеными бреднями да не набил бы себе голову всяким вздором от чтения книжек. А теперь, брат, нет, извини, не могу принять тебя в услужение, только греха с тобой наживешь... никак не могу, хотя я и слышал, что ты поведения хорошего и неглупый парень. Жалко мне тебя, да нечего делать — сам ты виноват: не за свое дело взялся... Я тебе вот что посоветую: выкинь ты из головы эти пустяковины — не учишь ничему больше, забудь все, что и выучил, не читай никаких книжек, кроме божественных, и поступи к кому-нибудь в услужение, хотя не за дорогую цену сначала, — вот и будет ладно, и сделаешься ты хорошим человеком — на линии, помяни мое слово.

Каков чорт-то, а?

— Покорно вас благодарю за добрый совет, — проговорил я с злой насмешкой.

— А то, брат, совсем пропадешь! — предостерег Лопушин и ушел от меня.

Прибавлять к этому, кажется, нечего: все ясно, как на ладони. Теперь расскажу вам еще только один случай из моих хождений за присканием себе должности.

Обходив почти всех богатых фабрикантов и везде получив один и тот же результат и по тому же самому поводу — по склонности моей к учению и чтению книг, я, наконец, вздумал сходить к бабе-фабриканту, не только морально, но уж и физически, вдове Шурковой.

Пришел я к ней в самую обеденную пору, т. е. часов в одиннадцать утра. Ну, разумеется, я подождал, пока она набивала до упора свою утробу всеми жирными и сладкими яствами. Спустя час с чем-нибудь выходит моя баба ко мне на randevu, ковыряя толстой лучиной в черных зубах, зевая во весь рот и громко икая. Я поклонился ей самым низжайшим поклоном, на что она еще громче икнула и протянула: о-о-ох!

Так и так, говорю ей, вот, мол, я пришел предложить вам свои услуги.

Баба села на ступеньку крыльца, пред которым я стоял, и пустилась в самые подробные расспросы о всей моей родословной и вообще о всем, что касалось моей прошлой и настоящей жизни и жизни близких мне людей: перебрали всех моих бабушек, тетюшек и сестриц, которых я и сам-то очень мало знал, и, словом, — выпытала из меня всю подноготную. Оказалось, что она знает все мое семейство и обо мне самом «съихая не бойно ядно». Она говорит картаво.

Я повторил мою просьбу о месте и ждал от нее ответа.

— Вот что я тее скажу, — закартавила Шуркова, — бойно ты

бодёй (бодёр—бодр) да фойсист—нам не юкá, не пьиходится дей-
жать евдаких пьикашиков. Да ты, сьишно, и книжек каких-то
бойно дуйных начитайся; у тебя, чу, от евтого ум за язум заходит...

Я не дослушал болтовню глупой бабы, махнул рукой, плюнул
с досады и пошел ко двора.

Поступок мой, видно, оскорбил Шуркову очень сильно, потому
что она громко закричала мне вслед:

— Ишь ты, пьёхвост какой, еще пьеваться вздумай, и видно,
что помешайся. На двой ко мне никогда не загьядывай, подьец!..
Каяуйный!!

Она, видно, хотела проводить меня со двора своего через по-
средство караульного и нечистой метлы, но уж было поздно: я
уж находился на нейтральной земле, т. е. среди улицы.

Вот и все мои похождения для приискания себе честного
труда, которым я надеялся безбедно прокормить себя и свое се-
мейство.

Но я не мог и теперь еще не могу добиться этой вожде-
ленной благодати. Я терплю это горе от книжного ученья, как вы
и сами, я думаю, хорошо заметили из моего рассказа. При начале
нашего разговора, кажется, я говорил, что в среде нашего обще-
ства научные познания не принесут никакой пользы человеку бед-
ному, а только вооружат всех против него и даже сделают общим
посмешищем. Когда люди с большими средствами, люди значи-
тельные, пренебрегают образованием, ну где уж нам, людям ма-
леньким, иметь поползновение хотя мало-мальски образовать себя,
развиться человечнее: за это нас стараются вытеснить первые из
своей среды как негодное отребье общества. Бороться же с мно-
гочисленным большинством, значит, итти против рожна.

Не говоря уже о людях с материальным весом, даже бедняки,
подобные мне, и те пренебрегают человеком, пристрастившимся к
книжному чтению, как будто к самому гнусному пороку. Мне
много раз случалось испытать на себе невежественное пренебре-
жение и грубую насмешку последних. Когда, например, вступишь
с ними в серьезный разговор и увлечешься опровержением их
нелепых заблуждений, они с насмешливым недоверием немного
выслушают тебя, да потом вдруг сразу и обрежут какой-нибудь
пошлостью, вроде следующей:

— Э-э, брат, ты не туда поехал! Это все тебя книжки сбили
с толку: переучился ты больно, зачитался— вот у тебя ум за
разум и заходит... Что его, братцы, слушать, —вишь он какую
околесную несет, что ничего и не поймешь у него. Ну его! Пусть
он мелет, а вы не слушайте!

Кстати, у меня есть на памяти один недавний пример тому, как
дико смотрит наше серое общество на человека, отделившегося
от него понятиями и приличием наружным. Мне недавно случилась
надобность быть в нашем волостном правлении. Тут заседали все
выборные члены и несколько первостатейных крестьян. Покончив
свое дело, за которым пришел, я хотел было вытти, но старшина
остановил меня следующими словами:

— Послушай-ка, молодчик, ты что евто не ходишь на сходы?

— Я прежде раза два бывал на сходах, — отнесся я, — а теперь не бываю оттого, что не вижу в этом никакой пользы для общественных дел. Раз я в бытность свою на сходе заговорил о чем-то, меня на первых же словах оборвали, что я еще молод рассуждать, материно молоко на губах еще не обсохло. Так для чего же мне ходить на сходы: для большего числа бессловесных и для увеличения тесноты и давки, что ли?

— Ты ходи на сходы и говори на них, да говори, как прочие говорят, а не умничай по-своему-то. А то ты, слышно, больно высоко несешь себя — заучился и зачитался не в меру.

— Что ж делать, когда наше общество так развито, что я не могу сойтись моими понятиями с его устаревшими понятиями? Являться же на сходы для того, чтобы слушать бестолковые суждения наших стариков и беспрекословно соглашаться с ними, я считаю делом неподходящим для себя и совершенно ненужным для общества. Возражать же им, видите ли, у нас не приходится: сейчас молокососом назовут, а пожалуй, еще и оттаскают за волостное правление в волостном-то правлении.

— Ты, брат, пустяков-то не мели!

— Помилуйте, что за пустяки? Разве не было этому примеров? Разве не кормили оплеухами тех, кто умно и дельно отклонял общество от его заблуждений? Мало того: разве не грозили подобным людям ссылкой на поселенье, на Амур и чуть ли еще не далее?

— Ты, брат, надел драповое-то пальто да расфрантился, так думаешь, что и умнее всех? Нет, а ты сократи себя, веди помирнее — так дело-то лучше будет; а то как раз оброку лишку наложат, али в должность какую тяжелую выберут: умен, мол, больно — так на же тебе! Против общества итти не моги: общество — велик человек!

— Я против общества нейду, а готов всегда отстаивать словом и делом его существенные интересы. А что я одеваюсь прилично, так, полагаю, это гораздо лучше того, если бы я пьянствовал и ходил в лохмотьях.

Я пошел из волостного правления...

— Брось ты свое пустяшное ученье-то, брось ты читать свои глупые-то книжки — лучше будет, — усевещивал меня вслед старшина.

Я не приостановился — и вышел...

После этого — как вы думаете? — про меня разнеслась молва, будто бы я наговорил в волостном правлении таких мудреных чертовщин, что все только рты разинули, творили молитву и крестились, полагая, что в меня вселился нечистый дух и моими устами изрыгал хулу на истари заведенные порядки. Притом также было предано поруганию и осмеяно во мне решительно все: моя одежда, мое лицо, моя прическа, мои манеры — как я держу голову, как держу руки, как стою ногами, как сморкаюсь, как кашляю, как ворочаю языком даже. Некоторые из стариков, собо-

лезнуя обо мне ради христианского участия, с опытной мудростью говорили:

— Жалко: парень-то, пожалуй, совсем свихнется? Значит, не за свое дело взялся: в крестьянском сословии не приходится заниматься книжным ученьем.

Видите ли, все мое горе — горе от книжного ученья!

Село Тихий-Омут,
27 февраля 1866 года.

Ив. МАРТЫНОВ

РАССКАЗЫ О НОВОЙ ДЕРЕВНЕ

Михаил Шошин — опытный, вдумчивый писатель, выступивший с первыми своими рассказами лет двадцать тому назад. Большинство его рассказов и повестей печаталось в Ивановской областной печати, но нередко появлялись они и в столичных изданиях.

Хорошо известный читателю, особенно своему, областному, Шошин почему-то упорно и несправедливо замалчивается критикой.

У Шошина свое, выразительное творческое лицо, с добродушной мужицкой усмешливостью, с умным, спокойным взглядом на окружающий его мир. Он хорошо знает своих героев, свои деревни, пересеченные оврагами, мелководными речонками, окруженные березовыми перелесками, украшенные редкими садами. Шошин горячо любит и небогатую северную природу и скромных колхозных тружеников, упорно переделывающих облик своей земли. Все свое творчество Шошин посвятил деревенской нови. Лет двадцать-пятнадцать тому назад он описывал первые робкие ростки этой нови: докладчиков, приехавших от шефа, комсомольцев, снимающих иконы и празднующих комсомольскую пасху, появление в деревне первой сеялки, борьбу с трехполкой. Герои его ранних рассказов легко переселяются теперь в сборники, посвященные новой, хорошей колхозной жизни. Былые бунтари-комсомольцы стали на его глазах председателями колхозов, знаменитыми бригадирами, певцами, профессорами. Они стали трезвее, спокойнее, увереннее в своих силах, но они попрежнему молоды, задорны, и нет ничего удивительного, если былой такой комсомолец, профессор Лапшин (из одноименного рассказа), вдруг в грозу и ливень побежит, сверкая голыми пятками, в поле на помощь колхозному бригадиру, отвоевывающему у природы невиданные доселе урожаи.

Шошин прекрасно знает и чувствует деревню, в его рассказах не услышишь удивленных возгласов горожанина, не встретишь фальшивой идиллической картины, не заметишь и той искусственной восторженности, которую иной раз почитают у нас за творче-

М. Шошин. — „Огни“. — Государственное издательство Ивановской области. 1940 г., 282 стр. Цена 3 р. 50 к. в переплете.

скую взволнованность. И тракторы, и другие сложные машины, и многополье, и клубы, и свои певцы, и полевые рекордсмены, — все это, пожалуй, явления обычные, даже будничные в рассказах Шошина. Это отнюдь не деревенская экзотика. Машины, клубы, газеты — это сегодняшняя непобедимая колхозная новь, от которой нет возврата к старому, которая завоевана навечно и уже хорошо обжита и изучена. В этой советской и родной деревне вырастают новые, сильные люди.

Процесс роста этих новых людей прежде всего и интересует Шошина. Он внимательно отбирает факты, знаменующие социалистическое отношение к труду, к колхозному имуществу, к вопросам морали. Из будничных мелких фактов, из незначительных деталей возникают добротные картины, повествующие о глубокой вере в непобедимость колхозного строя, навсегда поселившегося в колхозных хатах.

На мощном холеном жеребце клейдесдальской породы подъезжает к воротам школы колхозный конюх, маленький и немного важный старик Спиридон Петрович. Он заехал пригласить своего сына-учителя на свадьбу дочери, которая выходит замуж за агронома. Коротко, немногословно он толкует с сыном во время перемены о семейных делах. Потом учитель уходит на урок, а старик, оставив сторожике тушку барана для сына, уезжает на своем жеребце обратно в колхоз. Вот и весь рассказ («Спиридон Петрович»). Но уже появление этого простого сюжета, уверенные, спокойные тона рассказа, четкий, ясный рисунок могучего клейдесдаля, подчиняющегося каждому движению щупленького старика, весь важный облик Спиридона Петровича, одевающего для солидности высокую мохнатую шапку, будничное приглашение на необычайную для старого времени свадьбу, — вся обыкновенность этой необыкновенной семьи простого конюха превращают маленькую строгую зарисовку будней колхозной жизни в явление яркое и волнующее.

Новые, необычайные проблемы возникают в семье. Старая колхозница Варвара Степановна Азарьева («Счастье старой матери») выдает замуж третью дочь. Вера, невеста, — лучшая звеньевая. Ее сватает парень из соседнего колхоза. Но свадьба затягивается. Председатель колхоза настойчиво советует Варваре Степановне не отдавать дочь в соседнюю деревню. Если парень любит — пойдет в их колхоз, а Веру отпускать жалко. Но и жених тоже один из лучших людей в соседнем колхозе. Там также не согласны на его уход в другую деревню. «Вера тянула время, закошанские погарапливали ее. Они заезжали по пути в дом Варвары Азарьевой то погреться, то передать подарок от жениха и при этом на все лады расхваливали его» (стр. 151—152). Только к концу зимы сладилось дело. Вера уступила и поехала в Закошанское.

«Варвара Степановна зашла к председателю колхоза и пригласила его на свадьбу, но он принял ее приглашение суховато и ребром ладони провел около подбородка.

— Вот как некогда.

— Раз некогда, значит, много делов, — неопределенно сказала Варвара Степановна.

— Обиделся, что дома Веру не удержала, — уходя, думала она: — как я удержу... В этом ее воля» (стр. 153).

Председатель не был на свадьбе. Но его обида не только не помешала веселому пиру в соседнем колхозе, но незримо, и еще выше, подняла достоинства невесты. Новые семейные проблемы, знаменующие нерушимую связь семьи с общественной жизнью... Древнее чувство обиды, вызывающее теперь добрую сочувственную улыбку у обидевшего, укрепляющее ощущение счастья!

В горячую весеннюю пору колхозный плотник Увар уходит в город подзаработать. Он попадает на квартиру к рабочему Щеглову, которому надо переделать крыльцо. Как и всякий горожанин, Щеглов расспрашивает о деревне, о севе. Плотник Увар бездумно врет о колхозных успехах, ибо он уверен, что так и полагается в разговоре с городскими — «тоже тебе севцами». Рабочий Щеглов, видимо, простоват, он сажает Увара к столу, поит его и кормит, кладет спать на чистой, хорошей постели. С каждой новой его чертой гостеприимства Увар мысленно накидывает цену за завтрашнюю работу для этого чудака, который живет так открыто и просто. И вот на другой день, когда оба они сидят за утренним чаем (Щеглов читает газету, а Увар мысленно еще накидывает червонец), происходит следующая сцена.

После чтения газеты рабочий сразу стал озабочен. «Позавтракали. Щеглов поднялся:

— Ну-у, мне время на работу.

— И мне пора за дело приниматься, — оживился Увар.

— А ты уж лучше не принимайся, — многозначительно сказал Щеглов.

Увар вздрогнул.

— Что ж не приниматься-то?

— Да так! — Щеглов посмотрел ему в глаза и сказал прямо: — Не нравишься ты мне. В полях горячая пора, а ты шатаешься, ловишь длинный рубль. Говорил — «посеяли», а сегодня про ваш колхоз пишут, что дело с севом плохо, на последнем месте... Не люблю я таких людей. А крыльцо постоит еще... Не принимайся.

Румяные щеки плотника побледнели. Он молча вышел, отыскал в сенях чемодан и поплелся на улицу» (стр. 163—164).

По дороге он узнал, что Щеглов, у которого он останавливался, передовой на заводе человек, орденносец. Увару еще больше стало не по себе. После утреннего завтрака он окончательно потерял равновесие. Считавший себя раньше ловким, оборотистым человеком, Увар растерян. Тревога чужого городского человека за его колхоз наполняет плотника стыдом. Его тянет в деревню. Еще одна неудачная попытка «оправдать дорогу» — и он уже решительно шагает домой, чтобы вместе со всеми вытаскивать свой колхоз из прорыва, чтобы не чувствовать себя одиночества и отчужденности.

Пережитки старого, психология мелкого собственника живучи. Неодолимая новь вырастает в упорной борьбе со старым. Катерина

Капустина, например, всей душой предана колхозному делу (рассказ «Жена»). «Эта русоволосая, крепкая женщина с высокой девичьей грудью и маленькой, гордо посаженной головкой любила жизнь, любила людей. Ей было присуще чувство дружбы, от нее исходило какое-то тепло, она быстро сближалась и потому имела много друзей. Она всегда была бодро настроена, жизнерадостна, стремительна в движениях. Ее василькового цвета глаза блестели, вечно радуясь чему-то и любопытствуя» (стр. 75). Трофим, ее муж, не понимает и не может понять обновленной души женщины. Все его чувства в плену у старого. Он терзает жену несправедливыми подозрениями, укорами. Ему неизмеримо ближе чувства старика-отца, который живет одиноко и затаенно где-то в шалаше за рекой, разведясь уже в старости с женой. Очередные нападки Трофима кончаются дракой. В припадке темной, необоснованной ревности он до полусмерти избивает жену. В больнице Катерина умирает. Грусть колхозников по своему бригадиру, похоронная процессия,двигающаяся полевой дорогой, среди спелых хлебов, ощущение глубокой несправедливости этой смерти — переданы Шошиным волнующе тепло.

В другом, одном из лучших рассказов сборника («Свадьба»), показано, как уверенно, прочно приходят в деревню другие, новые отношения в семье. Мать смотрит на счастье дочери и вспоминает безрадостно прожитую свою жизнь. Рассказ построен на параллелях настоящей действительности и воспоминаний о прошлом. Все видится глазами матери...

Когда к Платониде Васильевне посватался теперешний ее муж и состоялась их первая встреча, молодых оставили одних. Жениху надо было что-то говорить.

«— Ты в лес ездешь? — спросил он.

Вся деревня в это время возила дрова.

— Нет, — бойко и резко ответила она, потому что не хотела быть его женой.

Терентий растерялся и смолк.

— А у нас хомутов, хомутов! — вдруг заявил он, решив подействовать на нее зажиточностью своего дома» (стр. 49).

Никого не интересовало, конечно, нравятся ли друг другу жених и невеста. Платониду и Терентия поженили. Потянулось невестное супружество. Муж ревновал всю жизнь, мстил за холодность, и он был в какой-то мере прав, потому что Платониду всегда тянуло из дома — «хотя бы в другую хату, к другим людям».

Дочь Лена и ее жених Виталий Горюнов три года любили друг друга еще до замужества. У них общие интересы, и мать восторженно следит за любовью детей. Все очаровывало ее в этой новой хорошей любви: и то, что книга, которую они читают, волнующе называется романом, и то, что Виталий, работая в колхозе, гонится не за премиями, а радуется самой работе, и то, что дочь не плакала, отправляясь из своего дома в загс, и речь комсомольского секретаря на свадьбе, которую хотелось слушать без конца, целый вечер. Платониде Васильевне было и радостно и грустно на этой

хорошей свадьбе, и жалко своего старика, заевшего ее век, сидевшего теперь рядом и страдающего от неизвестной желудочной болезни, делающей его особенно хмурым и неразговорчивым.

«Она подвинула ему тарелку с белыми пирогами. Голосом, полным участия, шепнула:

— Закуси, они тебе — без вреда. — И положила свою голову ему на плечо» (стр. 57).

В этом рассказе много лирической теплоты и жизненной правды. Платонида Васильевна, радуясь на счастье дочери, говорит обычные, давно известные всем фразы. Ее слова совпадают с речевым строем грамотных газетных статей, она не выдумывает новых определений для выражения своих чувств. Платонида Васильевна слышала эти простые слова, наверное, от Виталия, от дочери, на колхозных собраниях, — но в ее устах они приобретают и задумчивость и глубокую выразительность. Она по-своему осмысляет виденное и слышанное, вкладывает в эти слова, принесенные еще недавно в деревню, всю глубину своих чувств, и речь ее бывает индивидуализирована и свежа даже тогда, когда она произносит про себя такие общеизвестные определения: «Другие, новые люди стали теперь в деревне», «какие люди выросли — душевные, бескорыстные».

Умение заставить по-новому звучать известные, зачастую стереотипные фразы составляет одну из художественных особенностей Шошина. Он не боится банальностей в своих диалогах. Его герои говорят, «как все», но в лучших рассказах жизненная ситуация, чувства, действия — индивидуализированы, присущи только этим, данным персонажам, поэтому и диалог становится убедительным, рожденное слово — мотивированным.

В прошлых своих рассказах Шошин любил прибегать к анекдоту, шутке, составлявших основу сюжета. Это тяготение к внешности явления не изжито вполне и в настоящем сборнике. Такие рассказы, как «Надежда», «Дорога», «Огни», все еще тяготеют к анекдотам, к поверхностным зарисовкам. Попытки придать философскую глубину торопливо рассказанным фактам — обнажены и не всегда удачны («Огни», «Дорога»). Но уже сама неудовлетворенность автора простым пересказом «случившегося случая», попытки углубить смысл рассказанного заслуживают внимания, предвещающая более высокую ступень творческой работы.

Иногда Шошин излишне подробен. Временами кажется, что он не надеется на догадливость читателя и стремится все договорить до конца, все пояснить, всюду поставить точки над и. Для этого ему приходится прибегать к публицистическим отступлениям, к снижению художественного качества рассказа. Эти недостатки присущи многим рассказам сборника. Надо больше доверять читателю, борясь за определенную художественную выразительность повествования. Надо давать возможность читателю думать и спорить с автором.

Умело, просто и красочно рассказывает Шошин о природе. Природа у него всегда во взаимосвязи с человеком, с его чувствами.

Вместе с колхозниками она хмурится и горюет о потере Катерины, она настороженная и беспокойная, когда юный погонщик Костя остался один с телками в темном лесу; она радостная и приветливая, когда люди увлеченно и горячо работают. Природа открывает все свои затаенные красоты, когда Лапшины, например, приезжают в деревню отдохнуть, когда у них есть в достатке время, чтобы любоваться и лесом и полями. Эта природа уничижает городскую недоверчивость к ней Тамары Евгеньевны, жены профессора, неторопливо подчиняя городского человека власти своих красок.

«Над маленькой безымянной речкой с обоих берегов склонились ивы, ольховник, образуя просторный зеленый зал с зеркальным полом. На опушке леса щебетало множество мелкой птицы. Кудрявый зеленый север скромно и незаметно очаровывал своей красотой.

Пришел вечер, солнце скатилось за лес. Вечерняя заря пылающей стеной стояла вдалеке» (стр. 202).

У Шошина острое зрение, хорошая наблюдательность: он видит «прогретую солнцем дорогу», «нервную осину, беспокойно перебирающую листьями», «колышки помидорных гряд, напоминающих ежа», «серебряную сетку зноя» и даже «клубок пыли, катящийся за телегой серым лохматым псом». Язык его рассказов точен и выразителен.

Сборник М. Шошина — хорошая, нужная книжка. Сборник свидетельствует о росте этого даровитого писателя, о более строгом его подходе к сюжету, к композиции, к слову. Есть все основания ждать от Шошина еще более лучших книг, углубляющих качество таких рассказов, как «Свадьба», лишенных поверхностных зарисовок типа «Дороги», книг с рассказами четкой, ясной композиции, исключаящих неуверенность и торопливость сюжетных переходов, какие есть, например, в таком широко задуманном и полном выразительных картин рассказе, как «Профессор Лапшин».

Будущие сборники Шошина хотелось бы видеть и еще более стройными в тематическом отношении. Рассказы «Веня» и «Свидание» явно случайны в прочитанной книге. Посвященные один городу, другой фабрике и не отличающиеся большими художественными достоинствами, — они только рассеивают впечатление от прочитанного.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Дмитрий Фурманов. М. В. Фрунзе	3
Н. Вигилянский. Начало жизни	17
Дм. Прокофьев. Рассказы о Фрунзе. (Для маленьких ребят.)	64
В. Полторацкий. Вступление к поэме. На смерть Мичурина. Предчувствия. Ночь. Алхимик. Весной. Эчмиадзин. Деревья в инее. (Стихи.)	78
М. и А. Зайцевы. Бархатная книга. (Роман.)	87
Дм. Семеновский. Ткачи. Цветы. Лукоморье. С новой думой. Своему народу. (Стихи.)	139
И. Войтюк. Серая лошадь	144
А. Благов. Сад. (Поэма в миниатюрах.)	152
Б. Горбунов. Расставанье	158
А. Зутиков. Марьино житье	163
И. Дружинин. Вступление к поэме. (Стихи.)	171
Ев. Баранов. Вечер. Ночь. (Стихи.)	173
Дм. Семеновский. Из литературных воспоминаний	174
Дм. Прокофьев. В. А. Рязанцев.	188
В. А. Рязанцев. Горе от книжного учения	208
Ив. Мартынов. Рассказы о новой деревне	225



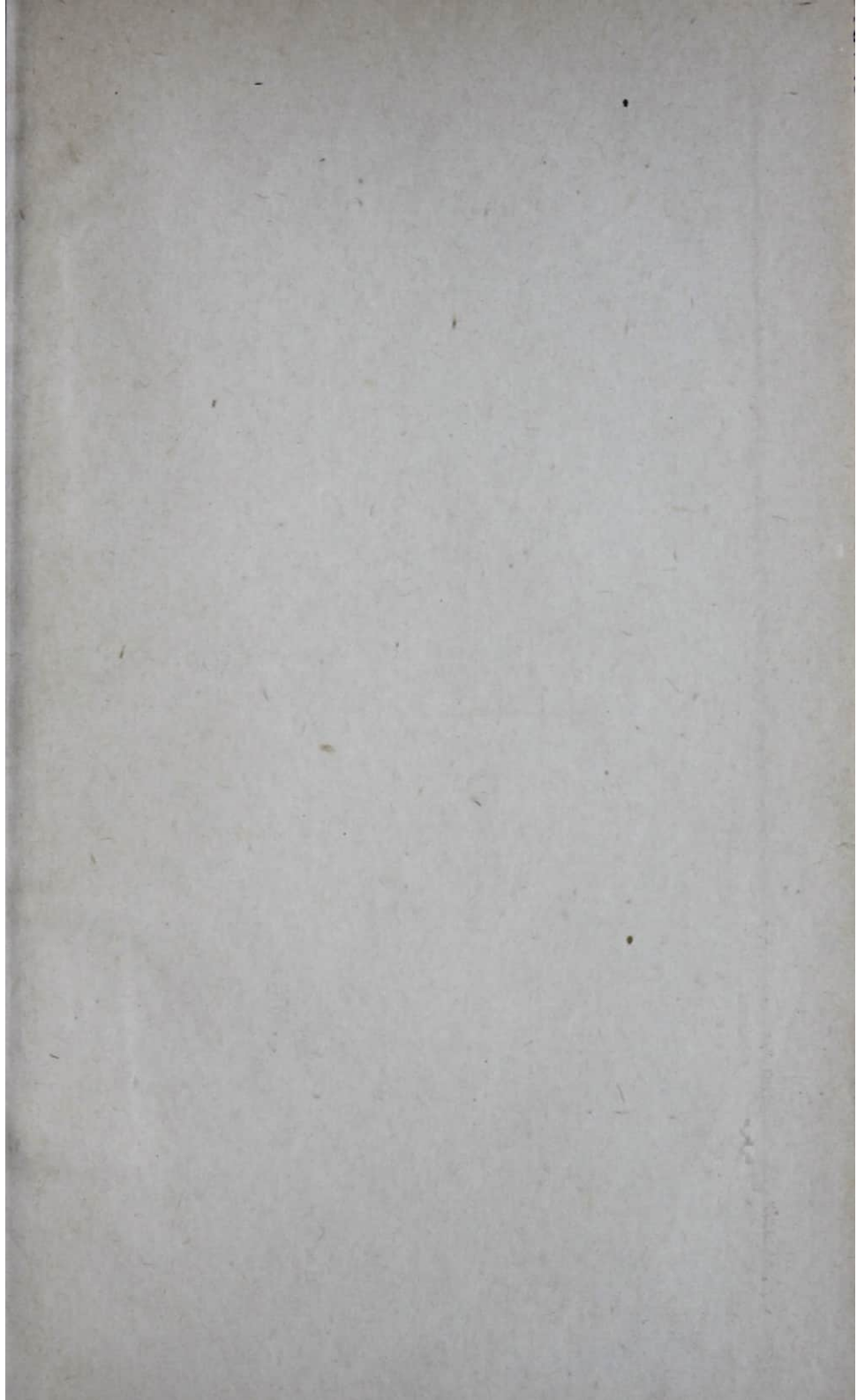
Редколлегия: *Д. Г. Прокофьев,*
Д. Н. Семеновский и *М. Д. Шо-*
шин. Подписано к печати 17/1
1941 г. КЕ—1677. Тир. 5000 экз.
Печ. л. 14¹/₂. Уч.-изд. л. 15,53.

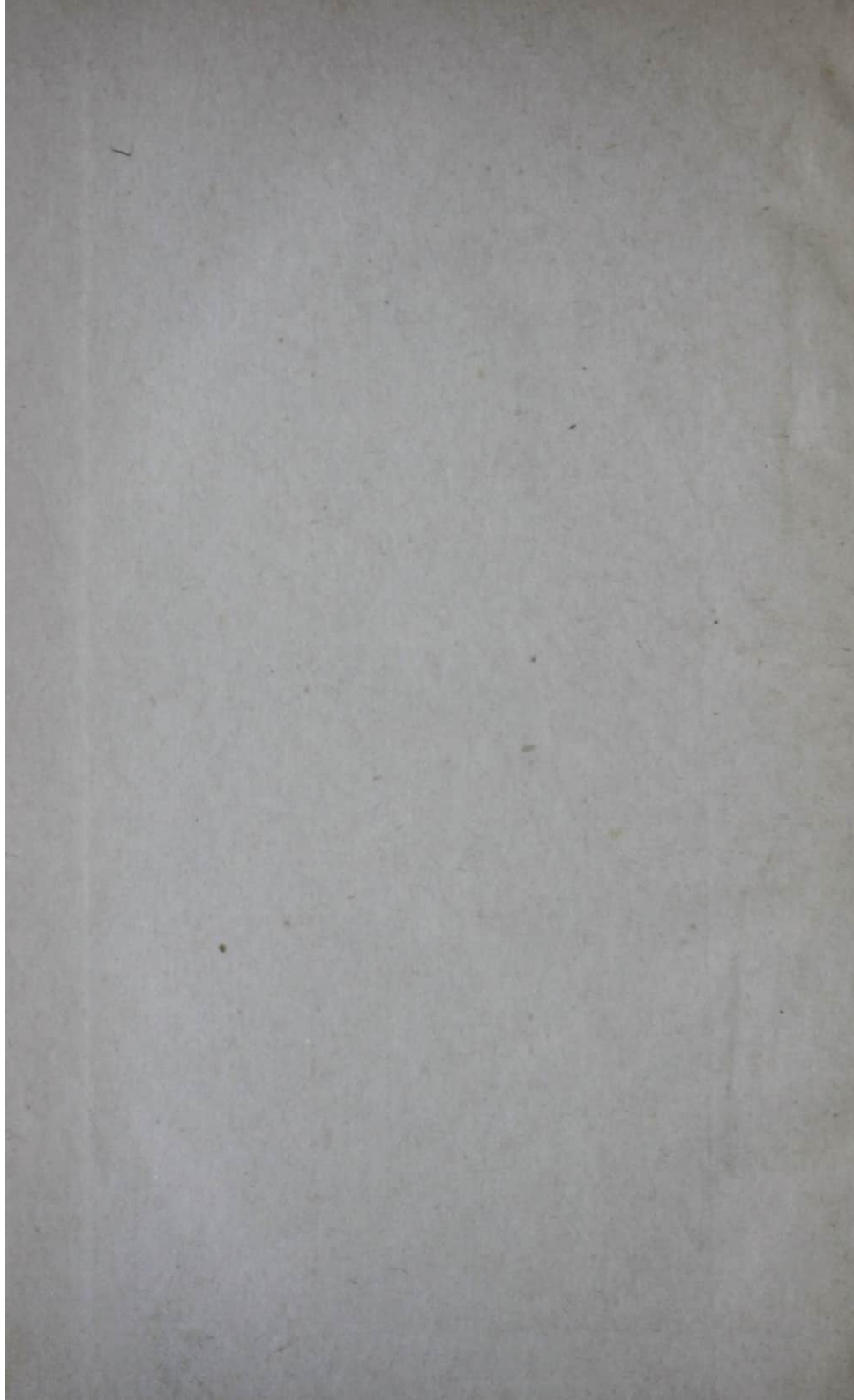
В печ. л. 48144 тип. зн.

Цена 5 р. 50 к.

В переплете 6 р. 50 к.

Типография издательства Ива-
новского облсовета депутатов
трудящихся, г. Иваново, Типо-
графская, 4. Заказ № 6363.





1063/082

0-63



Г. Р. 30 к.

